



Проза:
женский род

ЖЕН ЩИНЫ ДАЗАРЯ

МАРИНА
СТЕПНОВА

Annotation

Марина Степнова — прозаик, переводчик с румынского. Ее роман «Хирург» (лонг-лист премии «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР») сравнивали с «Парфюмером» П. Зюскинда. Новый роман «Женщины Лазаря» — необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕЛЮБВИ. Лазарь Линдт, гениальный ученый, «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», — центр inferнальных личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной. После войны в закрытом городе Н светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и буквально украдет в «другую жизнь», но... заслужит только ненависть. Третья «женщина Лазаря», внучка — сирота Лидочка унаследует его гениальную натуру.

- [Марина Степнова](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Марина Степнова
Женщины Лазаря

Глава первая

Барбариска

В 1985 году Лидочке исполнилось пять лет, и жизнь ее пошла псу под хвост. Больше они так ни разу и не встретились — Лидочка и ее жизнь, — и именно поэтому обе накрепко, до гула, запомнили все гладкие, солоноватые, влажные подробности своего последнего счастливого лета.

Черное море (черное, потому что никогда не моет руки, да?), похожий на рассыпавшиеся спичечные коробки пансионат, пляж, усеянный обмякшими картонными стаканчиками из-под плодово-ягодного (папа говорил — плодово-выгодного) мороженого и огромными раскаленными телами. Утренний проход к облюбованному местечку, вежливый перебор ногами, чтобы не зацепить пяткой или полотенцем чужую, буйную, отдыхающую плоть. Лидочка быстро теряла терпение, и стоило мамочке хоть на секунду отвлечься на соседку по столовскому столику или бродячего торговца запрещенной сахарной ватой, как Лидочка срывалась со строгого визуального поводка и, без разбору молотя круглыми толстыми пятками, с пронзительным верещанием бросалась к морю.

Потревоженные, как сивучи, курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок крупный, словно перловка, утренний песок, улыбались в ответ на извинительные родительские причитания — ничего, нехай дите порадует! Ишь, поскакала, егоза! Вы понимаете, она у нас в первый раз на море... А вы сами откуда будете? Из Энска. О, далеко забрались. А мы из Криворожья, получили вот путевочки от завода, правда, Мань? Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой, и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. Вы в Солнечном отдыхаете? Да-да. Мамочка торопливо выпутывалась из сарафана, потрескивая искрами и швами ненастоящего шелка. А мы в Красном Знамени. Очень приятно.

Готовой вспыхнуть многолетней дружбе — с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну — мешали жара и Лидочка, золотистая, оглушительная, гладкая, блещущая в мелком всенародном прибое. Мамочка никак не могла отвлечься от нее — ни на вспотевший арбуз, сахарно хрустнувший под хищным перочинным ножом мирного криворожского пролетария, ни на вечного пляжного

«дурачка» (позвольте, а что у нас — козыри? Нет, червы были в прошлый раз!), ни на нескончаемо запутанные монологи из заманчивой незнакомой жизни. И тогда Петрович, брат мой, грит — мол, забирай, Лариска, дите и перебирайся ко мне, места хватит, а он и правда только от правления комнату получил — двенадцать метров, хоть свадьбу играй, хоть на мотороллере катайся! Романтический пунктир судьбы никому не известного Петровича грозил превратиться в линию сплошного человеческого счастья, но мамочка только рассеянно улыбалась.

В другой раз она с наслаждением примерила бы на себя чужую, невозможную судьбу — только для того, чтобы убедиться, как ладно и ловко скроена ее собственная. Но стоило истории заложить очередной сюжетный вираж, полный коммунальной нищеты и прижитых во грехе младенцев (почему-то скудный советский быт всегда провоцировал невиданные, прямо-таки байронические страсти), как Лидочка, хохоча, отпрыгивала от щекотной волны, и нить истории безнадежно ускользала. Горизонт, мреющий, дрожащий от нарастающего жара, слепил глаза, мамочка испуганно жмурилась, не находя среди облезлых плеч, титанических задниц и ликующих воплей знакомую дочкину панамку. Слава богу, вот она. Лидочка в ответ махала рукой и, не снимая красно-синий надувной круг, присаживалась на корточки — лепить из песка аппетитный куличный домик с термитными башенками, выдавленными из маленького горячего кулака.

Панамка из белого шитья бросала живую дырчатую тень на Лидочкины загорелые щеки, но тень от ресниц была еще прозрачнее и длиннее — ой и ладненькая у вас доча, тьфу на нее, шоб не сглазить. Мамочка благодарно — двумя руками, как хлеб, — принимала похвалу, но втайне с ликующей, клокочущей уверенностью даже не чувствовала — знала, что ничего Лидочка не ладненькая, а единственная. Неповторимая. Самый прекрасный ребенок на свете — с самой прекрасной, безукоризненно счастливой судьбой. Мамочка с тихой изумленной улыбкой смотрела на дочку, а потом на свой живот — молодой, тугой, совсем не изуродованный ранними родами, и сама не верила, что Лидочка — круглоглазая, как щенок, с шелковыми горячими лопатками и невесомыми взрослыми завитками на смуглой толстенькой шее — когда-то вся-вся помещалась там, внутри, а еще раньше вообще не существовала. Тут мамочкины мысли, достигнув окраины постижимого, начинали опасно буксовать, словно зависший над пропастью грузовик — надсадный вой агонизирующего мотора, два колеса тщетно наматывают на лысые шины густеющий воздух, два других — горстями швыряют мелкую, словно

взрывающуюся от напряжения щебенку. Еще секунда до падения, секунда, секунда, прыгает перед глазами прозрачный пластиковый игрушечный чертик, Вовка сделал из капельницы, три рубля мне должен, зараза, теперь уж точно не отдаст, так вот, значит, как это, вот как умирают, вот о чем я уже никогда и никому не смогу рассказать... Ну почему небытие до рождения пугает меня больше, чем посмертная пустота? Почему умирать так не страшно, гос-пади-помилуй-и-пронеси?

— Ты бледная что-то, Нинуша, — встревожено говорил папа и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами и языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. — Не перегрелась?

Мамочка виновато улыбалась. Морок отпускал ее, и душа, мелко крестясь, вырुлиwała на основную дорогу — взмокшая от ужаса, спасенная, изнемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала что там — за последней секундой, после которой только кувыркающийся полет вперегонки с бесшумными обломками железа, и треск рвущихся мышц, и... и... и... Мамочка растерянно пыталась представить себе то, что невозможно себе представить, терлась лбом о спасительную мужнину руку — крепкую, в крупных веснушках и родных рыжеватых махрах. Да, жарко что-то, милый. Голова закружилась.

Лидочка, в свои пять лет еще совершенный звереныш, почуяв неладный потусторонний сквознячок, тотчас бежала к матери — горячая, ловкая, в невиданных импортных трусиках-недельках. Каждый день — новый цвет, каждый день — новая смешная аппликация. Розовые трусики с земляничной — понедельник. Голубые с нахохлившимся зайкой — вторник. Желтые со щербатым подсолнухом — среда. Ма, ты чего? Мамочка нежными губами трогала дочкины веки — один глазик, другой — все в порядке, Барбариска, ты не обгоришь у меня, а? Не, успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю, новые пляжные знакомцы приветливо скалились. Лида, Лидочка, Леденец, Барбариска — маленькие семейные прозвища, воркующий говорок родительской страсти. Никогда и никто больше так сильно. Никто и никогда.

— Не удирай, партизанка, — папа подхватил Лидочку на руки, ловко перевернул, так что Лидочка зашлась от смеха: небо и море плавно поменялись местами, вот-вот посыплются в облака кораблики на горизонте, кусачие рыбы, морские коньки, все плыло, таяло, висели на невидимых нитках оглушительные чайки, парила между небом и морем сама Лидочка.

Это и было счастье — родные, горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Она потом это

поняла. Очень сильно потом.

— Посиди с тетей Маней и дядей Колей, — велел папа, опуская Лидочку на песок, и море снова стало внизу, а небо — вверх. Как обычно. — Посидишь? А мы с мамочкой сплаваем, а то она у нас совсем-совсем сварилась.

— Идите, идите себе спокойно, — сдобно загудела тетя Маня, — я своих двоих на ноги подняла, да внучка третья на подходе — глаз с вашей красотики не спущу. Купайтесь на здоровье.

— Мы не надолго, — виновато пообещала мамочка и прижалась к Лидочке мягкой огненной щекой. — Слушайся тетю Маню. Я тебя очень и очень люблю.

Лидочка невнимательно кивнула — тетя Маня с заговорщицким видом производила в своей сумке какие-то энергичные раскопки, и ясно было, что извлечет она что-то очень и очень интересное. Дядя Коля тоже выглядел заинтригованным — видно было, что его жизнь с женой до сих пор полна молодых, волнующих сюрпризов. Опаньки! — с цирковой интонацией воскликнула тетя Маня и одарила Лидочку громадным персиком — нежно-шерстяным, горячим, тигрово-розовым от переполнявшего его света. Волна толкнула прохладной лапой мамочкин живот, и по спине и плечам тотчас шарахнулись торопливые мурашки. Лидочка, зажмурившись, понюхала щекотный персик. Давай, кто быстрее до буйков, Нинуш? Мамочка тряхнула головой и доверчиво улыбнулась. Кушай, доча, — ласково напутствовала тетя Маня, дядя Коля уже обстукивал об коленку вареное яйцо, добытое из той же сумки, на газетке один за другим, как в фокусе, появлялись уродливые помидорины «бычье сердце», ломти экспроприированного из столовой хлеба, колбаска, рыночный, насквозь золотой виноград. По восемьдесят копеек сторговалась, похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом — стриженный дегенеративный затылок своего пролетарского мужа, — ох, и золотая ты у меня, хозяйка, Маруська, сам себе завидую, чессло...

Лидочка доела персик почти до половины, переводя дух и подстанывая от удовольствия, липкий сок заливал ей подбородок, толстенький, загорелый живот — да не размазывай, доча, я тебя потом накупаю, будешь чистенькая, как яблочко, мамка-то где у тебя работает? Ишь ты — и папка тоже чертежи рисует? А комнат у вас сколько? Слышь, Коль, я ж говорила, что на севере инженерам трехкомнатные квартиры сразу дают, а ты — на фиг Генке техникум, пусть сразу на завод идет! Так и подохнут с семьей в общаге. А зарплаты у мамки с папкой большие? Не знаешь? Ну, кушай,

доча, кушай, дай тебе бог здоровычка, и мамке твоей с папкой тоже...

Крик раздался внезапно, жуткий, на одной ноте — ААААА! Лидочка поперхнулась, выронила персик, его тут же облепило крупным песком — прямо по самой лакомой мякоти, уже не отмоешь, на выброс, жалко-то как, а крик все приближался, пока не взвинтился на такие запредельные высоты, что пляжная картинка, словно нарисованная на толстом полупрозрачном стекле, тотчас помутнела и вся пошла быстрой паутиной испуганных трещин. Отдыхающие медленно, как сомнамбулы, поднимались с полотенец и лежаков, кто-то уже бежал к берегу, расталкивая остальных.

ААААААА! ПА-МА-ГИ-ТЕ! ПА-МА-ГИ-ТЕ!

Тетя Маня испуганно перекрестилась, господи исусе, Коль, глянь, что случилось, только не реви, доча, это кому-то, видно, головку напекло, пойдем тоже посмотрим. Лидочка все оборачивалась на упавший и безнадежно испорченный персик. Она и не думала реветь. Наоборот — было ужасно интересно.

Папа стоял на коленях на самой пляжной кромке и его, как маленького, тянул за руку рослый мокрый парень, один из отряда бугристых спасательных кариатид, которые обычно сутками торчали на своей деревянной вышке, обжираясь мороженым, заигрывая с курортницами, но по большей части, конечно, дурея от скуки.

— Вы в порядке, товарищ? — спрашивал парень у папы, участливо выставив зад в пламенеющих плавках, и из толпы любопытствующих кто-то ответил укоризненным баском:

— Какое в порядке! Не видишь! Потоп человек!

— Не потоп, а баба его потопла, — поправили басовитого, и папа, наконец вырвав у парня руку, вдруг мягко и глухо охнул и упал ничком, будто игрушка, которую случайно пихнули локтем с насиженного места.

Спасатель распрямился, растеряно озираясь, но сквозь кольцо отдыхающих уже пробивалась, покрикивая, белая и юркая, как моторка, докторша — и точно такая же белая и юркая, но уже настоящая моторка крутилась у буйков, нарезая взволнованные круги, и с нее с беззвучным плеском ныряли в гладкие волны другие спасатели, перекрикиваясь далекими, колокольными, молодыми голосами.

— Ишь ты, жена утонула, а сам целый, — не то укорил, не то позавидовал кто-то невидимый, неразличимый в голой, потной, гомонящей толпе, и папа, словно услышав эти слова, тотчас поднялся — весь, как недоеденный Лидочкой персик, облепленный тяжелым бурым песком.

Он вдруг задрал голову к небу и погрозил кулаками кому-то сверху —

жестом такой древней и страшной силы, что он не был даже человеческим. Шаловливая волнишка решилась подлизаться к нему, припала к розовым, детским каким-то пяткам, но вдруг перепугалась и бросилась назад, в море — к своим. Папа обвел отдыхающих голыми мокрыми глазами.

— Нет, — сказал он вдруг совершенно спокойно. — Это все неправда. Нам пора обедать. Мы сейчас пойдем обедать. Где моя дочь?

Лидочка выдернула из кулака тети Мани маленькую, липкую от персикового сока руку и бросилась прочь, увязая в сыпучем, горячем — сыпуче и горячо. Что-то отчетливо лопалось у нее в голове, маленькими частыми взрывами — словно срабатывали крошечные предохранители и, не выдержав напряжения, перегорали — один за другим, один за другим. Пока не стерлось все, что нужно было стереть.

(Только тринадцать лет спустя, глядя по Би-би-си неторопливую документалку про семью орангутангов, Лидочка внутренне запнулась, когда самец, едва отбивший детеныша у аллигатора, выскочил на берег, почеловечески, хрипло завыл и вдруг поднял изувеченного мертвого малыша к небу — не то карая, не то укоряя, не то пытаясь понять. Лидочка поморщилась, голову вдруг заволокло сальной мутью, будто она смотрела на мир сквозь захватанные жирными пальцами очки — чужие, с чужими диоптриями, прихваченные впопыхах с чужого стола. Ничего не получалось. Ничего.

А потом самец бережно положил детеныша на землю и все орангутанги по очереди обнюхали неподвижное изувеченное тельце, как будто попрощались, и гуськом ушли прочь, ссутуленные эволюцией, нелепые, мгновенно и счастливо все забывшие, потому что забыть для них — это и означало жить. Жалко, правда? — спросил Лужбин, часто смаргивая — как все осознанно жесткие люди, он охотно лил слезы по пустякам. Лидочка согласно кивнула. Плакать от жалости ее отучили еще в училище, в девять лет. Персик хочешь? — Лужбин смущенно потянулся к тарелке с фруктами, вот черт, разнюнился, как баба. Нет, сказала Лидочка. Извини. У меня на персики аллергия.)

Дети устроены крепко, очень крепко. Сколько ни пыталась повзрослевшая Лидочка вспомнить лето восемьдесят пятого года не до, а после 24 июля — не получалось ничего, кроме болезненных и ярких вспышек. Покрывало на кровати в номере — бело-голубое, в цветах. Папа, целые сутки пролежавший на соседней кровати — лицом к стене, на затылке — сквозь рыжеватый пух — розовая, беззащитная кожа. В

самолете — Лидочка первый раз в жизни летела в самолете! — затаенная в синее и очень красивая тетенька разносила на подносе леденцы «Взлетные» — махонькие, вдвое меньше обычных, удивительные. Лидочка взяла один и, как учила мамочка, тихо сказала спасибо. Возьми еще, девочка, — разрешила стюардесса, и сквозь приветливый профессиональный оскал, сквозь толсто, как на бутерброд, намазанный тональный крем «Балет» проступили вполне человеческие участливые морщинки. Спасибо, снова прошептала Лидочка и взяла еще одну конфетку. В самолете было интересно, но душно и пахло хвойным освежителем воздуха и призраком чьей-то очень давней рвоты. Все шесть часов, что они летели до Энска, папа проплакал. Без остановки. Целые шесть часов.

Кто тогда взвалил на себя все невозможные хлопоты, кто собирал документы, добывал гроб, кто помог перевезти его через всю страну — кто? Лидочка так и не узнала. На похороны ее не взяли, и она — под присмотром молчаливой, оснащенной вязальными спицами соседки — осталась дома и степенно играла со своими куклами. Куклы варили суп и ходили в гости, а гэдээровская Леля с золотыми скрипучими волосами даже вышла замуж за зайца. Она была ростом чуть поменьше самой Лидочки, эта Леля, так что мамочка даже перешила ей одно из Лидочкиных платьев — белое, праздничное, с ужасным ожогом на груди от неосторожного утюга. Мамочка спрятала ожог под большим бантом и теперь бело-шелковая Леля была просто обречена на вечные матримониальные устремления. Кем ты работаешь, Леля? Я? Невестой!

Когда зазвенел дверной звонок, Лидочка как раз соображала, кого назначить Леле и зайцу в ребеночки — лупоглазого щенка или пластмассового Гурвинека, у которого двигались ручки. Соседка в четыре приема (снять очки, положить очки, уронить клубок, потерять поясницу) попыталась извлечь себя из кресла, но Лидочка уже неслась в прихожую, подпрыгивая от счастья — мамочка, это мамочка пришла, я знаю! Соседка наконец-то вырвалась из мебельного плена и украдкой перекрестилась. За дверью стояла женщина — Лидочке совершенно незнакомая — в платье невероятного, тревожного, ночного цвета. Она была очень красивая — очень, куда там стюардессе. Почти такая же красивая, как мамочка. Только губы чересчур красные. Женщина не глядя отодвинула Лидочку в сторону, словно небольшой и не слишком ценный предмет, и вошла в дом.

— А где мама? — спросила Лидочка и заранее растянула рот, чтобы половчее зареветь.

— Умерла, — очень спокойно ответила женщина, и соседка еще раз

перекрестилась.

— А папа? — что такое «умерла» Лидочка не знала, но рев на всякий случай отменила.

Губы у женщины чуть-чуть дрогнули, как будто она собиралась поцеловать воздух, а потом передумала.

— Твой папа скоро вернется, — сказала она и наконец-то посмотрела на Лидочку.

Глаза у женщины оказались серо-голубые, прозрачные, гладкие и с каким-то сложным сизоватым переливом на самом дне. А у мамочки глаза были рыжие. Рыжие и веселые — как у рыжей веселой собаки. И потом — дальше, всю жизнь — больше всего на свете Лидочка боялась это забыть.

— А вы сами, позвольте, кто такая? — наконец-то очнулась от морока соседка, которая до этого недоверчиво разглядывала двойную жемчужную нитку на шее неведомой гостьи — бусины были крупные, одна к одной, и держались вместе с замечательной скромностью очень дорогой и очень простой вещи.

Искусственные, поди, успокоила себя соседка, профессиональный товаровед и вдохновенная завистница на заслуженной пенсии. Напрасная надежда — жемчуг был настоящий, серо-розовый, морской, терпеливо выращенный в нежных, живых устричных потемках. У Галины Петровны Линдт вообще все было только настоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни, но об этом, слава богу, никто не знал.

— Кто я такая? — Галина Петровна сострадательно приподняла брови, как будто соседка была сумасшедшей и не узнала царствующую особу, портрет которой висел в каждом доме в красном углу — волнистый от фимиама народной любви и бесконечно закипающего самовара. — Кто я такая? Вы серьезно?

Соседка мигом стушеввалась, отступила назад, в свою жалкую жизнь, в тесную однушку, где по побеленным стенам трафаретом были намалеваны угловатые деревенские узоры.

— Пойдем, — сказала Галина Петровна и подтолкнула Лидочку к двери, которую никто так и не догадался закрыть. И Лидочка послушно переступила порог собственной жизни.

Не сразу, но Лидочка разобралась, что ее унаследовала бабушка.

Бабушку звали — Галина Петровна, вы. Лидочка попробовала было вариант «бабушка Галя», но ей было отказано: во-первых, потому что звучит чересчур по-деревенски, во-вторых, можно подумать, что у тебя сто бабушек и ты не знаешь, к какой обратиться. Это правда — ста бабушек у

Лидочки не было, да и дедушек тоже. Вернее, дедушка и бабушка были — жили в папиаминой спальне, и мамочка иногда снимала их со стены и ласково водила пальцем по черно-белому мужчине в кителе и по кудрявой женщине, положившей на мужнин капитанский погон легкую, полную, даже на вид веселую руку. У женщины были длинные бусы и ямочки на щеках, а у мужчины — усы насупленной щеточкой. А вот это, Барбариска, — говорила мамочка, — мои мама и папа, а твои — дедушка и бабушка. А где они? — спрашивала Лидочка, заранее, как в сказке, зная ответ и заранее радуясь этому, как радуется раз и навсегда положенному ходу вещей любой ребенок. Далеко-далеко отсюда, в одном чудесном и сказочном краю, — говорила мамочка грустно, — имея в виду не то рай, не то Дальневосточный военный округ, и заснеженный мост, с которого и нырнул задремавший за рулем грузовика несмышленный ушастый солдатик, прихватив в свои последние причудливые сновидения и продрогший в кузове взвод, и капитана, проголосовавшего на выезде из города Бикина, и сидевшую в кабине капитанову жену, которая даже мертвая прижимала к груди купленную в военторге настольную лампу под жарким солнечным абажуром.

А почему бабушка с дедушкой не едут к нам в гости? Лидочка нетерпеливо тянула мамочку за руку, как будто чувствовала, что нельзя слишком долго думать про ломающийся под колесами лед, про летящую навстречу черную, беззвучную от холода воду. Почему, скажи, почему? Потому что это очень далеко, Барбариска. А мы к ним поедem? Непременно, — серьезно обещала мамочка. — Сперва мы с папой, а потом и ты. Только это будет очень и очень нескоро. Через тысячу миллионов лет? У Лидочки даже дух захватывало от такой величественной цифры. И даже еще дольше! — обещала мамочка и вставала с пуфика, похожего на плюшевую клубничину на толстых ножках. А давай-ка пойдem и пышек с тобой напечем, вот что! Лидочка ликующе верещала, предчувствуя возню с мукой и свежeоткрытую банку варенья, и бабушка с дедушкой возвращались на стену. Честно говоря, на дедушку с бабушкой они были похожи мало.

Но Галина Петровна — Галина Петровна вообще не была похожа ни на кого!

Во-первых, она совершенно одна жила в огромной квартире, похожей на картинку замка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перро.

Во-вторых, в квартире нельзя было бегать, прыгать и кричать. То есть — этого вообще больше было нельзя делать, но в квартире — особенно.

В-третьих, каждое утро приходила специальная женщина — Марьванна, которая переодевалась в фартук и прибиралась во всех комнатах с бездушной и молчаливой сноровистостью настоящего механизма. Мамочка, когда прибиралась, всегда сердилась или пела. Еще Марьванна готовила еду — каждый день другую, свежую, а остатки вчерашнего обеда или ужина переливала в специальные кастрюльки, которые назывались судки. Судки Марьванна уносила с собой. С Лидочкой она не разговаривала — как будто ее не было.

— А зачем Марьванне еда? — Лидочка не выдержала, все-таки спросила у Галины Петровны, хотя прекрасно знала и про любопытную Варвару, и про оторванный нос. Мамочка с папой не разрешали лезть с вопросами к чужим взрослым. Но если других, не чужих взрослых, больше не было, значит, спрашивать было, наверно, можно.

— Какая еда? — рассеянно удивилась Галина Петровна, оторвавшись от телевизора. — А-а-а... Эта. Не знаю, внукам, наверно, забирает.

Лидочка помолчала, соображая.

— А Марьванна — наша общая бабушка?

Галина Петровна окончательно вынырнула из художественного фильма «Браслет-2». Лошадь какая-то дурацкая. Совсем разучились кино снимать.

— С чего ты взяла, что Марья Ивановна — наша бабушка? И не ковыряй кресло. Испортишь.

Лидочка послушно перестала поглаживать бархатистую обивку. Марьванна приходила каждый день — готовила, убирала, застилала постели, стирала. Заботилась о Лидочке и Галине Петровне, как и положено бабушке. К тому же, как только что выяснилось, у нее были внуки, которым она носила то, что Лидочка с Галиной Петровной не доели. Следовательно, Галина Петровна и Лидочка тоже были внуки Марьванны, причем — самые любимые. Лидочка не видела в логической цепочке своих рассуждений ни единой дырки. Все было верно. Разве нет?

Галина Петровна раздраженно пожала плечами.

— Какой ерундой забита твоя голова! Марья Ивановна — моя домработница. Иди лучше почитай или порисуй. Ты читать хоть умеешь?

Лидочка обиженно сползла с кресла. Читать она умела. И очень давно. Между прочим, даже про себя!

Странно было другое: прежде Лидочка и понятия не имела, о том, что Галина Петровна вообще существует. Это было непонятно. Потому что или у тебя есть бабушка — пусть даже настенная, или у тебя бабушки нет. Конечно, можно было потребовать разъяснений у папы, но папа — хотя

Галина Петровна и пообещала, что он скоро придет, — почему-то не возвращался. Лидочка смутно помнила, что в первую ночь, которую она провела у Галины Петровны (ей постелили на кожаном диване, живом и совершенно слоновьем на ощупь), папа был. Он, покачиваясь, стоял возле дивана на коленях и тоненько, как щенок, скулил, и Лидочка даже сквозь густые слои сна чувствовала его родной, теплый запах — чудесную смесь табака и одеколона, про который мамочка говорила, что он пахнет лавровым листом из супа, и даже звала иногда так папу — Лаврушка.

«Лаврушка», — пробормотала Лидочка, ворочаясь — подушка была непривычная. Слишком мягкая. Мамочка говорила, что спать на мягком — вредно. Папа испуганно замолчал. «Спи, доченька, спи, моя зайка, — зашептал он, невидимыми слепыми руками пытаюсь нашарить Лидочку среди диванных отрогов. — Видишь, косички тебе никто на ночь не расплел, бабушка не догадалась, ты уж не сердись на нее, она научится, вот увидишь...»

Лидочка попыталась разлепить тяжелые ресницы — ничего не получилось. А где мама? — спросила она недовольным, лохматым со сна голосом, — маму позови... Папа помолчал, словно собираясь с силами, а потом вдруг уткнулся в Лидочку огромным, огненным лицом, так что она даже сквозь тонкую ткань пижамки почувствовала, как стучат и прыгают у него зубы.

— Прекрати истерику, Борис, — приказала из ниоткуда возникшая в дверном проеме Галина Петровна. Призрачно-белая ночная сорочка, затканый жесткими шелковыми драконами халат. — Ведешь себя, как баба.

Папа поднял голову, пижама на боку у Лидочки была насквозь мокрая от его слез.

— Ты всегда ее ненавидела, — сказал папа тихо. — Всегда.

Галина Петровна пожала плечами и исчезла, а потом исчез и папа, истаял в медленном ночном воздухе, когда Лидочка перевернулась на другой бок, не в силах больше противиться ласковому напору со всех сторон наплывающего сна...

Наутро папы нигде не было, и Лидочка долго слонялась по незнакомой квартире, шлепая босыми пятками, пока не набрела на Галину Петровну, которая стояла у окна в горячем табачном нимбе — мамочка никогда не курила. Папа курил, а мамочка нет.

— А где папа? — спросила Лидочка угрюмо.

Галина Петровна обернулась — сигарета у нее в пальцах была удивительная. Длинная.

— Уехал, — сказала она.

— А мама?

— А мама умерла.

Лидочка помолчала, примеряя на себя эту невозможную судьбу.

— Я хочу домой, — сказала она.

— Теперь твой дом тут.

Это была неправда — и обе они, и Лидочка, и Галина Петровна, прекрасно это понимали. Но выбора не было. И Лидочка с Галиной Петровной начали жить вместе.

Первым делом Галина Петровна повезла Лидочку к врачу. В длинной белой машине с плавным названием «Волга». Причем Галина Петровна сама села за руль: и это было удивительно, потому что в прежней Лидочкиной жизни машины водили только ласковые дядьки с огромными заскорузлыми руками — таксисты. Мамочка еще всегда делала на их ногти круглые, возмущенные брови: демонстрировала Лидочке, что бывает, если не мыть руки перед едой. Ногти были черные, в трещинах и некультурных слоях. А автобусы вообще ездили сами по себе. Зато в автобусах можно было тайком сунуть нос в душную мутоновую полу чьей-нибудь шубы или потрогать за скрипнувший яркий подол чужую нарядную юбку. Автобусы Лидочка любила.

Галина Петровна усадила Лидочку, свежую и наряженную, как кукла, на переднее сиденье и туго перехватила ремнем безопасности — словно перетянула лентой праздничный букет. Не вертись, — строго велела она, и улица радостно, как щенок, бросилась им навстречу — легкая, гладкая, вся в длинных тенях и слепящих солнечно-зеленых квадратах. От быстрого, почти клавишного перебора, с которым столбы сменяли стволы, а стволы — зеркально залитые окна, Лидочку почти сразу замутило. К тому же в «Волге» сильно и сладко воняло бензином и духами Галины Петровны — невыносимыми, густыми, будто взорвавшееся на жаре, нагло прущее из банки смородиновое варенье. Это был диоровский «Пуазон», аромат, которому только предстояло стать легендарным, а пока — новинка, невероятная даже для Парижа, выпуск 1985 года, этого года, того самого, в котором — прямо сейчас — текла по энским улицам «Волга», и Лидочка, притянутая к сиденью, болтала лапами, пытаясь нащупать сандалией гроыхающий пол. Тщетно. Столб, ствол, окно, поворот. Ствол, окно, поворот, столб.

Галина Петровна заплатила за «Пуазон» триста рублей — триста! — больше, гораздо больше чем ежемесячная зарплата многих граждан

огромной советской страны. Но чем больше тратишь, тем больше становится денег — это же очень простое и очень понятное правило. И потом, кто определит, сколько стоит унция счастья, в каких денежных единицах измерить звук, с которым лопнул стеклянистый целлофан, лопнул и сполз с зеленой, как будто даже малахитовой коробочки? Лилово-синий, округлый и гладкий, как молодая женская грудь, флакон. Прозрачная призма плотно притертой пробки. Галина Петровна провела прохладным, влажным горлышком флакона по собственному горячему пульсирующему горлу. Мед апельсинового дерева, малина, амбра, опопонакс и кориандр. Чтобы получить смолу опопонакса, растению *Ferula* Ороронах наносят смертельную рану. Слезы и кровь этой травы пахнут пряным, чистейшим ядом. Не думаю, чтобы в Совдепии еще у кого-нибудь были такие духи, — промурчала верная Норочка, тайная поставщица энской элиты, маленькая крыса больших фарцово-дипломатических путей. Триста полученных от Галины Петровны рублей она сунула в розовую полуоткрытую пасть своей щегольской сумочки — будто в лифчик, быстрым и сноровистым движением мелкой воровки, которое не вязалось ни с Норочкиным сложносочиненным, до вытачки и кокетки импортным нарядом, ни с ее протяжной небрежной повадкой ко всему привыкшей богатой дамы.

Машина подпрыгнула на предательски разъявленном канализационном люке, и Лидочка еле проглотила громадный шерстяной комок надвигающейся рвоты. Пахнет, — пожаловалась она прямо перед собой. Без особой надежды пожаловалась — просто так. Галина Петровна перегнулась, протянула крупную руку (пуазоново-бензиновая вонь стала осязаемой — как будто Лидочку с головой макнули в чернильно-черные сладкие сопли), и быстрый уличный воздух ловко, как кот, просунул сквозь оконное стекло тугую прохладную лапу и невольно ударил Лидочку по губам и по круглому вспотевшему лбу. Дышать сразу стало немного легче. Зато опасная и монотонная считалка — столб, ствол, окно, поворот — сразу наполнилась грозным, рокошующим ревом. Все шумы проносящегося мимо города, торопливо отталкивая друг друга, попытались разом протиснуться в оконную щель, но, разумеется, застряли и от того завывли на совсем уже яростной, невыносимой ноте.

Чтобы хоть немного отвлечься, Лидочка скосила глаза на Галину Петровну, но и та, как на беду, была вся в непрестанном, почти механическом движении. Под юбкой цвета нежной свежей ряженки быстро ходили сильные колени — как будто Галина Петровна месила невидимыми ступнями что-то упрямое, сопротивляющееся и злое. Правая рука (с крупным, спелым рубиновым кабошоном на пальце) то и дело ложилась на

рукоять, торчавшую прямо из пола, — рукоять с хищным хрустом дергалась, будто ломалась какая-то невидимая, но важная кость, машина в ответ жалобно рыкала, и рука Галины Петровны возвращалась на руль, завершая его плавное поворотное движение. Это было похоже на странный механический танец, невыносимый и для зрителей, и для плясуна, и особенно мучительно было движение головой, которое Галина Петровна делала, по очереди заглядывая в три зеркала — вверху, слева, справа, — и всякий раз медно-карий скульптурный локон над ее лбом вздрагивал, на одну сотую доли секунды выпадая из общего заданного такта.

В какой-то момент этот сложный узорчатый ритм пришел в резонанс с безостановочным законным мельтешением, запах в машине усилился, стал почти торжественным, хоральным и оглушительно громким. Лидочка, уже понимая, что поздно, кончено, все-таки попыталась выпростать из-под ремня руки или хотя бы зажмуриться. Не вертись, говорю, — сердито приказала Галина Петровна, взвизгнув тормозами, и — опляп! — Лидочку вырвало.

Платье (голубое, новое, с атласным поясом и мелко плоенным воланом по подолу) почти не пострадало, а белые носочки с бомбошками рыдающая Лидочка под присмотром Галины Петровны застирала в туалете поликлиники. Боже, что за ребенок! Лучше прополаскивай. Теперь отожди как следует. Руки не так держишь. Не так! Галина Петровна выхватила у Лидочки из рук опоганенные носки и ловко — раз, раз! — выжала над раковиной. Кабошон на ее пальце поймал бегущую из крана витую струйку и освобожденно полыхнул на весь туалет влажным багровым огнем. По кафельным стенам вскачь пронеслись гладкие розовые блики — и пропали. Рот прополощи, — велела Галина Петровна, и Лидочка послушно покатала во рту прохладный, пахнувший хлоркой водяной шарик. Выпустила его на волю. Подобрала с подбородка нитку горькой, липкой слюны. Ее больше не тошнило, разве что самую малость крутило в животе. Да и то больше от стыда. Галина Петровна скатала постиранные носки в тугий влажный шарик и ловко бросила в сумочку. Пойдем, — велела она. И они пошли.

Докторша была похожа на пирожное безе — круглая, белая и словно склеенная из двух сахаристо похрустывающих легких половинок. Это что же это за кукла такая ко мне пришла, — затянула она сладким, тоже безейным голосом опытного педиатра, присаживаясь перед Лидочкой на корточки. Лидочка на всякий случай попятилась, ожидая чего-нибудь ужасного вроде шпателя или шприца — ясно было, что от человека с таким голосом нельзя ждать ничего хорошего. Но докторша ловко и небольно

ощупала Лидочку гладкими пальцами — а теперь скажи а-а-а, вот умница, ручки подними, хорошо, давай-ка теперь тебя послушаем. Кружок стетоскопа — такой ледяной, что как будто даже горячий, хлопотливый топоток растревоженных, щекотных мурашек. Лидочка свела ставшие пупырчатыми лопатки и хихикнула. Не дыши, — серьезно велела докторша, — а вот теперь — дыши. Лидочка хихикнула еще раз, и Галина Петровна раздраженно погрозила ей пальцем.

— Совершенно здоровенькая девочка, — присудила наконец сахарная врачиха и помогла Лидочке надеть платье. — А красotka какая — просто копия вы, Галина Петровна. А вас что-то конкретное беспокоит? Может, Лида кушает плохо? Или спит? Вполне понятно — после такого-то стресса. Вы сами-то как себя чувствуете? — Докторша деликатно понизила голос, словно приглашая Галину Петровну на тур упоительного словесного вальса. Она, как и многие ведомственные врачи, большую часть дня дурела от невыносимого и хорошо оплаченного восторга перед высокопоставленными пациентами и спасала рассудок исключительно сплетнями.

Галина Петровна сердито дернула плечом. Сплетничать она была не намерена — тем более о себе самой.

— Я в абсолютном порядке, — отрезала она, — успокойтесь. А ребенка проверьте как следует. Может, у нее глисты?

— Ну что вы, какие глисты, Галина Петровна! — Докторша даже как будто немножко обиделась за Лидочку, которая сидела тут же, на стуле, болтая сандаletками. На волане голубого платья — предательское пятно от застиранной рвоты, левую пятку чуть-чуть саднит. — Девочка, слава богу, совершенно здорова. Конечно, если вы хотите, можно сдать анализы, но...

Словно вызванная к жизни словом «анализы», из-за ширмы вышла медсестра, немолодая, с деревянным лицом.

— Ольга Валерьевна, выпишите направление. Кал на яйцеглист. Лидия Борисовна Линдт. Ведь папу твоего, Лидочка, Борей зовут, правда? Лидочка не успела даже кивнуть — Галина Петровна встала, взяла ее за руку и, не прощаясь, вышла из кабинета.

— Вот ведь дрянь, — с неожиданной злостью сказала в закрытую дверь медсестра. — Глисты. Как будто котенка с помойки в дом притащила.

Заблеванная «Волга», которую Галина Петровна оставила у будки охраны, ждала их — раскалившаяся на солнце, но тщательно вычищенная внутри. Это расстарался охранник, веселый толстый дядька, приставленный оберегать ведомственную поликлинику от рядовых сограждан с их никому не интересными язвами и гайморитами. Ишь ты,

укачало тебя как, козявка, — посочувствовал дядька Лидочке и сунул ей в вялую ладошку барбарисовую карамельку, которая от длительного пребывания в форменных карманах практически утратила первоначальный кондитерский облик. Лидочка, обалдевшая, подавленная новой встречей с «Волгой» и загадочным словом «глисты», послушно пробормотала спасибо — извлеченное из навеки набитых мамочкой педагогических закровов.

— ЛазарЁсича внучечка? — бодро поинтересовался охранник, пытаясь погладить Лидочку по горячей макушке, но Галина Петровна ловко выдернула Лидочку из-под ласкающей руки и взамен сунула дядьке заработанный трояк — чтоб заткнул рот и не фамильярничал.

Хлопнула одна дверца, другая, и Лидочка снова оказалась в невыносимом автомобильном нутре, среди знакомой уже вони, остро смешавшейся с запахом горячей пластмассы, хлорки и свежей рвоты.

— А кто это — ЛазарЁсич? — спросила она, стараясь дышать ртом и не шевелиться, чтобы не растревожить вновь завозившийся внутри живой рвотный комок.

Галина Петровна чуть-чуть приподняла брови и взглянула на Лидочку с неожиданным уважением — как на очень взрослого и очень смелого человека.

— Лазарь Иосифович Линдт, академик, — медленно, непонятно и чуть нараспев сказала она, и это было не объяснение пятилетнему ребенку, конечно, да и вообще — не объяснение, а так — не то заговор, убивающий память, не то молитва, заклинающая демонов. Лидочка непонимающе приоткрыла рот. — Твой дедушка.

Глава вторая

Маруся

Он появился в Москве ниоткуда, словно был воплощен Богом сразу на пороге второго МГУ, — хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года. Услужливое воображение наверняка уже разложило перед вами веер смуглых от времени мрачных дагерротипов: холод, голод, разруха, оголтелое людоедство, ужас, братоубийство, тиф.

Однако на деле в Москве все обстояло не так уж плохо. С марта восемнадцатого года она вновь была объявлена столицей — правда, не очень ясно, какого именно государства, но зато торопливый переезд правительства из Петрограда гарантировал отсутствие на улицах пирующего на трупах воронья. В театр имени Комиссаржевской на аристофановскую «Лисистрату» валила отнюдь не опухшая с голоду публика, футбольная команда «Замоскворецкого клуба спорта» выиграла первенство города, а на теннисных кортах «Петровки» царил Всеволод Вербицкий, актер МХАТа, душка, красавчик, взявший в том же восемнадцатом году первое место на первом теннисном чемпионате революционной Москвы. В моду — с легкой руки Свердлова — входили приятно поскрипывающие кожанки для обоих полов, добыть с рук можно было все что угодно, и скуластые брюнетки все так же играли глазами и коленками, как в прежние, мирные и, пожалуй, даже скучноватые времена. Перебои с продуктами, близость немцев и толпы более или менее пьяной солдатни не казались несомненными предвестниками Апокалипсиса. Скорее уж — это были неизбежные издержки великого перелома: что-то, связанное столь же досадно и тесно, как прелестный дачный вечер и комары, влюбленность и женитьба, Масленица и жирная, уютно свернувшаяся за грудиной изжога.

Впрочем, обломков судеб и нехитрого человеческого мусора в Москве тоже образовалось преизрядно: свежесвершившейся революцией сорвало с места не то что целые сословия — народы. Особенно много было евреев — вот уж кому советская власть поначалу и сгоряча дала решительно все. Ошалевшие, нелепые, неприкаянные без привычной черты оседлости, они потянулись в столицу — не то мыкать своего невозможного иудейского счастья, не то удостовериться лично, что — кончено, отмучились. Теперь уж наверняка. Самые пронырливые и сметливые уже привычно

прилаживались, приспособлялись, притирались — кто к торговлишке, кто к стремительно обесценивающимся деньжатам, кто к невиданным прежде должностям, потихоньку, помаленьку, как говаривал зоологический антисемит и по совместительству великий русский писатель — тихими стопами-с.

Впрочем, некоторым приспособляться не было ни малейшего прока, поскольку лучшие сыны еврейского народа сами были участниками и вдохновителями русского бунта — и, надо сказать, бессмысленными участниками и беспощадными вдохновителями. Кстати, именно они стали и самыми первыми жертвами выпущенных на волю демонов, когда — спустя несколько ярких прерывистых лет — гигантская имперская свинья с хрюком поднялась из вековой лужи и принялась равнодушно пожирать собственных поросят, не разбирая особо, какие из них кошерные, а какие — не очень. Но в первые советские годы — ах, каким они были святым и неистовым воинством, эти юные комиссары, эти древние сыны Авраамовы! Неподкупные, фанатичные, безжалостные, прекрасные в своем идиотическом героизме, именно они придали русской революции тот отчетливый иудейский привкус, от которого и десятилетия спустя сами евреи яростно плевались — кто ядом, а кто и самой настоящей кровью. Это, как говорил академик Линдт, смотря с какой стороны рассудить.

Впрочем, сам Линдт не принадлежал ни к торговому, ни к комиссарскому сословию, да и вообще, признаться, находил в своем еврействе очень мало толку и проку. Иудеев он считал пугливым и мирным народцем с крайне неудачной исторической судьбой. Ну, подумайте сами — веками мелко торговать и мелко же унижаться, жить на узлах, ночами вздрагивать и жаться, зная, что, как ни старайся, при первой же заварушке все равно выпрут со всеми манатками за порог. Да еще и по шее накастыляют. Просто так — чтоб под ногами не путались и чесноком своим не воняли.

— Знаешь, Лазарь, еврей-антисемит — это еще гаже, чем монахиня-шлюха! — морщился Чалдонов, один из отцов-основателей современной гидро- и аэродинамики, академик, сияющий столп советской науки и такой коренной русак, что никакого паспорта не нужно. Только глянь на непропеченный нос, бесцветные брови и общий склад простодушной бревенчатой физиономии, и сразу — как в быстрой прокрутке — увидишь всю немудреную историю российских хлебопашцев, с ее гиканьем и свистом, каторжной работой и таким же каторжным, словно подневольным, весельем.

— Да бросьте, Сергей Александрович, какой же я антисемит! —

скалится Линдт, выставя крупные ловкие зубы. — Я просто выступаю за справедливость. Как можно называть великим и богоизбранным народ, который бездарно проебал все на свете, включая собственный Храм, и потом тысячи лет питался исключительно слезливыми воспоминаниями? Они даже толкового культурного наследия не сумели создать!

— Лазарь, Бог с тобой, а Библия? — пугался Чалдонов, он был аж 1869 года рождения, но просветительский дар и крепкие кулаки дьячка, вбивавшего в тупоумную деревенскую паству богословие и боголюбие, не утратили для него педагогической убедительности даже к 1934 году. — А Библия-то как же?

— Какая Библия, Сергей Александрович, я вас умоляю! — Линдт смеялся уже в открытую. — Да ее кто только не писал, вы еще скажите — Упанишады или Тора! Я вам про культурное наследие говорю, а не про религиозные бредни. Где у ваших иудеев великая литература? Где живопись? Архитектура где?

Чалдонов мысленно крестился и мысленно же бормотал про хлеб наш насущный даждь нам днесь — родные, успокаивающие слова, почти не имевшие смысла, но словно елеем питавшие самые заскорузлые душевные горести и раны. И в унисон ему неслышно и невидимо молились — хоть и на другом языке, но все тому же Богу — поколения линдтовых предков, тихих скитальцев, отчаявшихся вечных жидов, действительно не создавших ни сложносочиненных дворцов, ни масштабных полотен, ни пышножопых скульптур — ничего, что жаль было бросить, отправляясь в очередное изгнание. Но именно это — непрестанное и горькое — молитвенное устремление так пропитало собой всю мировую культуру в целом, что из каждого угла торчали то тоскующие еврейские очи, то не менее тоскующие еврейские носы. Они — то есть, тьфу ты господи, вы, ну, конечно, вы — и есть всему разумному и цивилизованному божественная первопричина и духовный первоисточник. Съел, Лазарь?

Линдт пожимал плечами — гадостей, а уж тем более религиозных, он сроду не ел.

Чалдонову иногда казалось, что Создатель просто поторопился запихать гениальную линдтову сущность в первое попавшееся земное тело — словно Ему самому не под силу было удерживать эту самую сущность в руках. Ну, как будто печеную картошку, раскаленную, обугленную, с лопнувшим сахаристым бочком, которую сперва честно перебрасываешь из ладони в ладонь, пытаясь остудить, а потом все равно роняешь в невидимую ночную траву, пропади ты пропадом, такая горячая — сил нет, ну хоть не в коровью лепеху угодила — и на том спасибо.

Подвернувшееся тело оказалось унизительно маленьким, щуплым и жилистым, так что продрогший ушастый солдатик, охранявший вход во второй МГУ в ноябре 1918 года, сперва принял Линдта за беспризорника — благо лохмотья на том были самые выдающиеся, как из Малого Императорского театра. Побираться будет, смекнул красноармеец и почти ласково приказал:

— Вали отсюда, жиденок, тут и спиздить-то нечего. Одни ученственные господа. У них у самих жрать нечего.

— Я к Чалдонову Сергею Александровичу, — вежливо, как взрослый, объяснил жиденок.

И твердо потребовал:

— Доложите, пожалуйста.

К Чалдонову Линдта проводил секретарь физико-математического факультета (с естественным, математическим и химико-фармацевтическим отделениями). На самом деле факультета и секретаря как бы не существовало, потому что весь факультет целиком — со всеми отделениями — еще находился в будущем, а секретарь, напротив, чтобы не свихнуться, хронически пребывал в своем уютном прошлом университетского приват-доцента — с верным жалованием и приличными званию духовно-нравственными исканиями. Однако Линдт, не знавший этих обстоятельств, не ощутил в ситуации ровным счетом ничего безумного или гофманианского. Впрочем, он вообще был чужд пустым размышлениям о тщете всего сущего и истерически-эзотерическим закидонам. В этом смысле он был не русский и, уж конечно, не интеллигент. Просто крепко стоящий на земле гений — причем гений в самом биологическом смысле этого слова. Классическая патология головного мозга. Честно. Наверно, какая-то редкая мутация. Я не виноват, что так получилось.

Услышав за дверью скребущиеся и совершенно дворняжьи звуки, которыми секретарь кафедры обычно предвещал свое унылое появление, Сергей Александрович Чалдонов недовольно закричал.

Сергею Александровичу Чалдонову было некогда.

Вообще-то ему было некогда уже почти тринадцать лет — примерно с 1905 года, когда он — блестящий, между прочим, математик — на свою голову согласился стать директором Высших женских курсов. И понеслось: дрова, попечители, расширение, доклады, охваченные гормональными бурями курсистки — замуж, дуры, замуж срочно! Но теперь тогдашняя суэта казалась Чалдонову приятной послеобеденной дремой. Потому что

директор Высших женских курсов при батюшке-царе — это одно, а вот ты попробуй, мил человек, за месяц превратить эти самые Женские курсы во второй МГУ — да при новом революционном правительстве, которое по неопытности само не знает, чего хочет, но требует при этом — будь здоров. При помощи нагана.

Деликатно поцарапав лапкой дверь, секретарь засунул в кабинет плешивую голову. Чалдонов с тоской отложил в сторону протокол № 77/113 заседания коллегии народного комиссариата по просвещению. Протокол предписывал «преобразовать Высшие женские курсы во II Московский государственный университет, сделав его смешанным учебным заведением, но не считая его вновь создаваемым высшим учебным заведением».

В этой бумаге отвратительным было решительно все — желтоватый цвет, шероховатость, невыносимый для потомственного крестьянина казенно-плебейский тон («ассигновать на содержание курсов в виде аванса 1/12 представленной ими сметы»). Но ужаснее всего был список присутствующих на коллегии и абсолютно неведомых Чалдонову людей. Д. Н. Артемьев, В. И. Калинин, М. Н. Покровский, В. М. Познер и Д. Б. Калинин были еще хоть как-то выносимы. Но фамилия Ленгник, которая разом отдавала и зубной болью, и свифтовскими непроизносимыми гуингнами, причиняла Сергею Александровичу прямо-таки физическое мучение. По счастью, заботливый ангел-хранитель избавил хронически не высыпающегося Чалдонова от совсем уже несносных подробностей — имени Ленгника (Фридрих Вильгельмович) и его партийных кличек (Курц и Кол). Иначе валяться бы будущему академику и лауреату на паркете нетопленного директорского кабинета — с собственноручно простреленной башкой. Да что вы там мнетесь. Павел Николаевич? Заходите. Что там? Очередное предписание сверху?

— Нет, Сергей Александрович. Не предписание. Тут к вам пришли, — сообщил секретарь, по-прежнему пребывая между коридором (тыльная часть) и чалдоновским кабинетом (голова). В каком-то смысле это тоже была привычная ему позиция между прошлым и будущим.

— И кто же это, черт возьми? — не сдержался Чалдонов, который зависшего меж двух миров секретаря по-человечески, конечно, очень жалел, но на работе, милстсдарь, все же надобно работать. Да-с! Работать! Несмотря ни на что!

Секретарь замешкался, не решаясь хоть как-нибудь классифицировать оборванного подростка, который, несмотря на очевидную вонючесть и немытость, держался с замечательным веселым спокойствием урожденно богатого и свободного человека.

— Передайте Сергею Александровичу, что у меня есть вопросы по динамике неголономных систем, — негромко подсказал Линдт. Опорки на нем красовались такие, что о самих ногах лучше было и не думать.

— Э-э-э-э, — отозвался секретарь, чем окончательно решил судьбу советской науки, потому что соскучившийся Линдт ловко отодвинул приват-доцентскую задницу, преграждавшую ему дорогу в светлое будущее, и без доклада вошел в огромный чалдоновский кабинет.

Больше всего это было похоже на заговор. Или на детскую игру, правила которой меняются и придумываются на ходу, так что в памяти только и остается, что ощущение прихотливого счастья, которое бывает доступно только в раннем и еще не осознающем себя детстве.

Они с Чалдоновым сидели за столом для заседаний и ловко, словно картежники, бросали друг другу засаленную практически до съедобности тетрадку, которую Линдт извлек откуда-то из-под груды своих лохмотьев. Чалдонов быстро писал на свободных листах какие-то невозможные для обычного человека буквы, цифры и слова, а принявший пас Линдт писал поверх этих букв и цифр другие — свои собственные, и оба игрока даже кричали иногда от почти телесного удовольствия, будто действительно резались в волейбол, хекая, напрягая звонкие, здоровые, идеальные мышцы и посылая друг другу такой же звонкий, здоровый, идеальный мяч.

А потом Линдт наконец завис на несколько минут над какой-то неслыханной формулой, больше похожей на сложное насекомое, ошестинившееся десятком хищных педипальп и хелицер. Чалдонов протарабанил по столу короткую нетерпеливую дробь.

— Ну-с?

— Я не знаю, — признался Линдт и прикрыл формулу рукой, словно боялся, будто она проскользнет сквозь его опухшие от холода пальцы и с тихим сухим шелестом скроется в потустороннем воздухе смеркающегося мира.

— То-то же, коллега! — с удовольствием резюмировал Чалдонов, и они с Линдтом вдруг засмеялись от радости, как будто это был не похрустывающий от ледяной грязи ноябрь восемнадцатого года, а июнь мирного и солнечного 1903-го, и перед ними лежала не тетрадка, а распеленутый, розовозады, довольный, сучащий толстыми ножками младенец, которого они только что — вдвоем — спасли от неминуемого несчастья. Может быть, даже от смерти.

— Вы возьмете меня учиться, Сергей Александрович? — тихо спросил Линдт, и как-то сразу стало ясно, что разводы и полосы на его обглоданном,

мальчишеском лице — не от грязи, не от голода и даже не от тысячекилометровой усталости, потому что, знаете, по большей части приходилось все-таки пешком... Это были сумерки судьбы, тень большого, очень большого и страшно далекого дара, под сенью которого Линдту пришлось прожить уже восемнадцать лет своей огромной и торжественной жизни и надлежало прожить еще как минимум шестьдесят три.

— Учиться? — переспросил Чалдонов грозно. — Хуюшки! Учиться ему подавай — вы только посмотрите на этого гуся! Работать вы у меня будете, работать — и еще как!

Чалдонов с трудом вылез из-за стола, распахнул дверь кабинета и истошно заорал куда-то вглубь, вдаль, в неопределенно-личное будущее:

— Павел Николаевич, Павел Николаевич, немедленно оформите нового сотрудника! Вас как зовут, коллега? — спохватившись, Чалдонов повернулся к невиданному подкидышу.

Лазарь. Лазарь Иосифович Линдт.

Чалдонов кивнул — не то запоминая, не то отдавая честь, и, не дождавшись из будущего ответа, сам отправился на поиски утраченного приват-доцента. Когда через час он возвратился, обвешанный карточками, справками и анкетами, Лазарь Иосифович Линдт крепко спал, уронив прямо на открытую тетрадь вшивую нечесаную голову, и по лицу его — наконец-то! — плыли не тени демонских крыльев, а торопливая рябь коротких и, кажется, совершенно детских сновидений.

Вечером Чалдонов привел Линдта к себе домой, на Остоженку, — в огромную профессорскую квартиру, сумеречную, поскрипывающую, аппетитно пропахшую книгами в хороших переплетах и степенными домашними обедами — на пять гостей и четыре перемены блюд. Перед дверью Чалдонов на мгновение внутренне замешкался, и Линдт тотчас же мягко тронул его за рукав.

— Вы уверены, что это удобно, Сергей Александрович? Мне вообще-то есть где переночевать.

— Ну вот еще, что за глупые церемонии, коллега, — буркнул взятый врасплох Чалдонов, дергая дверной звонок, что за черт, мысли он, что ли, читает, а что, при таких-то способностях, и если предположить электромагнитную природу излучения... Ну и всыплет же мне Маруся, господи-пронеси-и-помилуй. Всыплет, это уж как пить дать!

Входная дверь распахнулась (без уточняющих вопросов и лязганья засовов, вполне извинительных в городе, в котором недавно произошла великая октябрьская социалистическая революция), и на пороге появилась

женщина, а вместе с ней — свет, такой яркий и плотный, что Лазарь Линдт на секунду зажмурился. Свет был слишком живым и сильным, чтобы его можно было списать на банальную керосиновую лампу, которую Мария Никитична Чалдонова (по-домашнему — Маруся) держала в руках, так что Линдт долго-долго потом, целые годы спустя, ассоциировал жену Чалдонова и всю их семью именно с этим светом.

У Марии Никитичны было нежное, необыкновенно живое лицо того немного грубоватого и отчасти простонародного типа, который вышел из моды еще в десятилетия двадцатого века и теперь обитает исключительно на дореволюционных фотокарточках. В молодости она, несомненно, была хорошенькой — все в той же позабытой нынче манере, когда с женской красотой рифмовалась неяркая прелесть и девушке из хорошего семейства непременно полагалось много плакать по пустякам, иметь свежую кожу прохладного молочного разлива, а в месячные целые дни проводить в постели, пролеживая специально для этого предназначенные юбки. В жене Чалдонова все эти нежные требования и условности отступали на второй план, покоренные светом, который она излучала словно сама по себе, как будто даже против своей воли. Всю свою жизнь потом Линдт искал похожие отблески на лицах множества женщин, великого множества. Но так и не понял, что женщина сама по себе вообще не существует. Она тело и отраженный свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушел от меня. Цитата. Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Набоков подтвердил бы, что внимательный читатель и сам сумеет расставить кавычки.

— Вот, Маруся, смотри, кого я нашел, — сказал Чалдонов бодро и немного испуганно, будто он был мальчишкой, а Линдт — трясущимся, блохастым, но уже невероятно любимым щенком, и решить, останутся ли они дома — жить, или вдвоем отправятся назад на помойку, могла только мама, вряд ли вот так просто забывшая вчерашний «кол» по поведению. Мария Никитична вопросительно взглянула на мужа. — Это Лазарь Иосифович Линдт — мой новый коллега, — попытался отрекомендовать гостя Чалдонов. Затея с приводом найденыша домой с каждой секундой казалась ему все менее удачной. Маруся, как все хорошо воспитанные люди, обладала отлично взнузданным темпераментом и потому умела взрываться с замечательной быстротой. Чалдонов знал это прекрасно. Лучше просто и не бывает. Линдт попытался вежливо поклониться, и лестница, дверь и лампа тотчас мягко и быстро повернулись вокруг головокружительной оси. Есть хотелось просто невероятно. Маруся помолчала еще одну длинную секунду.

— Вшивый? — деловито спросила она у Линдта, как будто приценивалась к нему на рынке. Линдт обреченно кивнул. Собственно, кроме тетрадки и вшей, у него больше ничего и не было. — Тогда потерпите, пока я не приведу вас в порядок. И только потом уже — ужинать, ладно?

Через час с небольшим все уже сидели в столовой за обеденным столом, сервированном по правилам, которые стремительно, прямо на глазах, становились старорежимными пережитками. Хрустели салфетки, тяжело звякало серебро, из просторного, как полынья, ворота чалдоновской рубахи торчал, пуская ликующие блики, наголо обритый Линдт (Чалдонов принес в жертву отменную бритву фабрично-промышленного торгового дома Арона Бибера, Варшава, дореволюционная роскошь, в самый раз для ваших непроходимых кущей, коллега), в кузнецовских чашках светился настоящий морковный чай с настоящим сахаринром, а Мария Никитична подкладывала гостю на тарелку третью картофелину (с топленым маслом!) и ласково уговаривала — ешьте, Лесик, а то на вас смотреть страшно — какая-то голова на ножках, да и только.

— Зато какая, Маруся, голова! — хвастался довольный Чалдонов, воздев нож и вилку к небу. — Этот юноша — гений, можешь мне поверить. А я такими словами не разбрасываюсь, ты же знаешь!

— Может, и гений, но вот только очень уж недокормленный, — смеялась Маруся.

Линдт смущенно и сыто жмурился, изо всех сил пытаясь не задремать. Гений — это он уже слышал, и не раз. Но никто еще не называл его Лесиком — ни до, ни после. Никогда.

От четвертой картофелины он мужественно отказался: я получу продовольственные карточки, Мария Никитична, и сразу верну. Чалдоновы разом замахали на него протестующими руками. Это был счастливый билет, конечно. Незаслуженный, неожиданный. Шел по улице, подобрал золотой ключик, выпустил на волю замурованную судьбу. Линдт и сам знал, что так не бывает. А ведь — поди ж ты. Глаза слипаются, все дрожит и расплывается в мокром сиянии простого человеческого счастья. Мария Никитична поднялась, чтобы собрать со стола посуду, и тотчас вскочил помогать ей Чалдонов, уставший дальше некуда, конечно, но — Маруся, Господь с тобой, сядь, я сам, все сам. И по тому, с каким жадным обожанием он смотрел на жену, по тому, как мимоходом она пригладила ему надо лбом некрасивую белесую кудрю, ясно было, что даже тридцать лет супружества могут быть зачем-то нужны Богу, особенно если веришь, что Он действительно существует. Линдт проглотил ниоткуда взявшийся

горький комок. У меня тоже так будет, поклялся он мысленно. Именно так — и никак иначе. Вот такая точно любовь, такая точно Маруся, такая точно семья.

Мария Никитична Чалдонова была самой большой жизненной удачей Чалдонова, и то, что оба прекрасно знали об этом, придавало всему укладу семейной жизни тот необходимый привкус чудесной авантюры, без которой брак быстро превращается в скучнейшее и едва удобоваримое блюдо — вроде трижды разогретой жареной картошки. Маруся была и умнее, и сильнее, и нравственно выше Чалдонова, но главное — она была совсем иной, лучшей человеческой породы. И вся семья ее была чудесная — старинная, священническая, уходящая корнями в такие раннехристианские, первоапостольские времена, что сразу становилось ясно, почему в их доме так хорошо и взрослым, и детям, и кошкам, и канарейке в клетке, и всему приبلудному, нищему, юродивому, переходящему люду, без которого и вообразить себе невозможно ни русскую жизнь, ни служение русскому Богу.

Впрочем, с Богом у Марусиной семьи были свои, особенные отношения. И фамилия их, дивная, лакомая, семинарская, была совершенно Божьей — Питоврановы. Чалдонов и сейчас, в сорок девять лет, помнил, с каким серьезным видом юная Маруся объясняла ему, двадцатилетнему олуху, что Питоврановы — это в честь пророка Илии, которого питали враны. Понимаете? Чалдонов кивал белесыми кудлами, но понимал только ямочку на щеке у Маруси и серые горошинки на ее узком, ловком ситцевом платье, про которое невыносимо стыдно было даже думать, но не думать тоже не получалось никак.

— И Господь сказал, — важно продолжила Маруся, — иди и скройся у потока Хорафа, близ Иордана, ты будешь пить от вод потока, и Я повелю вранам питать тебя. Враны — это вороны. Неужели не помните?

— Очень даже помню, — согласился Чалдонов, остро, гораздо острее обычного чувствуя себя деревенским стоеросовым дураком. И то, что он через год вообще-то должен был закончить физико-математический факультет Московского университета по специальности «прикладная математика», почему-то только усиливало мучительную резь потной рубахи под мышками и всю общую, телесную неловкость, которую Чалдонов испытывал от одного присутствия этой девушки, едва достававшей макушкой до петлички на лацкане его пиджака.

— А помните, так продолжите! — потребовала Маруся, но Чалдонов в ответ только немо и умоляюще растопырил руки, понимая, что самый главный экзамен его жизни провален — постыдно, жалко, без права на

пересдачу, навсегда.

— А папа сказал, что вы — выдающегося ума человек, — разочарованно протянула Маруся и без малейшего церковного подвыва, просто, как стихи, закончила цитату: — Илия исполнил повеленное и жил при потоке, и враны вечером и поутру приносили ему пищу, ибо Господь может и чудесным образом охранять тех, которые верно служат Ему и надеются на Него.

Чалдонов еще раз кивнул и покорно отправился вслед за Марусей в соседнюю комнату, где большое семейство Питоврановых уже рассаживалось за обеденным столом, громыхая стульями и весело переругиваясь — опять Алешка лезет поближе к пирогам, пап, да скажи ему, наконец, мамоне ненасытной! Питовранов-старший, профессор богословия Московской духовной академии, в ответ только насмешливо пушил холеную, вполне светскую, надушенную бороду. Чад- и женолюбец, жуир, острослов и умница, он — вопреки всем представлениям о косности духовного образования — знал девять языков (пять из которых были, впрочем, безнадежно мертвы), защитил блестящую диссертацию по языческим культам (по поводу чего яростно спорил со своим вечным врагом-коллегой Введенским) и — несмотря на это — ухитрился остаться искренне и простодушно верующим человеком. Да и как было не верить, если ежедневно, ежечасно — в звоне столовых приборов, плаче младенцев, скрипе половиц, в каждой ноте многоголосого питоврановского дома — жил и дышал сам Бог, простецкий, уютный, единственно возможный, безнадежно антропоморфный Господь с крепкими крестьянскими пятками и кудрявой бородой, похожей на кудрявое облако, вполне заменявшее Ему и диван, и кресло, и основание мира.

Семейство было огромное, шумное и дружное, но даже случайному гостю было ясно, что дружба эта основана не на пустом и случайном кровном родстве, а на совершенно осознанной, умной человеческой приязни, так что каждому вновь народившемуся у Питоврановых ребенку, каждой приблудившейся кошке или приглашенному на обед гостю приходилось постараться, чтобы завоевать любовь и приязнь всех остальных — но зато, раз влившись в эту мирную и многоголосую симфонию огромного человеческого счастья, каждый получал столько дивного, телесного уюта и тепла, что с избытком хватало и на земную, и на загробную жизнь.

Чалдонова в дом привел Питовранов-старший. Жадный и переборчивый ловец и коллекционер человеческих душ, он живо раскусил

в долговязом студенте вполне, признаемся, несуразного и плебейского вида — нет, не будущего академика, не светило фундаментальной науки, а человека той высокой и редкостной нравственной пробы, которую так долго и яростно выискивал в людях граф Лев Толстой, сам, по воле Господа, начисто лишенный того тонкого безымянного органа, своеобразного вестибулярного аппарата души, который безошибочно позволяет даже маленькому ребенку или собаке отличить хорошее от плохого, добро — от зла, а грех — от праведного помысла или деяния. Впервые старший Питовранов воочию видел такое убедительное и оригинальное доказательство Тертуллиановской аксиомы о том, что всякая душа по природе своей христианка, — и это при том, что Чалдонов на своей религиозной стезе вряд ли продвинулся дальше Символа Веры да Отче наш. Однако умница Питовранов в отличие от многих богословов был вполне способен отличить церковь от Бога и потому после двух долгих бесед со смышленным студентом пригласил его на обед — Пятницкая, 46, собственный дом. Милости прошу, милейший Сергей Александрович, и никаких возражений не приемлю. Познакомьтесь с моими чадами и домочадцами, а заодно и домашнего поедите. У меня всегда вкусно — правило такое, соблюдается неукоснительно, а вы, поди, замучались по трактирам столоваться.

И Чалдонов, вообще-то мучительно стеснявшийся всего на свете, кроме своей математики, неожиданно не просто согласился — пришел, парадный, напoмаженный, корявый от волнения, с глазированными вишнями от модного Эйнема — и коробка из-под этих вишен, обитая шелком, щегольская, в тот же вечер опустела и переехала в комнату к девочкам Питоврановым, где стала приютом для пуговиц, шелковых тесемок, стекляруса и прочих вещиц, разрозненных, ненужных, но бесконечно милых каждому девичьему сердцу.

Детей у Питоврановых было шестеро, но Чалдонов, кажется, так никогда и не запомнил их всех по именам, потому что сразу, едва войдя в тесноватую прихожую, увидел Марусю, которая держала за пушистую шкуру огромную дымную ангорку.

— Не снимайте калоши, — сердито приказала Маруся Чалдонову, — Сара Бернар, паршивка, опять принялась гадить!

Маруся встряхнула провинившуюся кошку, которая прижмурила наглые голубые глаза, усиленно притворяясь раскаявшейся грешницей. Получалось, честно говоря, не слишком убедительно, и Маруся для острастки встряхнула обмякшей кошкой еще раз.

— Но, позвольте, — растеряно пробормотал Чалдонов, заливаясь

краской и не зная, куда пристроить конфеты. — Как же я в дом — и в калошах. Разве же можно?

— Это верно, — согласилась Маруся, — мама наверняка расстроится. Разувайтесь. Уж лучше я Сару на улицу выставлю. Пусть проветрится. А вы Чалдонов, да? Сергей Александрович?

Она подала Чалдонову руку с зажатой в кулаке кошкой. Чалдонов в ответ неловко протянул коробку конфет.

— Так точно-с, — пробормотал он, проклиная себя за неизвестно откуда выскочившее вертлявое словоерик. Так точно-с! Как лакей, как приказчик! Боже, стыд-то какой! Погиб, решительно погиб!

— А я — Маруся, то есть — Мария Никитична, конечно. — Маруся легко, радостно улыбнулась — над верхней губой у нее сидела маленькая каряя родинка.

Кошка, воспользовавшись всеобщим замешательством, тяжело, как комок теста, шлепнулась на пол и тотчас предусмотрительно смылась.

— Ну вот, опять упустила! — огорчилась Маруся. — Теперь она наверняка еще и гардины изорвет. Да вы не стесняйтесь, пойдемте — все заждались уж. Папа только о вас и говорит — мы все думаем, что он в вас решительно влюблен.

Это было любимое Марусино слово — решительно. Она еще раз подала Чалдонову маленькую горячую руку, теперь уже свободную, и он осторожно подержал ее в потном кулаке.

Было 28 ноября 1888 года, а 9 апреля 1889 года, на Пасху, Сергей Александрович, бледный до обморока, с трудом ворочая словами, уже сделал Марусе предложение. Оглушительно — на всю комнату — пахли влажные даже на вид, тугие, праздничные гиацинты.

— Вы согласны, Мария Никитична? — спросил Чалдонов, в случае отказа твердо решивший стреляться — или, в крайнем случае, бросить все, уйти в деревню, в скиты, в запой.

Маруся подошла вплотную, заглянула снизу в глаза, и ее запах, очень простой, домашний и немного яблочный, разом вытеснил гиацинты, заполнил собой весь мир.

— Ну, разумеется, согласна! — весело сказала она. — Тем более что я из-за вас проспорила папе целый рубль! Он сказал, что вы непременно посватаетесь на Светлую седмицу. А я говорила, что раньше Святой Троицы ни за что не поспеете. Есть у вас рубль? — Чалдонов качнулся, вцепился белыми пальцами в край стола — удар счастья оказался такой силы, что перед глазами все поехало, поплыло, неспешно набирая ход и погромыхая на стыках. — А что же это вы бледный такой? Голодный? —

Чалдонов помотал головой, как кляча. Говорить он все еще не мог. Все еще не мог поверить. — И что же вы — совсем-совсем не рады? — продолжала настаивать Маруся. — И даже поцеловать меня не хотите? Теперь-то, наверное, можно.

Она приподнялась на цыпочки, подставила гладкие губы — просто, как будто делала это уже тысячу раз. Чалдонов закрыл бесполезные глаза, и в комнату тотчас ворвался, взбороздив половики, Гриша, младший Марусин брат.

— Никак не нахристосуетесь? — поинтересовался он ехидно. — А там эта саранча, — он мотнул головой в сторону двери, за которой галдело, прорываясь в столовую, наголодавшееся Великим постом питоврановское семейство, — сейчас поросенка без вас сметет!

— А ну брысь отсюда! — засмеялась Маруся, взяла Чалдонова под руку, и они пошли к столу — ловко, в ногу, славно, как идти и идти бы всю жизнь, а впереди с ликующими воплями «А они целовались, я сам видел — целовались!» бежал обуреваемый ранними гормонами Гришка, и в столовой все уже рассаживались вокруг празднично и продуманно убранного стола, в сердцевине которого действительно лежал на блюде молочный поросенок, маленький и очень детский, испуганно прижмуривший напухшие, словно у новорожденного, веки — и Марусю на секунду кольнуло дурное предчувствие, но только на одну секунду. Потому что год был великий, благословенный для всей планеты — год открытия нерукотворного чуда Туринской плащаницы, о которой много и жарко спорили у Питоврановых, и, уж конечно, в такой год не могло случиться ничего дурного. Не могло и не случилось. Потому что в конце весны Чалдонов с отличием закончил Московский университет и по представлению своего учителя, великого Жуковского, был оставлен на кафедре — для подготовки к профессорскому званию.

А в начале лета они с Марусей поженились.

Сразу после венчания молодые уехали в свадебное путешествие по Волге — Марусина затея, оказавшаяся потом, как и все ее затеи, единственно возможным и счастливым вариантом — лучше и не придумаешь. Свадебная суматоха и переезд по железке до Нижнего Новгорода на несколько дней отложили то главное, чего Чалдонов так боялся и чего так наивно и неистово хотел. Всю тяжесть своего незаслуженного, невозможного счастья он ощутил только в поскрипывающей каюте парохода — в первый же вечер, когда они с Марусей наконец-то остались одни. Пахло нежной речной сыростью, по потолку плыли длинные, плавные, колыбельные тени, а потом в тот же

плавный, колыбельный ритм пришел, наконец, весь окружающий мир: и качающийся ламповый свет, и ласковый, слабый переплеск Волги, и ответные Марусины движения, от которых у Чалдонова то обрывалось, то опять властно напрягалось влюбленное сердце...

Это был самый медовый месяц из всех возможных — длинный и неспешный, как их пароход «Цесаревич Николай», перестроенный обществом «Кавказ и Меркурий» специально для навигации 1890 года. Ставший двухпалубным и оснащенный новехонькой американской машиной Compound, «Цесаревич» не утратил своей провинциальной неторопливости. В ходу были медленные завтраки на палубе под полотняным тентом — с сероватой икрой, которую положено было намазывать на ноздреватую плоть горячего калача специальной костяной ложечкой, и с бесконечным чаепитием из маленького пузатого самоварчика, про который Маруся в первое же утро сказала, что он похож на архиерея — такой же важный и пытит. Мокрыми от непрошенных слез глазами Чалдонов смотрел на быструю солнечную воду за кормой, на визгливых чаек, которым почтенная публика бросала щедрые куски еще теплых саяк, на заметно припухшие Марусины губы и на нежный, еле ощутимый кровоподтек на ее чуть позолоченной солнцем молодой шее. Ты что-то сказала, милая? Прости, я не расслышал. Я сказала, что ты похож на альпийского сенбернара. Такой же косматый и сентиментальный. Вот уж не знала, что выхожу замуж за плаксу.

Маруся поднималась из-за стола, ловко оправляла свое первое по-настоящему взрослое и дамское платье (с неудобным турнюрором, к которому она никак не могла привыкнуть) и, напоследок быстро показав Чалдонову язык, отправлялась гулять по палубе. А Чалдонов — сквозь радугу, по-прежнему расплывающуюся на ресницах, — смотрел, как она идет по добела отмытым доскам, быстрая, улыбчивая, вся состоящая из плавных линий и шелковых теней, и боялся только одного — что умрет от счастья, не дожив до очередного вечера.

На долгих стоянках крикливые и нарядные бабы продавали неряшливую сирень и первую землянику — и Маруся, разглядывая с палубы толкотню на деревянной пристани и многосложные наряды провинциальных дам, весело объясняла Чалдонову, почему передвижники — это не искусство, а просто жалкое подражание тому, чему подражать — грех. Понимаешь — именно грех! Вон-вон, посмотри вон на ту тетку с пирожками, просто прелесть, правда? Лоб — хоть поросят об него бей. А глазищи, глазищи-то какие! Чудо! Разве можно передать такое красками или пусть даже словами? Маруся на секунду задумывалась. Разве что

сыграть? Как фугу? По мне, так эта баба даже грандиознее фуги! И Маруся, музыкальная, как все Питоврановы, принималась негромко напевать что-то густое и титаническое, действительно похожее на торговку на пристани, которая легко на весу держала огромную корзину с огненными, укутанными в тряпки, новорожденными пирожками. Пирожки были толстые, сытные, с ливером, луком и гречневой кашей — ужасные! — смеялась Маруся, присаживаясь на корточки и делясь простонародным лакомством с вислогрудой дворняжкой, которая льстивым вьюном крутилась у ее ног. На-ка вот, мамаша, угостись. Много у тебя щеняток, а? Признавайся?

Дворняжка жадно хапала ароматное тесто, не забывая при этом всей задней частью сигнализировать самую пылкую приязнь к новоиспеченной госпоже Чалдоновой. Щенят у дворняжки было семеро, и всех их пару часов назад утопил в выгребной яме лавочник, человек не злой и даже не жадный, а просто, как и положено истинному самаритянину, разумный и рассудительный. Он мог легко прокормить суку и ее приплод, но восемь собак ему были просто не нужны, и дворняжке еще предстояло узнать об этом. А пока — пока все было хорошо: и солнце, и пережаренная с луком начинка, и ласковая рука в белой перчатке, которая почесывала то за ухом, то загривок, и всякое дыхание славilo Господа, и даже казалось, что Ему это не безразлично.

Маруся в последний раз потрепала полурастаявшую от счастья дворняжку по холке и повела мужа гулять по кукольному Плесу, маленькому, прелестному, похожему на жемчужину, убежавшую в траву из чьей-то булавки — жемчужину чуть запыленную, не идеально ровную, но все равно — настоящую. В торговых рядах орали, рвали гармонику, совали зевакам в лицо баранки, пахучую мануфактуру и знаменитую местную пряжу — и обоим, и Чалдонову, и Марусе, было ясно, что оба не ошиблись и это только начало чудесного, долгого путешествия — и, кажется, все будет действительно, как обещано, и их ждет жизнь мирная, долгоденствие, любовь друг к другу в союзе мира, и даровано им будет от росы небесной свыше, и от тука земного, и исполнятся дома их пшеницы, вина и елея, и всякой благостыни — так, чтобы они делились избытками с нуждающимися. А раз так, то и не страшно было потом, когда-нибудь, умереть в один день. И все обещанное сбылось — буквально по пунктам. Кроме одного.

Через год счастливейшего супружества Маруся еще как-то отшучивалась от расспросов родни, желавшей во что бы то ни стало покачать на коленях внуков, еще через год забеспокоилась сама. Несколько

лет — несомненно, худших в жизни Чалдоновых — ушло на отчаянную, никому не видимую борьбу. Особенно тяжело Маруся, необыкновенно чувственная и от того особенно целомудренная, переносила врачей. Пройдите за ширму, разденьтесь, пожалуйста, — уверенные мужские руки, пыточные инструменты, скомканный в кулаке потный, звука не проронивший платочек, унижение, ужас, унижительная надежда, раз за разом, раз за разом, один к одному. Были пройдены решительно все круги ада — поездки на воды и на грязи, университетские дипломированные светила, дорогие частные доктора, неизвестные лекари, которые «с Анной Никеевной, вон, просто чудо сотворили», причем сама Анна Никеевна, знакомая знакомых чьих-то знакомых, была уже совершенно безлика и анонимна, как денежная ассигнация, — только, в отличие от ассигнации, с ее помощью нельзя было купить даже золотника счастья. В ход пошли даже стремительно входящие в моду гомеопаты, и от похода по бабкам, знахарям и колдунам Марусю спасла только врожденная душевная брезгливость. Причем дело было даже не в грехе, а в том, что ушлые метафизические прихвостни (многие из них, кстати, брали за визит столько, что постыдился бы и самый алчный эскулап) обещали своими торопливыми наговорами, накрест подшитыми полотенцами и сломанными свечками изменить волю самого Бога, а Маруся, как никто другой, всей своей сутью чувствовала, что это именно Его воля — не давать им с Сережей детей. Противиться этой воле было бессмысленно, можно было только попросить, как просишь родителей подарить к именинам куклу с фабрики Саймона и Хальбига, но взамен литой восковой красавицы в модном шелковом наряде всегда рискуешь получить очередную копеечную книжку про медведя, а то и отеческую оплеуху. Но Маруся не боялась оплеух, она всего лишь хотела знать — почему и за что ей отказывают. Почему и за что — именно ей?

Походы по врачам, на которых настаивал Чалдонов, были для нее чем-то вроде вериг для юродивого — еще одно испытание, неистово истязующее плоть, но взамен так же неистово прокаляющее дух. Главное было другое — икона Божией Матери «Взыскание погибших», икона родителей Богородицы — праведных Иоакима и Анны, икона праведной Елизаветы — матери Иоанна Предтечи, мощи святого мученика младенца Иоанна в Киево-Печерской лавре, чудотворная икона Толгская в Толгском монастыре, рядом с ней на поручнях — икона Божией Матери Знамение, под которой нужно трижды проползти и слезно молить Пресвятую Богородицу. Маруся проползла и плакала так, что из храма ее вывели под руки.

Еще был Зачатьевский монастырь, и чудотворная икона Милостивая, и

мощи преподобной Софии Суздальской. Духовник Маруси отец Владимир, сухой, лукавобородый седой старичок, который крестил и окормлял, кажется, все потомство Питоврановых, посоветовал написать в Афонский монастырь Хиландр, и через три месяца никем не замеченного ожидания Маруся получила от афонских монахов бандерольку с кусочком лозы святого мироточивого Симеона, плодоносящей уже тысячу лет. Кроме черствой веточки в посылке была иконка святого Симеона и три изюминки. Их полагалось съесть бесплодным супругам — две жене, одну — мужу, предварительно проведя сорок дней в строгом посте — без вина, варения и елея. На практике это означало хлеб, воду да сырые овощи. Отец Владимир сказал, что Симеонова лоза — средство вернее верного. Чалдонов поста не выдержал, через неделю сорвался, пошел, как наголодавшийся пес, за ароматом щей и опомнился только в трактире, среди пахучих ямщиков и самого затрапезного люда. Миска перед ним была пуста до блеска, половой, ловко заложив руку за спину, уже тащил поднос с вареной говядиной, слезоточивым хреном и солеными огурцами. Чалдонов, сгорая со стыда, махнул на себя рукой и, чтобы усугубить ужас падения, потребовал к говядине водки.

А Маруся не сдалась, не отступилась, только от слабости почти перестала бывать на людях, и соскучившийся по дочери Питовранов-старший заглянул к молодым сам — Чалдоновы тогда снимали полдома на Поварской, Сергей Александрович был на хорошем счету и, если учесть еще и частные уроки, зарабатывал совсем-совсем недурно. Питовранов молча посмотрел на Марусино обглоданное мукой и голодом лицо и за рукав вывел Чалдонова за дверь.

— Я вам дочь свою доверил, Сергей Александрович, не для того, чтоб она свихнулась, — сказал он тихо, но так страшно, что Чалдонов, как нашкодивший пацан, спрятал враз вспотевшие руки за спину. Тестя он любил и после свадьбы подружился с ним еще крепче, чем раньше, — без условностей, без обязательств. Впрочем, по-другому дружить не умели оба.

— Я отговаривал, Никита Спиридонович. Но отец Владимир благословил на пост — сказал, только воздержанием и молитвенным подвигом.

Питовранов-старший пожевал в кулаке роскошную бороду, потом дернул — будто хотел оторвать.

— Отцу Владимиру, старому дураку, я еще морду набью, — пообещал он. — Но ты, Сережа, ты же математик, ученый человек, как ты мог распустить дома такие дикие, первобытные суеверия!

Чалдонов растерянно молчал — слышать такое от профессора

богословия было невероятно, даже жутко — но еще жутче была Маруся, ничуть не изменившая прежнего веселого, ровного, внешнего тона — и вся скорченная, ни за что изуродованная внутри.

Тем же вечером к ним пришел встревоженный отец Владимир — вразумлять слишком далеко заблудшее духовное чадо, и Чалдонов, лакомя старенького священника чаем с вареньем, безотчетно искал на его сморщенном от пожизненной умиленности лице следы побоев. Кулаки у старшего Питовранова, несмотря на архиерейские учености, были такие, что любой купец позавидует. Но Маруся никого не послушалась, продолжала нести свой одинокий, никому не нужный пост — и Чалдонов, на коленях, со слезами умолявший жену не губить себя, не губить их обоих, понимал, что все напрасно, все зря, ничего эти слезы и мольбы не изменят. Маруся была упряма — и по наследству, и по-своему, — и не было в этом упрямстве ничего косного, дикого и больного. Она просто хотела знать. Просто хотела знать — за что и почему.

Через сорок дней присланные с Афона изюминки были съедены — с молитвой, с трепетом, с невероятной, глазом видимой надеждой. Все напрасно. Дверь не отомкнулась. Не вышел даже швейцар, чтоб передать, что никакого ответа не будет. Маруся подождала еще немного и тихо вернулась к себе.

Все, к боязливой радости Чалдонова, стало как будто прежним, прекратились пастыри и доктора, бесконечное — до ломоты в коленных чашечках — бдение перед иконами. Чалдоновы сидели за воскресным столом, было снова лето и утро, белые занавеси в столовой вздувались и опадали, вздувалось и опадало за ними зеленое и золотое, и батистовое платье на Марусе было прохладным сверху и огненно-гладким внутри.

— Агаша войдет — и будет стыдно, — упрекнула Маруся Чалдонова, ласково шлепнув его по лбу чайной ложечкой — тоже горячей и гладкой.

— Не войдет, — пробормотал Чалдонов, воюя с крошечными скользкими пуговичками и шелковистой тесьмой, — я ее за самоваром отправил, теперь часа два не дождешься.

Маруся все еще мягко отводила его руки, но он слышал, чувствовал, как сбилось ее дыхание, и знал, что через минуту все будет по-другому — вкус, жар, аромат, отзывчива она была удивительно, невероятно, о такой возлюбленной можно было только мечтать, если бы Чалдонов смел, конечно, мечтать о чем-нибудь подобном...

— Подожди, Сережа, — сказала Маруся, верхняя губа у нее всегда мгновенно вспухала от поцелуев, и это была ее особенная, Марусина, прелесть, от которой еще больше дрожали у Чалдонова руки и кружилась

голова. — Мне нужно съездить в Кострому, к Феодоровской Божьей Матери.

Чалдонов потрясенно отстранился, не понимая, как она, такая чуткая, могла вдруг все испортить, и это утро, и солнечные законные пятна, и прозрачные медовые потеки на столовом ноже, и вкус собственных губ.

— Это будет в последний раз, Сережа. — Маруся легко погладила мужа по щеке. — Честное слово, в последний раз. Я обещаю.

В Кострому они поехали вместе — и, хотя оба из всех сил старались держаться как обычно, это оказалась невеселая тень их чудесного свадебного путешествия. Чудотворная икона Феодоровской Божией Матери, писанная самим евангелистом Лукой, обитала в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, вызываяще богатом, белокаменном, похожем на зачерствевший кремовый торт. В Троицкий собор Чалдонов не пошел, остался снаружи — из деликатного крестьянского страха помешать, напортить что-нибудь своим корявым присутствием. Маруся, все еще сильно осунувшаяся, низко повязанная простым, сероватым в капочку платочком, оглянулась на мужа с порога, будто боялась или не решалась сделать последний — действительно последний шаг. Губы ее безостановочно, беззвучно шевелились, и Чалдонов знал, что Маруся молится — матери Богородицы Анне: «Даждь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их бесплодия и, яко разрешение бесплодия, безчадных жен благочадны сотвори убажующих тя и славословящих Богочеловека — Внука твоего и Создателя и Господа». Поразителен мир, где даже у Бога есть бабушка, и бабушке этой можно пожаловаться не только на разбитые коленки, но и на разбитое сердце.

Чалдонов вздохнул и присел на укромную, спрятавшуюся в самой сердцевине мохнатых кустов скамеечку; монастырь был ухоженный, зеленый, знатный — хранитель романовских устоев. И хотя и к регулярным приездам царской фамилии все давно привыкли, все же внешний форс неизменно блюли. Садам монастырским и монастырской солдатской чистоте можно было только позавидовать. Чалдонов присел, охлопал по привычке карманы — курить хотелось до горькой слюны, но достать папиросы не решился. Пахло солнечной, сочной, недавно политой листвой, жирным сытым черноземом, и оглушительно верещала в перепутанных ветках птица — распекала Чалдонова за то, что побеспокоил ее гнездо.

По монастырю сновали паломники, которых ловко, как овец, сгоняли в надобные места черные, поджарые монахи, степенно шли к молитве нарядные миряне, но в большинстве своем люди толклись некрасивые,

переломанные, перебитые жизнью, униженные, притащившиеся сюда за последним приютом, за надеждой, которой больше не осталось даже внутри. Чалдонов поморщился — подранков, которых вечно собирала вокруг себя Русская православная церковь, он втайне презирал, и больно было думать, что среди этих отчаявшихся, сырых и убогих, приползших ко входу в обещанное царствие небесное, оказалась и его Маруся — живая, чудесная, вся насквозь настоящая. Он уважал всякую веру, и Марусину — особенно, но, помилуйте, при чем тут сам институт церкви — эта громоздкая, вроде государства, уродина, способная перемолоть в труху даже самый лучший человеческий материал.

Словно в ответ чалдоновским мыслям на площади перед Троицким собором появился монах, не нестеровский сусальный инок, а настоящий Христов воин, Господень пес — только в православном облиции. Высокий, широкоплечий, невероятно, почти пугающе красивый — нездешней, нечеловеческой и, уж конечно, совсем не Божеской красотой, он шел, широко раздувая черные рясные крылья, и с таким яростным презрением смотрел поверх человеческих голов, будто боялся замараться. Толпа, приседая и крестясь, расступалась перед монахом, оторопевшая от существа нездешней, невиданной породы. «Ить, какой ладный», — ахнула восторженно какая-то бабенка, сама ладная, как облупленная луковка, и лицо монаха вдруг мгновенно перекосилось от ненависти, словно вспыхнуло изнутри ярким, черным огнем, — и тут же снова стянулось в брезгливую гримасу.

Чалдонову стало не по себе, будто он оступился на высоте и лишь в последний момент ухватился рукой за неверный поручень. Богу не было ни малейшего дела до людей — это было ясно. Он наполнял протянутые сосуды без разбору, без толку, не замечая слез, не слушая молитв. Зачем этому доморощенному костромскому Люциферу было отпущено столько телесной красоты и мощи? Почему Маруся снова стояла на коленях перед очередной иконой — в темноте, в страхе, в отчаянии — и не видела ничего, кроме масляных охряных бликов на огромной старой доске? За что Господь не сподобил их увидеть чада чад своих, разве это было справедливо?

Птица, отчаявшись напугать Чалдонова своей трескотней, решила сменить тактику и, выбравшись из веток, заковыляла по траве, волоча крыло и припадая по наивности то на одну, то на другую лапку, — притворялась раненой, беззащитной. Спасала детей.

— Не бойся, дуреха, — пробормотал Чалдонов, утирая мокрые глаза — права Маруся, я настоящий плакса и нюня, — да не трону я твой приплод. — Птица остановилась, посмотрела на Чалдонова круглым

непроницаемым глазом — он любил скворцов, они были умные, веселые и не бездельники, в деревне у них было полно скворцов. — Ухожу. Ты слышишь? Уже ухожу. Сколько же можно, а? Так долго! Сколько нам так еще брести? Долго ли муки сея будет? До самая смерти, матушка! До самая смерти...

Он так ждал, когда же Маруся, наконец, выйдет, что, разумеется, прозевал, как отворилась огромная дверь храма. Просто в один момент воздух вокруг стал другим, и оказалось, что Маруся уже идет по двору, низко опустив голову, идет медленно-медленно, как будто в храме вместо утешительной ладони ей на плечи опустили еще один крест. На этот раз уже совершенно непосильный. Все, понял Чалдонов, — все, ничего не помогло. Даже последнее. Поломали. Изуродовали. Добили. Мою Марусю. Захотелось кричать, даже визжать: как будто на его глазах терзали ребенка или кошку, и совершенно никак нельзя было помешать бессмысленной и долгой муке ни в чем не повинного, ничего не понимающего существа. Маруся все шла и шла — будто во сне, раздвигая тяжелую воду, и с каждым ее шагом Чалдонов ненавидел Бога все сильнее. Эта ненависть разбухала внутри — в пустой, темной, реберной клетке, — становилась все больше и больше, так что сначала стало невозможно дышать, потом верить и, наконец, жить.

Маруся подошла, легко положила мужу на рукав теплую ладонь.

— Что ты, милая? Как ты? — Чалдонов суетливо поцеловал Марусин висок, одернул пиджак, зачем-то поправил волосы — как будто пытался всей этой мелкой неловкой возней отвлечь Бога от собственного гнезда. Ненависти больше не было, был только страх, что неминуемый огненный столп теперь может обрушиться и на Марусину голову. Снова он все испортил, всем навредил. Недотепа. Дурень. Стоеросовая башка. Он хотел посмотреть жене в глаза и отчаянно трусил. Она была очень сильная, Маруся, но даже ее можно было раздавить. Раздавить можно вообще любого — особенно если ты Бог.

— Поедем, Сережа, — тихо сказала Маруся. — Поедем, наконец, домой.

— А как же... — Чалдонов замялся, не зная, как продолжить. Как же вера? Как дети? Что будет дальше? Какая станция следующая — сумасшедший дом? церковный развод? петля, торопливо прикрученная к остревому хребту люстры?

— Поедем домой, Сережа, — повторила Маруся мягко. — Я обо всем договорилась.

Чалдонов наконец осмелился взглянуть ей в лицо. Глаза у Маруси

оказались точно в тон платку — светлые, в крапинку — и очень спокойные. В них не было ни боли, ни гнева, ни надежды. Вообще ничего. Полная тишина.

Она действительно договорилась.

Ни она, ни Бог так и не сказали Чалдонову, в чем был смысл этого договора, но оба слово свое держали крепко. Чалдонов был счастлив в браке так, как только может быть счастлив рядом со смертной женщиной смертный мужчина. О детях вопроса больше не было никогда — как не было и самих детей. Марусю, впрочем, это больше, кажется, не волновало совершенно.

Она охотно и как будто даже радостно занялась делами мужа — его стремительно растущей карьерой, его научными работами и университетскими дрызгами. Чалдонов уверенно и мерно шел в гору, причем сплав крестьянского упорства и большой математической одаренности позволил ему сочетать виды деятельности, обычно сочетаемые крайне неохотно. Тем не менее Чалдонов одновременно показал себя ярким ученым и толковым администратором. Его оценили, продвинули, пригласили — словом, все шло правильным, благополучным чередом, и вечерами Маруся, стоя на коленках на поскрипывающем от усилий стуле, набело переписывала будущую диссертацию мужа, усердно высунув язык и ровным счетом ничего не понимая. «...То и решение соответствующей задачи на течение газа может быть написано при помощи такого же ряда, во все члены которого войдут некоторые поправочные коэффициенты, выражаемые через Гауссовы гипергеометрические ряды...» — выводила она четким почерком с сильным и непривычным уклоном влево, что, по свидетельству графологов, говорит о полном контроле разума над чувствами. Чалдонов подходил сзади и тихонько дул Марусе на шею — прямо в пушистые щекотные кудряшки.

— Не пыхти на меня, — сердилась Маруся, — ты не видишь, я работаю. Сам же говорил, что надо скоро!

Чалдонов смиренно отходил в сторону, и Маруся, не оборачиваясь, строго распоряжалась — буфет чтоб не разорял, ужин скоро! Нет, что ты, клялся Чалдонов, стараясь не скрипнуть предательской дверцей.

— Гауссовы гипергеометрические ряды... — нараспев повторяла Маруся. — Очень красиво! Правда, непонятно. Это хоть что-то значит?

Чалдонов готовно мычал, пытаясь проглотить только что украденный кусок мяса:

— Ну как не стыдно, — возмущалась Маруся. — Через час за стол

садиться, а ты... Телятину! Да еще и холодную! И всю подъел! Мне ни кусочка не оставил!

Круглобокая кухарка, пришедшая накрывать на стол, заставляла супружескую чету мирно поедающей варенье прямо из банки, причем Чалдонов увлеченно излагал Марусе основы газовой динамики, не замечая, что молодая жена орудует ложкой, бессовестно не соблюдая очереди. Работа «О газовых струях», представленная им в качестве докторской диссертации на физико-математический факультет Московского университета, была с блеском защищена в феврале 1894 года, и в том же году Чалдоновы отметили пятилетие со дня свадьбы.

Вопреки логике счастливых браков Маруся не превратилась в восторженную тень собственного супруга. Может быть, и потому, что Чалдонов прекрасно понимал, что дом, который вела его жена — порой упрямый и капризный, словно живое существо, — это тоже работа, тоже творчество, нужное миру ничуть не меньше, чем его научные изыскания или, скажем, мурчание кошки, вылизывающей сонных сытых котят. Мало того, Чалдонов был искренне уверен в том, что смысла в Марусиной ежедневной жизни куда больше, чем в его собственной. В разложенной на большом столе выкройке нового платья, в устройстве личного счастья горничной (прислуга Чалдоновых была почему-то особенно подвержена романтическим страстям, и Маруся то и дело выдавала очередную зареванную девушку замуж), даже в том, как Маруся, почесывая карандашом нежную шею, продумывала завтрашний обед, выгадывая из одного куска говядины и жаркое, и щи, и начинку для слоеных пирожков, — во всем этом была какая-то удивительная, трогательная, сразу понятная логика маленьких событий, из которых только и может сложиться большое счастье. По ночам Чалдоновы спали вместе, обнявшись, и, не просыпаясь, оба поворачивались на другой бок, стоило одному отлежать во сне ставшую огненно-игольчатой и непослушной руку.

Питоврановы — ставшие за это время еще шумнее и дружнее — часто бывали у Чалдоновых в гостях. Племянники и племянницы, которые каждый год нарождались в пугающей, почти геометрической прогрессии, обожали тетю Марусю, которая обладала врожденным женским даром качать, пеленать, напивать жидкой кашкой, отчитывать за расколотую тарелку (и ловко прятать осколки от прочих взрослых), пугать страшными историями и объяснять географию. И все это так, что даже самый капризный ребенок ни секунды не чувствовал, что его принуждают к чему-то, что он не желал бы или не мог сделать сам. Чалдонов даже ревновал жену к этой малолетней ораве, которая вечно повисала на Марусиных

юбках, — притом что с детьми она никогда не сюсюкала и при случае могла оставить отменный пылающий отпечаток на провинившейся попе.

Родители как-то раз заговорили с ней о том, что можно бы взять сироту из дома призрения, но Маруся только удивленно подняла брови.

— Зачем? — сказала она просто. — У меня будет ребенок. Я знаю. Обязательно будет. Я в это верю, понимаете?

Мать не выдержала — расплакалась, она сама четырнадцать раз рожала, вырастила шестерых, остальных восьмерых прибрал Вседержитель, чтобы было кому резвиться у подножия Его сияющего престола.

— Что же ты говоришь, Маруся, если Господь не попустил, можно ли перечить?

— А я и не перечу, мама, — упрямо повторила Маруся. — Я просто знаю.

Шел 1899 год, начало нового века, новой эры, Россия каждый вечер утопала в полураздавленных кровавых закатах, про которые писали все, кто мог писать, и которые тревожили даже тех, кому не о чем было волноваться. Марусе исполнилось тридцать — и это уже чувствовалось, чуть мягче стала грудь, чуть резче — скулы, по утрам уже не так радостно откликалась она мужу, хоть и знала, что он больше всего любит эти моменты, когда она была полусонная, теплая, словно слегка заторможенная долгим, блаженным, ни чуточки не страшным небытием. Жизнь проходила сквозь Марусю и мимо нее, но она все равно знала, что Бог выполнит данное обещание, как взамен она сдержала слово, данное Ему. И Бог оказался справедливым.

Ребенок у Маруси появился в сорок девять лет.

И ничего, что им оказался тщедушный жиденок с горячими и веселыми — вопреки национальным велениям — глазами. Ничего, что ему было восемнадцать и что кроме вшей он принес в дом еще и отчаянно злую чесотку. Это был ее ребенок, Марусин. Ее единственный мальчик. Ее золото. Ее Лесик.

Она сразу поняла это, как только открыла дверь.

Глава третья

Лазарь

У Лазаря Линдта был удобный — девятисотый — год рождения, заранее облегчавший случайному кладбищенскому зеваке все сложности праздного пересчета. Прочие покойники словно давали себе и свидетелям некий шанс: как будто сложные цифры на надгробии сулили особенно долгую и непредсказуемо интересную жизнь или даже бессмертие — которое, впрочем, длилось ровно столько, сколько требовалось прохожему на то, чтобы мысленно отнять одну четырехзначную цифру от другой. А тут — никакого напряжения мысли, никакого шевеления губами: вся судьба гладко и ловко укладывается в элементарное арифметическое действие — минус сто. Пойдем, что ты застрял у этой оградки? Да-да, дорогая, конечно, сейчас.

Самому Линдту на такие глупости, как собственная смерть, было наплевать — он был однозначный атеист, убежденный ревнитель базаровского лопуха. И, как ни странно, именно ощущение безусловной смертности, конечности земного существования дарило ему то же самое ровное и радостное бесстрашие, которым горели первохристианские мученики, пожираемые на аренах самую чуточку мультипликационными львами. Впрочем, к старости атеизм Линдта начал слегка горчить и выдыхаться, словно разошлись какие-то резиновые прокладки, притиравшие пробку — ту самую пробочку над крепкий йодом, и Линдт не то чтобы стал верить — скорее, просто устал сомневаться. Он прожил невероятно длинную и очень удачную с любой точки зрения жизнь: провалы, аресты, расстрелы, идейные противники и бытовые завистники — все это происходило с кем угодно, только не с ним. Его боготворили друзья, уважали и побаивались оппоненты, обожали женщины. Все женщины — кроме одной. Даже не ошибка — меньше. Просто погрешность в тысячной после запятой.

— Ты, Лазарь, как будто не в наше время живешь, ни черт тебя не берет, ни советская власть, — ворчал Чалдонов, гоня под пересохшим языком ледяную таблетку валидола.

— Так их нету потому что, Сергей Александрович. Вот и не берут.

— Кого нет, Лазарь? Что ты несешь?

— Да никого нет — ни чертей, ни советской власти, Сергей

Александрович. Люди всегда одинаковые. От сотворения Адама. Я просто умею с ними договариваться.

Линдт повозился, устраивая в кресле тощую язвительную задницу, и с наслаждением огляделся. Он обожал домашний кабинет Чалдонова — книжные шкафы, огромный стол, аппетитные залежи умного бумажного мусора, полумрак. Век бы отсюда не уходил, честное слово.

Чалдонов покачал головой. Договаривайся не договаривайся, а времена наступали самые людоедские. Шел 1937 год, на физфаке МГУ азартно громили троцкистов — и хоть до большой беды ученые умы не дошли, перьев и пуха по ветру напустили немало. Впрочем, разборки были исключительно внутренние — Родина, отдадим ей должное, физиков вообще особо не трепала — понимала, стало быть, что к чему, и кого бабы еще нарожают, а кого лучше не трогать, потому что выйдет однозначно — себе дороже. Жди потом полтора-два десятилетия нужного сочетания генов да воруй у соседей по мелочи устаревшие технологии. Но Чалдонов, человек клинически порядочный и честный, каждую словесную баталию на заседании ученого совета воспринимал как настоящее сражение, причем вполне в духе Достоевского: дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей.

Линдт на этих шабашах демонстративно садился поближе к оратору и быстро начинал строчить что-то в тетрадь. Не то протоколировал, не то работал — мало кто разбирал его чудовищный, крючковатый, совершенно паучий почерк. Впрочем, суть записей тоже не понимал почти никто, но пара десятков ученых по всей планете от одного только имени — Лазарь Линдт — благоговейно закатывала глаза. Это звучало банально, но от этого не становилось менее значительным. Линдт работал на стыке физики, химии и, кажется, математики — на той невероятной высоте, где исчезают последние человеческие сомнения и сквозь истончившуюся ткань большой науки начинает просвечивать реальная плоть Единого Бога. Линдт был самым обыкновенным гением — и это понимали даже те, кто вообще ничего не понимал. Особенно в науке.

Но, несмотря на очевидную всем гениальность, в свои тридцать семь Линдт все еще ходил в вундеркиндах — звание глупое и тесное, как короткие штанишки на великовозрастном балбесе, но как еще могли называть его в мире, где средним возрастом признания считался семидесятилетний юбилей? Самый молодой профессор, самый молодой автор самой обсуждаемой монографии, самый плодовитый исследователь, собравший вокруг себя самую тесную стайку самых дерзких юнцов. Безусловно, он многих раздражал. Очень многих. По логике, Линдту давно

следовало возглавлять целый отдел, а по уму — так и свой институт, потому что все идеи, которые он генерировал — часто на ходу, между делом, — он сам был не в состоянии ни воплотить, ни даже толком запомнить. Как любой человеческий выскочка, случайно, ни за что осененный свыше, Лазарь предпочитал заниматься только тем, что было интересно лично ему, — причем это «интересно» включало в себя не только науку, но и, например, прекрасный пол, до которого Линдт — обаятельный, как все уродцы, — был большой лакомка и охотник. Еще он любил хорошие книги, причем хорошесть таковых определялась не только автором и содержанием, но и годом издания. Полиграфическую продукцию, изданную после 1917 года, Линдт не признавал принципиально, и московские букинисты обожали его и за этот чудесный снобизм, и за чувство юмора, и за щедрость, и за поразительное чутье, но самое главное — за нежность, с которой он брал в руки очередной потрепанный том. Будто дотрагивался до коленей полураскрытой, дрожащей от нетерпения красавицы. Он был великолепный любовник, то есть, конечно, читатель — щедрый, умелый, благодарный, смелый. Ни одна не уходила от него обиженной — потому что с женщинами и книгами было приятно и выгодно дружить. Язвил и издевался Линдт только над мужчинами. С ними приятно и выгодно было не иметь дела вообще. К сожалению, так почти никогда не получалось.

Разумеется, Родина очень быстро приспособила Линдта к войне, как приспособливали к ней все, что считала хоть сколько-нибудь полезным. Линдт не возражал — какая разница, к чему в итоге применяли его выводы — к усилению обороны страны или к увеличению молочных надоев. Это была не неразборчивость, не душевная тугоухость, а твердый и осознанный расчет. Во-первых, Линдт был начисто лишен нелогических человеческих сантиментов, во-вторых, процесс решения очередной научной задачи интересовал его куда больше конечного результата, в-третьих, он был взрослый и очень умный человек — в отличие от многих своих последователей, которые сперва азартно изобретали водородную бомбу, а потом так же азартно в этом каялись. Физика же, по мнению Линдта, была самым неподходящим занятием для бздунов. Или ты физик и идешь до конца, или просто трусливый лживый недоучка. Фарисеев Линдт не выносил.

Трудно сказать, почему его не пустили в расход или хотя бы не посадили. Может быть, потому что он был невероятно, почти анекдотически непрактичен и нечестолюбив, а во всех сталинских делах — только копни — на свет вылезают банальные человеческие страстишки —

деньги, почести, слава, которых никогда не хватает на всех желающих. Может, дело было в чувстве юмора — все-таки сражаться с человеком, который все время смеется, не только бессмысленно, но и унизительно для нападающего. А может, секрет таился в пресловутой гениальности — Линдт был на вид совершенно как все, но по каким-то едва уловимым признакам, по незаметному, но сильному перекосу по всем привычным швам отличался не просто от своего биологического вида, но, возможно, и от белковых форм существования жизни вообще. Скорость, с которой он думал. Отчетливый, чуточку механический смех. Великолепное пренебрежение любыми нормами размеренной человеческой морали. Манера быстро, по-обезьяньи, почесывать выпуклые гениталии. Хаос, который он производил, — жуткий, первобытный, вещественный хаос. Линдт был явно иной, нездешней закваски — очень может быть, что даже на клеточном, биохимическом уровне. Это было совершенно ясно — и очень страшно. По-настоящему страшно. Тем, разумеется, кто был в силах понять.

Конечно, огромное значение имело покровительство Чалдонова, который с чугунным, локомотивным упорством тащил Линдта за собой, прикрывая одышливым раскаленным боком от малейшего неласкового дуновения извне. Линдт, несомненно, пробился бы и сам. Может, на десятилетие позже, может, иной ценой, но — пробился бы. Но Чалдоновы...

В восемнадцатом Линдт прожил у Чалдоновых почти три месяца — на два больше, чем требовалось, потому что карточки, пайки, ордера, комната — все было (усилиями Чалдонова, конечно) готово почти сразу, почти сразу же исчезли вши, почти сразу же начались споры. Они с Чалдоновым орали друг на друга, надув горловые жилы, ссорились, причем особенно азартно — из-за теории движения тел с неинтегрируемыми связями.

— Мальчишка, — вопил Сергей Александрович, — неуч, сопляк, да я за эти выводы золотую медаль Академии наук получил!

— Царской академии наук, — ехидно улыбался Линдт. — А это, согласитесь, в нынешней ситуации совершенно меняет дело. Вот если бы в академии действительно интересовались наукой, то непременно обратили бы ваше внимание вот на эту обаятельную нелогичность...

Линдт принимался писать прямо на обороте какого-то не то декрета, не то приказа — власть исправно снабжала Сергея Александровича бесчисленными энцикликами и циркулярами, и если бы не эта полиграфически-канцелярская щедрость, ему наверняка пришлось бы бросить курить.

— Чаю, мальчики? — спрашивала Маруся, с любопытством заглядывая Линдту через плечо. За другим плечом пыхтел нависший Чалдонов, неразборчиво, но явно матерно бормоча. Линдт тотчас вскакивал, не дописав.

— Разумеется, чаю, Мария Никитична. Давайте я вам помогу.

— Так не дописал же! Не дописал! Потому что нечего дописывать, и нет тут никакой нелогичности! — вопиял Чалдонов, втайне страшно довольный и отчаянными (ну, совершенно как когда-то с Жуковским!) спорами, и веселой дерзостью Линдта, и даже диковатым, горьким, отчетливо меховым запахом, который он принес в дом. Как будто они с женой приручили никому не дававшуюся в руки молодую ласку.

— Не шуми, Сережа, — укоряла Маруся. — Лесик, не слушайте его — эту золотую медаль дали не ему, а мне — причем за отличный почерк. Сколько раз я переписала эту твою теорию движения никому совершенно не нужных тел? Вот именно — шесть раз! Кстати, Лесик, вы не поверите — я сегодня сменяла на десяток яиц как раз шесть серебряных ложечек! Подумать только, в четырнадцатом году эти самые ложечки стоили десять рублей, а десяток яиц — двадцать пять копеек!

— Ты все равно их терпеть не могла, Маруся, — утешал Чалдонов.

— Ложечки? — смеялась Мария Никитична. — Или яйца? Пойдемте-ка лучше обмывать эту грандиозную сделку — кроме яиц удалось добыть немного муки, и я напекла совершенно дореволюционных пирожков — правда, без сахара и без масла, но на вид решительно вкусные. Между прочим, за пуд ржаной муки просят три фунта махорки — вы только вообразите себе! Целый пуд!

Линдт и Чалдонов выражали согласное возмущение — как могла Маруся даже подумать о том, чтобы тащить на себе с Хитровки целый пуд муки! Когда в доме есть сразу два сильных и выносливых мужчины! Самых сильных и самых выносливых, весело соглашалась Маруся, проворно накрывая на стол и локтем прикрывая блюдо с пирожками от посягательств мужа. Но при этом невероятно глупых. Сами подумайте, откуда мне взять три фунта махорки, если некоторые не вынимают самокрутку изо рта! Никогда не курите, Лесик. Отвратительная привычка! Вы же не начнете курить? Обещайте!

Линдт кивнул с серьезностью, которую никто не заметил и никто не оценил. Курить он бросил тем же вечером — вышел в ледяной московский двор и вывернул из кармана даже не махорку — просто труху, табачный сор, добытый бог весть какой ценой, бог знает где, и такой вонючий, что Линдт, самозабвенно смоливший лет с десяти, ни разу не осмелился

скрутить собачью ножку у Чалдоновых дома. Больше он в жизни не сделал ни одной затяжки, и если бы Маруся захотела вить из него веревки, то получившихся пеньковых изделий с лихвою хватило бы на всю Россию, а то и на весь обитаемый и необитаемый мир. Но она не хотела. Не хотела мучить своего мальчика. Такая чуткая, не видела и не замечала ничего. Линдт со стоном втянул в себя стиснутый, насквозь замороженный воздух и пошел назад, в дом. В тепло. Плевать на махорку. Можно отказаться от чего угодно — если тебе на самом деле есть куда идти.

Даже съехав в комнату, а потом и в свою собственную квартиру (благополучие Линдта росло прямо пропорционально благорасположению властей и обратно пропорционально его собственным потребностям), он не перестал бывать у Чалдоновых. Сначала едва ли не ежедневно, потом еженедельно — мучительный период ненужной деликатности, который Маруся, смекнув, в чем дело, решительно и быстро пресекла, — потом снова ежедневно, так что у Чалдоновых быстро появилась чашка Лесика, его любимое место за столом, диван, на котором он, припозднившись, оставался ночевать — привилегия, использовавшаяся действительно в исключительных случаях. Когда в двадцать третьем Маруся чуть не умерла от тифа. Не хочу даже вспоминать. Не буду. Слишком страшно. Или в двадцать девятом — когда Чалдоновы отмечали сорокалетие со дня свадьбы, и чуть не умер уже Сергей Александрович, на радостях преизядно перебравший «рыковки» — тридцатиградусной, мерзкой, но зато быстро пополнившей казну молодого советского государства.

Надо признать, что из всех деяний Совета Народных Комиссаров самым удачливым и значительным следует признать именно декрет о разрешении продажи водки, изданный в конце 1924 года. Доход от питейного дела вырос в разы — от 15,6 миллиона рублей в 1922–1923 годах, до волнительных 130 миллионов в годах двадцать четвертом и двадцать пятом. Неплохо, если учесть, что бутылка стоила рубль семьдесят пять. Неблагодарный народец, впрочем, норовил обозвать водку «полурыковкой» и завистливо утверждал, будто настоящую «рыковку» — в шестьдесят градусов — употребляет сам председатель Совнаркома товарищ Рыков. В одно, надо полагать, рыло. И как только не лопнет, сволочь этакая!

Впрочем, малопьющему и умиленному любовным юбилеем Сергею Александровичу хватило и «полурыковки», употребленной вне всякой меры и такта, так что Маруся, ругаясь и смеясь, упростила Линдта остаться — потому что я одна не управлюсь, Лесик, и потом его же все время тошнит. Нет-нет, не убирайте! Ни в коем случае не убирайте! Пусть утром

проснется и увидит, что натворил! Чалдонов, которого с большим совместным трудом удалось уgomонить и загнать в постель, мирно почивал, разложив по подушке нимб из благородных и слегка заблеванных седин. Совершенно свой у Чалдоновых, Линдт вдруг понял, что впервые оказался в хозяйской спальне — маленькой, простеганной ночными тенями, похожей на нескромную шкатулку, захлопнувшуюся изнутри. Было почти нестерпимо душно — от рвотных ароматов, багровых гардин, от красного пухлого одеяла, отчего-то не убранного по случаю летнего времени, от венозного румянца, блуждавшего по чалдоновским щекам. Даже июньский тополиный пух, невесомо и едва ощутимо шевелившийся в полутемных углах, и тот казался душным и жутким, словно в кошмарном сне. И только Маруся была прохладная, в прохладном платье, и гладкие перламутровые пуговички на ее спине тоже были прохладные и обнаженные, как позвонки.

Одиннадцать лет почти ежедневных встреч. Ни одного неосторожного слова. Тридцать один год разницы. В год, когда Линдт родился, она впервые заметила возле глаз грубоватые гусиные лапки, которые не исчезали, как ни передвигала Маруся лампу, пытаясь обмануть лукавое отражение. Она огорчилась неожиданно сильно для женщины, которая считала себя здравомыслящей и, выбирая ботинки, всегда предпочитала бессмысленной моде здоровую практичность. Застав жену в слезах и невнятных жалобах, Чалдонов помчался в аптеку и принес во влюбленном кляве пакет, содержимое которого должно было, по его простодушному убеждению, волшебным образом преобразить Марусю в сказочную принцессу, каковой она и так, несомненно, была, но — только не плачь, Марусенька, ну что ты плачешь, ты только посмотри, что я тебе купил!

Обнаружив на туалетном столике мыло от головной перхоти провизора А. М. Остроумова (кусочек 30 копеек, продается везде, двойной кусочек 50 копеек, рачительный Чалдонов, разумеется, купил подешевле, но с запасом, чтобы надолго, — двойной) и депилаторий д-ра Томсона в порошке (лучшее и совершенно безвредное средство для удаления волос с тех мест, где они нежелательны, цена коробки 1 р. 50 к.), Маруся действительно мгновенно перестала плакать и устроила Чалдонову великолепнейшую, освежающую, молодую взбучку, после которой сперва хотела подать на развод, а после долго, до изнеможения хохотала, слушая нелепые объяснения до смерти перепуганного мужа, что он же как лучше, и в аптеке божились, что средства патентованные, самые лучшие и к тому же абсолютно безвредны для кожи.

Абсолютно безвредный для кожи депилаторий и мыло от перхоти были в ближайший же праздник торжественно вручены дворнику, непотребному

щеголю и сердцееду, который, судя по довольному виду, патентованные и самые лучшие средства употребил с несомненной пользой для себя — хотя и без видимых для окружающих результатов. Маруся, азартно державшая пари, что дворник останется без великолепных усов, проиграла Чалдонову прогулку в Нескучном саду и четыре поцелуя, после чего совершенно, раз и навсегда, перестала волноваться по поводу таких простых и ясных вещей, как жизнь, увядание, смерть.

Всего этого Линдт, разумеется, не знал, да и не мог знать. Большая часть Марусиной жизни прошла не просто мимо — до и вне его собственной. На его памяти она только старела — легко, весело, самоотверженно, без мук. Ей был к лицу ее возраст, старый, навеки влюбленный муж, были к лицу эти душные сумерки, текущие рвотой, молоком и медом. Лампа, заботливо прикрытая шалью, сияла неярко, будто дотлевающая жар-птица, и свет от нее — мягкий, медный, с шелковыми кистями — играл с Марусиным живым лицом, приглушая седину, нежно сглаживая морщины. *Animula vagula blandula...* Моя нечаянная радость.

Давай, ничтожество, соберись. Сейчас или уже никогда.

— Я люблю вас, Мария Никитична, — тихо сказал Линдт, глядя в сторону, в бесшумно вздыхающий угол, в другой, настоящий мир.

— Я тоже очень вас люблю, Лесик, — легко и невнимательно отозвалась Маруся, поправляя подушку так, чтобы мужу было удобней лежать. — И Сергей Александрович тоже любит. Знаете, Господь не дал нам детей, но...

Линдт вдруг хрипло закашлялся, будто залаял, и быстро, почти бегом, вышел из комнаты.

— Лесик, вы поперхнулись? — рванулась вслед за ним испуганная Маруся. — Надо воды, скорее выпейте воды, — но тут Чалдонов громко, с прямо-таки барскими перекатами всхрапнул и завозился в постели, и Маруся, мгновение поколебавшись, выбрала мужа. Она выбрала мужа.

— Чшшш, милый, я тут. Ляг поудобнее. Вот так.

Когда буквально через минуту она торопливо вошла в кухню, все было в полном порядке. Линдт, вполне отдышавшийся, мыл под витой струей стакан. Уже не тот, из которого пил, а чей-то чужой, испачканный по ободку жирной яркой помадой. Посуды от гостей остались целые вавилоны.

— Вы в порядке, Лесик? — спросила Маруся встревоженно.

— В полном, Мария Никитична, — вежливо откликнулся Линдт. — Не в то горло попало. Извините. — Глаза у него были красные, мокрые, но уже совершенно спокойные. — Ступайте к Сергею Александровичу, я тут пока приберусь.

— Спасибо вам, милый! — сердечно поблагодарила Маруся, и Линдт ловко и незаметно убрал затылок из-под ее ласкающих пальцев. Зря он надеялся, зря мечтал хапнуть то, что ему не принадлежало и принадлежать не могло. Вполне достаточно того, что она просто есть. Просто существует — у других нет и того. Мудрецы, Лазарь, довольствуются малым — видно, пришла пора становиться мудрецом. Линдт взял очередную грязную тарелку, сыпанул из картонки соды, под пальцами скрипнуло, взвизгнуло, отозвалось.

Да, ему двадцать девять и он влюблен в женщину, которой шестьдесят. Нет, не влюблен — он любит женщину, которой шестьдесят, и любил ее, когда ей было сорок девять. И пятьдесят пять. И будет любить ее и в ее восемьдесят лет, и, это уже совершенно ясно, что и в свои. Пусть бросит в него камень тот, кто считает это чувство ненормальным, — Линдт взамен с наслаждением вырвет мерзавцу кадык. Потому что не было на свете ничего нормальнее, яснее и проще его любви, и вся эта любовь была свет, и верность, и желание оберегать и заботиться. Просто быть рядом. Любоваться. Слушать. Следить восхищенными глазами. Злиться. Ссориться. Обожать. Засыпать, изо всех сил прижав к себе. Просыпаться вместе. Никому и никогда не отдавать. Почему это было можно Чалдонову, но нельзя Линдту? При чем тут возраст? Какое значение имеют эти жалкие тридцать лет?

Да, Лазарь Линдт имел наложниц и жен без числа, куда там царю Соломону, его волновали женщины, он волновал женщин, но любил он одну только Марусю. Остальные были просто сосуды, пустые, темные, гулкие, куда он пытался спрятаться, потому что любил Марусю, а она не любила его. Он сходил и расставался с любовницами легко, едва отличая одну от другой, не запоминая запахов, не вникая в слова, не обращая внимания на жесты. В его случае не имело ни малейшего смысла поститься — целибат ничего не менял, так не стоило понапрасну мучить плоть, она, бедная, уж точно ни в чем не была виновата. Он получал много живого, животного, жаркого удовольствия от женщин, еще больше отдавал — но Марусю. Марусю... Мария Никитична, я вас люблю. Идиот. Жалкое ничтожество. Раз уж для всех эти тридцать лет так непоправимы, сделай так, Господи, чтобы я родился на полвека раньше, пусть кретином, недоумком, нищим обдергаем, не умеющим ни читать, ни считать. Я бы нашел способ найти ее. Она бы меня все равно полюбила. Сделай так, Господи, чтобы Ты — был...

Тарелка еще раз жалко пискнула под пальцами Линдта и распалась на острые неравновеликие части. Отличный знак, Господи. Я и не сомневался,

что Тебе и дела нет до того, что Ты не существуешь. И не надо про Фрейда, оставь себе смешные половые теории дрячливого еврея, отчаянного курильщика, обитателя буржуазнейшей квартирки в центре неторопливой респектабельной Вены. Успокойся, моя мать тут решительно ни при чем, она была всего-навсего плодovitая дура, бессловесный автомат, штампующий никому не нужных жидовских младенцев, очень может быть, что она и была святая, но мой папаша уж точно не дотянул до плотника. Хоть в этом мне повезло. В спальне Чалдоновых было тихо — видно, Маруся заснула, прикорнула рядом со своим великим мужем. Если бы он не был моим учителем и ее мужем, я бы его убил. Нет, не так. Я бы убил его в любом случае, если бы это хоть что-то могло изменить.

Линдт обвел глазами бастиян вымытой посуды. Из помойного ведра жарко воняло подкисающими объедками. Приготовленный Марусей гусь был выше всяких похвал. В Москве двадцать девятого года было сытно, лениво, и только на рассвете, который медленным бледным киселем заливал окна, чувствовалась какая-то неясная, будущая тревога. Наступали новые времена — очередные и снова страшные. Линдт вышел в переднюю, снял с вешалки пиджак и тихо затворил за собой дверь. В конце пустой улицы поднималось огромное равнодушное солнце. Впереди была длинная жизнь. Очень длинная.

И Лазарь Линдт честно пошел по направлению к последней странице.

Он был родом из какого-то сонного ничтожного местечка — не то на юге Херсонской губернии, не то где-то еще, — поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линдта, ни на карте, а когда пришло время кропотливых и неумолимых анкет, то Линдт уже был нужен, ой как нужен. Так что пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом Малая Сейдеменуха — да самой беглой проверкой. Вы говорите, ваши все погибли в Гражданскую, Лазарь Иосифович? Расстреляны белогвардейцами? Телеграмма от товарищей из Малой Сейдеменухи лаконично подтверждала, что семейство Линдтов действительно было расстреляно в таком-то году. Правда, в том же году несчастное местечко громили и красные, и белые, и зеленые, и бог весть еще какие звероватые батки, совсем уже не классифицируемые по партийной или политической линии, но тем не менее отлично умеющие жечь, вешать, насиловать и убивать. Уточнять, кто именно стер с лица земли родню Линдта, на всякий случай не стали — мог выйти серьезный и никому не нужный конфуз. Сам же Линдт ни о детстве, ни об отрочестве не рассказывал никогда и никому. Не то чтобы скрывал, просто отшучивался,

уходил, ловко плеснув хвостом, на какую-то совсем уже не постижимую собеседником глубину, как будто там, в прошлом, остался какой-то незаживший нарыв — такой ужасный и набухший, что даже мысленно дотронуться невозможно.

Чалдонов из любопытства как-то покопался в дореволюционных статистических данных — совершенно для Линдта неутешительных — и выяснил, что в 1897 году, за три года до рождения Линдта, в местечке Малая Сейдеменуха проживало 520 человек, из них 96,5 % — евреи. Большая часть влачила земледельческое существование — на семью выходило в среднем одиннадцать с небольшим десятин земли, полторы коровы и тридцать восемь кур. Чтоб не помереть с натуги, многие баловались ремеслишком, особенно густо было стекольщиков. Впрочем, стекольное дело вообще отчего-то пользовалось у евреев особой популярностью. В местечке кроме перечисленных излишеств имелся молитвенный дом (до собственной синагоги сейдеменуховцы доросли только в начале двадцатого века) хедер и частная начальная школа Абрама-Трайтеля Лейбовича Шайкина — полоумного еврейского святого, усердно сеявшего в Малой Сейдеменухе разумное, доброе и вечное — уж чего-чего, а вечного у евреев всегда было хоть отбавляй.

Шайкин, происходивший из нищелуднейшей семьи, к тридцати годам не просто выучился грамоте, но и выколотил у Министерства просвещения России (тупого и косного, как любое министерство) диплом народного учителя — уже это было достойно подвига, но Шайкину мало было святости, он настаивал на мученичестве. Терновый мой венец! Став, наконец, учителем, Абрам Лейбович, вместо того чтобы на этом уgomониться, открыл в доме собственного отца школу — внимание! частную и светскую! — и в школе этой ежегодно в три смены училось по сорок-пятьдесят сопливых и глазастых крестьянских детишек — чудесных маленьких жиденят. Причем учил их Шайкин (между прочим, папаша семерых собственных вечно голодных отпрысков) арифметике и географии, а также прочим премудростям, крайне необходимым в этой заскорузлой и каменистой жопе мира. Разумеется, вся Малая Сейдеменуха как один считала Шайкина законченным идиотом, и, разумеется, несмотря на все его титанические усилия, грамотных и малограмотных в местечке было больше 70 процентов. Мировую гармонию не так-то легко нарушить, даже если ты не только еврей, но еще и святой. Особенно, если ты еврей. Да еще и святой.

— Лесик, вы тоже учились у Шайкина?

— Я вообще не учился, Мария Никитична, — очень серьезно отвечал

Линдт. — Некогда было.

— Но родители-то у вас были? Почему вы никогда не расскажете про маму или про отца? — продолжала допытываться любопытная Маруся, не обращая внимания на умоляющие гримасы Чалдонова, деликатность которого корчилась от любого вмешательства в чужую и от того особенно драгоценную жизнь.

— Разумеется, были. Хотя я бы предпочел, чтобы меня нашли в капусте — желательно, вашего приготовления. — Линдт улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими загорелыми пирожками так, что было совершенно ясно, что продолжения беседы не будет. В капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное вкрутую яйцо, черный молотый перец и грибы. — Это ведь белые, Мария Никитична? Замечательно вкусно.

После того памятного предрассветного признания Линдт несколько месяцев разговаривал с Марусей с валкой, уклончивой осторожностью соучастника или канатоходца — будто и впрямь что-то зависело от каждого слова или жеста, будто Маруся действительно слышала его или поняла. Потом ему наскучила и эта игра, очередной жалкий самообман — ходьба на живых израненных подошвах по вымышленной — словно в насмешку — веревке, натянутой над ярмарочной площадью, забитой зеваками, которым нет до него никакого дела, потому что их и самих попросту не существует. В качестве головоломки, упражняющей мозг, это было неплохо, но для жизни годилось мало. И Линдт надолго смирился с существующим положением вещей, как смиряешься рано или поздно с гравитацией, которая не позволяет летать, несмотря на то, что трудно вообразить себе что-то более естественное для человеческого тела, чем полет.

Все пошло по-прежнему — может быть, даже лучше. В конце концов, у Линдта была еще и работа, которую он ценил. Не служба, ежедневно выдиравшая из жизни кусок с девяти до семи, так что на радости свободного существования оставалось всего несколько часов, из которых большая часть вынужденно приходилась на сон и еду, а именно работа — к тому же отлично организованная со всех точек зрения. И справедливости ради надо было сказать, что работой этой — как, впрочем, и практически всем остальным — Линдт был обязан Чалдонову.

Чалдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ, — уже в конце восемнадцатого года, по горло сытый молодой большевистской бюрократией, он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю, практически к отцу.

Жуковский, когда-то приметивший среди своих студентов сообразительного деревенского паренька, не просто вывел его в большую науку, но и много усердствовал для того, чтобы большая наука оказалась к Чалдонову благосклонна. Брак своего выкормыша с Марусей он одобрил чрезвычайно и на свадьбе честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая держание венца (на цыпочках) над огромным Чалдоновым и выслушивание длинейших и занудных заздравных речей, которыми по очереди разражались все ученые коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский очаровал совершенно — тем, что по страшной своей, анекдотической рассеянности принял за даму старого приятеля Питоврановых — иеромонаха Серафима, несколько не смутившись наличием у последнего могучей рыжей бороды. Впрочем, праздничное бело-голубое облачение и пухлый зад отца Серафима могли ввести в заблуждение кого угодно, так что скисшей от смеха Марусе едва удалось спасти монашествующую особу, которую Жуковский во что бы то ни стало желал пригласить на пасадобль, не очень, правда, понимая, что это такое и как его, собственно, полагается танцевать.

Но в 1910 году, после многих лет замечательной дружбы, Жуковский и Чалдонов вдруг жестоко рассорились — причем по причине пустяковой и вопиюще антинаучной. Самым обидным было то, что сама эта причина почти мгновенно испарилась из памяти обоих — так исчезает порох, вспыхнув и дав снаряду возможность отправиться в смертоносный путь. Но, несмотря на это, все усилия Маруси и дочери Жуковского помирить двух упрямцев оказались тщетными. Жуковский и Чалдонов перестали не только встречаться, но и разговаривать, и это продолжалось — подождите-подождите... Господи помилуй! Восемь с лишним лет!

И вот Чалдонов, пламенея не только ушами, но и отчего-то даже носом, снова стоял перед своим старым учителем — теперь уже старым в самом прямом, мафусаиловом смысле этого слова. Разумеется, оба дореволюционно прослезились и дореволюционно же накрепко обнялись. Чалдонов извлек из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт — микроскопический мутный мерзавчик, который окончательно растопил и без того размякшее учительское сердце. Всласть обсудив и новую власть, и старых знакомых, пройдясь по поводу вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов, Чалдонов и Жуковский вновь обрели душевное равновесие и друг друга. Оба так и не смогли припомнить, из-за чего вдруг так разобиделись, и нашли в этом поистине гоголевский комизм, который, не помирись они сейчас, мог обернуться вполне гофманианской грустью. Подумайте, Сережа, ведь я, старик, мог

умереть, так и не сказав вам, как вы мне дороги!

Все это было бы невыносимо банально, если бы не трясущаяся голова Жуковского и не зияющие раны на его книжных полках. Топить было нечем, торговать — тоже, да и не случилось у много лет вдовевшего Жуковского ловкой Маруси, умевшей сменять пару отличных поленьев за пару отличных же золотых сережек и никогда потом об этих сережках не жалеть. Дочь ведь вся в меня, Сережа, такая же ни к чему не приспособленная дура... Только вдобавок еще и математики не знает. Как жить — ума не приложу. Да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку?

Чалдонов возмущенно замахал руками — да что вы такое, Николай Егорович, да о чем это вы, лучше послушайте, что я придумал и зачем, собственно, позволил себе к вам явиться. Помните, мы с вами обсуждали волновое сопротивление артиллерийских снарядов? Жуковский, все так же трясая головой, заулыбался. Он помнил — еще бы он не помнил!

— Так вот, — заторопился Чалдонов, — вообразите, что можно не обсуждать, а поставить все на сугубо научную и даже промышленную основу, получить, так сказать, отдельное направление, свое собственное — с отдельным финансированием, но не в этом суть. Главное — снова заниматься делом, а не этой... — Чалдонов передернулся, вспомнив свои тягомотные эмгэушные муки.

— А что же вы сами, Сережа, не возьметесь? — любопытствовал Жуковский.

— Мне не дадут, Николай Егорович, — просто ответил Чалдонов. — Авторитету не хватает. Малограмотных пестовать мне еще, по их разумению, можно, а вот до войны могут и не допустить. Надо, чтобы вы пошли — вам непременно доверят, вы единственный из специалистов, кто... — Чалдонов замялся, и Жуковский твердо закончил за него:

— Кто еще не помер да не смылся за границу.

Оба угрюмо помолчали, мысленно примеряя на себя все названные варианты. Зима была непростая — и выбор был непростой. В ледяном воздухе дыхание Жуковского походило на слабые седые иероглифы, таявшие быстрее, чем кто-то успевал их прочесть. Он был старый, совсем старый, его было мучительно жалко. Но у Чалдонова на руках были Маруся и Линдт. И он не собирался сдаваться.

На следующее утро Чалдонов самолично проводил Жуковского до Кремля. Старик с трудом дошел — крошечный, ссохшийся, совсем затерявшийся в огромном заиндевевшем пальто, он то и дело оскальзывался, и Чалдонов едва успевал подхватывать легкое тельце, почти целиком уже

принадлежащее иному миру. Аудиенция длилась долго, и Сергей Александрович совсем промерз, прогуливаясь неподалеку от Боровицких ворот. Это были верхи, до которых Чалдонова пока не допускали, невзирая на безоговорочное принятие революции. Если б они только знали, что в основе этого самого безоговорочного принятия лежало исключительно упрямство Маруси, не желавшей бросать родительские могилы и соленые огурцы, кадушечные огурцы в крепких пупырях и с хрустящими белыми жопками.

— Куда ты там собирался? В Англию? Где я возьму, по-твоему, в Англии хрен? А смородиновые листья? А дубовую кору, не говоря уж о самом дубовом бочонке! Нет, нет и нет! — Маруся сердито пролистала «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (издание 22-е, исправленное и дополненное, СПб., 1901, Типография Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. № 3) и продемонстрировала мужу нужную страницу. — Видишь, вот тут — соленые огурцы пятым манером готовятся исключительно с дубовой корой.

Чалдонов попробовал возразить, что если в природе существуют еще как минимум четыре манера соления огурцов, то, вероятно, не стоит так закидываться именно на пятом, и что в Англии наверняка сколько угодно хрена, и очень возможно, что и смородины тоже, а вот Елена Молоховец — совершенно точно плохой советчик в вопросах, которые касаются жизни и смерти.

— При чем тут Молоховец! — возмутилась Маруся. — Для меня соленые огурцы — вопрос жизни и смерти!

И они никуда не поехали, конечно.

Через два часа Чалдонов уже смирился с тем, что Жуковского, вероятнее всего, арестовали или даже там же, в Кремле, расстреляли — про расстрелы рассказывали страшные вещи, совершенно в афанасьевском, сказочном, жутком духе. Только слушателям было не по пять лет и никакие попытки зажмуриться или проснуться ничего не меняли. Но спустя еще четверть часа Жуковский вдруг появился в сопровождении молодого обходительного солдата — живой, невредимый, страшно довольный, и даже надвое разделенная борода его серебрилась, будто заправский бобровый воротник, давным-давно отпоротый и сменянный на масло, которое, впрочем, оказалось прогорклым.

Еще через несколько месяцев, в начале девятнадцатого года, специально для Жуковского открыли институт с лязгающей аббревиатурой ЦАГИ вместо названия — очень небольшой институт, но с очень чрезвычайными полномочиями. Компания, которая собралась там,

под руководством Жуковского, со временем вся целиком переехала в энциклопедии и справочники, причем не только в советские, но и в мировые, так сказать — всепланетного масштаба умы собрались тут, господ, а это значит, что и результаты у нас сами должны быть всепланетными. Чалдонов сидел по правую руку от учителя — на правах заместителя и автора идеи. Он предусмотрительно оставил за собой кафедру в МГУ, но все основные силы, разумеется, отдавал Жуковскому, в котором, несмотря на кажущуюся дряхлость, оказался просто невиданный, почти противоестественный запас сил. Институтик под его руководством пыхтел, как кипящий чайник, активно строился, разражался блестящими идеями, выполнял правительственные заказы, попирал, открывал сияющие вершины, неистово ниспровергал.

В феврале двадцатого года Жуковский подхватил пневмонию — уже этого было вполне достаточно для того, чтобы отправиться на кладбище, но Жуковский выкарабкался, хотя, пока он плавился в старческом жару, сгорела от чахотки его дочь, даже не смейте мне сочувствовать, отрезал он, и никто не смел — да и не помогло бы, если честно, никакое сочувствие. В июне Жуковский перенес инсульт, от которого тоже умудрился оправиться, будто во время той заветной аудиенции в Кремле действительно продал душу пролетарскому дьяволу, иначе нельзя было объяснить то, что даже частично парализованный старик смог надиктовать курс теоретической механики стайке ничего не понимающих и бойких стенографисток. Он составил собственную автобиографию, сухую, скромную, небольшую, как он сам, завещал остатки роскошной когда-то библиотеки молодой советской республике, после чего немедленно заболел тифом и перенес второй инсульт, который тоже его не убил, хотя и помешал бурно отпраздновать пятидесятилетие научно-педагогической деятельности. Воистину повернуть такое было не под силу даже дьяволу. Завод закончился только в промозгом марте 1921 года — Жуковского похоронили в Донском монастыре, и ЦАГИ унаследовал Чалдонов. Разумеется, со дня открытия института в нем работал и Лазарь Линдт.

Кстати, Жуковскому Линдт не понравился совершенно.

— Я понимаю, Сережа, он талантливый самоучка, самородок, а это всегда чертовски обаятельно...

— Гений, Николай Егорович, — тихо уточнил Чалдонов. — Не самородок, а гений.

Жуковский, как любой педагог, не терпевший, чтобы его перебивали — пусть даже и по делу, — сердито потарахтел пальцами по обеденному столу. Кабинет, выделенный ему в ЦАГИ, был еще огромнее и холоднее,

чем обиталище Чалдонова в МГУ, потому работать Жуковский предпочитал дома. Так сказать, и стены помогают.

— Хорошо — пусть он гений, хотя это и очень спорный вопрос. Но, помилуйте, он же совершенно бездушный. Весь какой-то ломаный, колючий, вывернутый — только не наизнанку, а вовнутрь. Ни малейшего почтения ни к чему, никаких авторитетов, вплоть до прямого хамства.

— Николай Егорович, — снова позволил себе перебить Чалдонов. — Мальчику едва исполнилось девятнадцать. Он бог весть откуда пришел пешком — из какого-то жуткого поселения, всех его родных расстреляли, сам чудом спасся. Вы про еврейских колонистов слышали? У них и в прежние-то беззубые времена был голод и каменный век. А что там сейчас творится, представляете? Лазарь — по всем законам Божеским и статистическим — должен быть вообще неграмотным, а поди же — не только меня, но и вас в тупик умудряется ставить. А почтение в науке — сами знаете, ведет только к застою да мелкому чинопочитанию...

— Не знаю, не знаю, Сережа. Я вот вас в девятнадцать лет помню — вы тоже не из дворца прибыли, но совсем другое производили впечатление, так что на возраст и социальную среду не стоит пенять. Да, не стоит-с!

— Я никогда не был гением, Николай Егорович, — тихо признался Чалдонов и помолчал, давая Жуковскому возможность примерить это утверждение и на себя. Нигде не жало, все было чистой и грустной правдой. — Потому я вас нижайше, нижайше, самым покорным образом прошу...

— Бросьте эти глупые церемонии, Сережа! — рассердился, наконец, Жуковский, что всегда у него было признаком окончательной капитуляции. — Хотите нянчиться со своим приبلудным еврейчиком, ради бога. Что вы от меня-то хотите? Чтоб я его в академики произвел?

— Только одну-единственную подпись, — обрадованно зачастил Чалдонов, — академиком Лазарь и сам станет, вот увидите, но для начала ему надо хоть какую-то бумагу об образовании выправить. У него ведь за душой ничего, кроме метрики о рождении, да и та, кажется, фальшивая. Ему хоть сейчас свой отдел в институте давай, а он у нас по всем официальным параграфам — ноль. А за вашей подписью можно ему и полный аттестат о высшем образовании выхлопотать!

— Ладно, — проворчал Жуковский. — Приводите своего вундеркинда на следующей неделе. Но сразу предупреждаю — никаких поблажек.

Поблажек и правда не было. Лазарь Линдт в чалдоновском старом сюртуке, который Маруся ловко подогнала ему по фигуре (смотрите, какой великолепный камлот, Лесик, ангорка с шелком — я всегда знала, что ему

сносу не будет!), словно почувствовал неприязнь Жуковского и держался с замечательной скромностью, которая очень ему шла. Он уже оброс после первичной санобработки, но диких кудрей больше не запускал, щеголял крупной головой в гладких, каракулевых полузавитках, да и вообще больше не выглядел беспризорным оборванцем. На, прямо скажем, непростые вопросы своих маститых экзаменаторов отвечал быстро, корректно и удивительно скучно, так что Чалдонов пару раз поймал на себе насмешливый взгляд Жуковского. Хорош гений, нечего сказать. Вызубрил три учебника и похвастается.

Смущенный Чалдонов почувствовал себя неудачливым антрепренером, который собрал полное шапито для демонстрации ученой собаки, знающей четыре основных арифметических действия, и внезапно осознал, что на арене с важным видом сидит очень славная, но совершенно бестолковая дворняга.

— А вы не хотите поговорить об уравнении Максвелла для электромагнитного поля, Лазарь Иосифович? — сказал он, пытаясь хоть немного спасти положение. — Мы недавно с вами очень интересно рассуждали об этом.

— Нет, — отказался Лазарь вежливо, но твердо. — Не хочу.

— Не имеете собственного мнения, коллега? — ядовито осведомился Жуковский, очень довольный сорванным представлением.

— Имею, Николай Егорович, — признался Линдт. — Но вам мое мнение наверняка покажется неутешительным.

— Это отчего же? — уточнил Жуковский, не чуя подвоха.

— Оттого, — отчеканил Линдт, — что ни одну из проблем электромагнитного поля, а уж тем более световых скоростей невозможно решить на основании уже упомянутого вами уравнения Максвелла и классической механики. При этом вы утверждаете обратное. Зачем же я буду спорить с некомпетентным оппонентом?

Чалдонов ахнул и зажмурился, будто трамвай на его глазах зарезал беспечного и полнокровного провинциала, а Жуковский молча разинул рот, отчего вдруг стал похож на Деда Мороза из детской книжки, только очень обескураженного тем, что его разоблачили. Линдт слегка поклонился обоим — это можно было расценивать и как извинение, и как издевательство.

— Но п-позвольте, уважаемый, — пробормотал Жуковский, приходя в себя. — То есть вы хотите сказать, что... Разумеется, никакой здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что с возрастанием скорости и с приближением ее к световой величина β приближается к

нулю, и, следовательно, масса тела растёт до бесконечности. Все это весьма любопытно для радиологии, но зачем же впадать в эйнштейновскую метафизику, если можно прекрасно обойтись и обыкновенной механикой. Макс Абрагам давно составил уравнения движения электронов с помощью уравнений Максвелла...

— Ваш Макс Абрагам — просто неуч! — отрезал Линдт, и тут Чалдонов наконец-то не выдержал и принялся хохотать — простонародно ухая и отдуваясь. Жуковский какое-то время с изумлением смотрел на него, а потом вдруг сам рассмеялся дробным, чудесным, старческим смешком — уютным и сухим, как рассыпавшиеся сушки.

— Ну, засранец! — пропищал он восхищенно, тыкая в Линдта желтоватой лапкой, честно говоря, очень похожей на куриную. — Удивительный засранец! На какой помойке, вы, Сережа, его нашли? Из-за стола едва торчит, а туда же — огрызается!

Еще час все трое сладострастно спорили, пока, наконец, не утомили друг друга окончательно. Жуковский придвинул к себе злосчастное ходатайство, взмахнул острым, всеми цветами побежалости отливающим пером.

— Но позвольте, — вдруг протянул он недовольно. — Помимо физики и математики в аттестате есть и другие предметы. География, например. Или эта... как ее, бишь... словесность!

— Это все Маруся, Николай Егорович, — выпалил Чалдонов явно заранее заготовленный ответ.

— Что — Маруся? Сдавать будет за вашего гения?

— Нет, что вы, боже упаси! Маруся лично с мальчиком занималась и, можете поверить...

— И не сомневаюсь, что занималась, — проворчал Жуковский. — Вслух, поди, сказки зачитывала этому обалдую. Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Поди, оба были без ума от удовольствия.

Он быстро поставил в нужном месте щеголеватую подпись старого педагога — обманчиво простую и круглую на вид, но снабженную таким мудрено закрученным хвостиком, что всякая возможность подделки исключалась в принципе.

— Да, и не задирайте нос, засранец! — назидательно сообщил он Линдту. — Эта подпись — дань уважения Сергею Александровичу и большой аванс вам. Пробелы в вашем образовании сравнимы лишь с пробелами в вашем же воспитании. Вам придется много учиться. Очень много. Например, иностранные языки. Уверен, что вы не знаете ни английского, ни немецкого. А ведь без немецкого невозможно! Это язык

большой науки!

Линдт кивнул. Немецкий действительно был полезным инструментом. Хотя бы потому, что недалеко от Малой Сейдеменухи мыкали горе немецкие колонисты — им приходилось так же несладко, как евреям, но, в отличие от последних, немцы дружили не только с головой, но и с руками. Когда речь идет о совместном покорении черствой херсонской земли, идиш и немецкий становятся особенно похожими. Кровь и пот разных народов неотличимы на вкус. И еще слезы. Пожалуй. Еще и слезы. Поэтому спорить по поводу немецкого Линдт не собирался и, стоя в первых числах августа сорок первого года в нескончаемой очереди в военкомат, мысленно раскатисто повторял из Фауста самое любимое:

Ja, was man so erkennen heißt!
Wer darf das Kind beim Namen nennen?
Die wenigen, die was davon erkannt,
Die töricht g`nug ihr volles Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt...[\[1\]](#)

Вслух нельзя, конечно — за немецкий можно было теперь и по сопатке схлопотать, но в военкомате его произношение наверняка оценят. Не дураки же там сидят, в конце концов. Да если даже и дураки — знание языка противника считается преимуществом по законам любого военного времени. Его должны взять. Просто обязаны. В конце концов, ему всего сорок один! Линдт огляделся — вокруг было не так уж много откровенных мальчишек. Вон тот, например, в клетчатой рубашке, с худым, обглоданным какими-то невзгодами лицом, — ему никак не меньше сорока пяти. Почувствовав на себе взгляд, мужчина оглянулся, посмотрел на Линдта тоскливыми, в темноту провалившимися глазами. От какой судьбы ты удираешь на фронт, бедолага? С чего решил, что на этот раз тебе повезет? Мужчину толкнул какой-то крепкий мордастый парень, мазнул по лицу набитым вещмешком и, даже не заметив, оттеснил в сторону.

Очередь беспокойно шевелилась, извивалась, то вытягиваясь напряженной стрункой, то хаотично запруживая часть улицы. То там, то тут то и дело взвизгивала гармошка и кто-то принимался отчаянно плясать, словно вколачивая свой страх в булыжную мостовую. В ответ гармошке взвизгивала, не выдержав, баба, принималась голосить, оплакивая своего Вовку или Кольку, всех-всех, пока целых, пока крепких, потных,

переминающихся с ноги на ногу, галдящих. Родных. Бабу тут же затыкали, и она, всхлипнув, припадала к мужнину или сыновнему плечу, отчаянно пытаясь надышаться родным запахом на всю войну. Никуда не отпущу, не отпущу, говорю, на кого ж ты меня покидаешь, мило-ы-ы-а-а-а-ай! А ну цыц, дура! Не позорь меня перед ребятами, говорю!

Линдт был один — как положено, как всегда. Никто и предположить не мог его в этой очереди, и от этого почему-то было весело и радостно, будто перед... Линдт замялся. Он не помнил — когда и от чего ему в последний раз было радостно. Может быть, если бы в детстве у них в доме хоть что-то праздновали, наряжали елку, шуршали за дверью заманчивыми пакетами с подарками. Он усмехнулся. Будем считать, что ему весело и радостно, как и положено перед войной.

Линдт вдохнул поглубже теплый, коричный, почти пряничный дух московских мостовых. К осени этот город вспоминает свое деревенское происхождение и начинает пахнуть яблоками, булками, хрустящим новеньким ситцем, крепкой, медленно холодеющей листвой. Нет ничего прекраснее Москвы в сентябре, и нет ни малейшей надежды, что к ноябрю война закончится, хотя в очереди только об этом и говорили. Линдт понимал, что к ноябрю все как раз только начнется, — для такого анализа хватило бы и втрое меньших, чем у него, мозгов, но во всеобщую истерически оживленную болтовню не вмешивался. Пусть себе. Они всего лишь люди. Бедные люди. Пример тавтологии. Главное — чтобы в военкомате его не завернули назад.

Из-за угла вывернул шустрый лупоглазый автомобиль, тормознул у тротуара, ослепив будущих солдатиков лаковыми бликами. «Мамочки родные, это ж „Хорьх-853“, тридцать пятого года!» — почти простонал паренек за спиной у Линдта, будто, взгромоздившись на десяток ящиков и с трудом удерживая равновесие, добрался наконец-то до заветной щелки в стене и увидел голую девушку. Настоящую голую девушку. Нежно-бархатную, мутно-лунную, едва различимую в парном банном полумраке.

Из «хорьха», ловко хлопнув черно-белой дверцей, вышел невиданный недоросль — рослый, круглоголовый, улыбчивый, в нездешнем твидовом костюмчике. Обомлевшая толпа, не веря свои глазам, наблюдала маленький щегольской чемодан из натуральной кожи, короткие штаны, ловко обхватившие наливные икры, затянутые — да нет, так просто не бывает! — в плотные гольфы. Бля буду, буржуй! — с восторгом матюкнулся кто-то за спиной у Линдта. Да какой! Просто буржуище! Чтоб ты понимал, поправили его недовольно. Не буржуй, а иностранец. Иностранный корреспондент. Статью будет про нас готовить.

Между тем иностранный корреспондент вальяжным манием отпустил свою невероятную машину и отправился в самую гущу очереди — все с той же ликующей, придурковатой улыбкой очень молодого и очень здорового человека, который каждое утро ест белый хлеб со сливочным маслом и розовой, слегка слезящейся ветчиной. Плюс теплое молоко, разумеется. В тонком голубовато-овальном стакане. Сытый какой, прямо боров! — позавидовали в очереди от чистого сердца.

Недоросль помялся секунду в нерешительности, а потом, с поразительной безошибочностью отыскав в толпе своего, подошел к Линдту. «Здравствуйте, — сказал он приветливо на чистейшем, чудеснейшем, сочном русском языке. — Простите, пожалуйста, что обращаюсь. Мне бы хотелось записаться на фронт, но я не знаю — с чего начать...» Линдт хотел ответить, но не успел — потому что невиданного парня тут же смыло волной народной любви. Он в буквальном смысле пошел по рукам — его хлопали по круглым твидовым плечам, приветственно матюкали, тискали, как умильного щенка, хором орали, пытаясь выяснить, откуда взялось такое нелепое чудо. Это как же это, бя, так, выходит, ты наш? Откудова ты такой свалился? Генералов сынок, не иначе! Не, мужики, мы точно победим — гляньте, да такую морду на танке не объедешь! Точно, в танкисты его! Не, лучше в летчики. Бомбить им будем — ни одного фрица не останется. Все со страху обосрут. Да не орите так — как зовут-то тебя, миляга? И где ты штаны потерял? Он не потерял, он из их вырос! А мамке длинные купить не на что!!!

Это было похоже на взрыв — взрыв всеобщего облегчения. Несколько часов толпа была будто фурункул — синевато-багровая, омертвелая от страха, болезненно-напряженная. Появление смешного пацанчика, одетого, как Мальчиш-Плохиш, но вполне Кибальчишного по всему остальному, словно выпустило из людей мучительно копившееся напряжение: гной, страх, липкая сукровица — все вырвалось наружу вместе с истерическим весельем. Даже в восемнадцатом году не было так страшно. Линдт точно это помнил. В восемнадцатом было по-своему весело.

Обретший имя недоросль, — Сашка меня зовут, Сашка Берензон! — сияя, как нагой румяный зад на морозе, отвечал разом на все вопросы, одновременно пытаясь открыть свой пижонский чемоданчик. В чемоданчике оказался импортный бритвенный прибор фирмы «Золинген» и два пакетика конфет грильяж. Угощайтесь! Это мои самые любимые! Таких даже в Берлине ни за что не достать! Зачем заливаю! Я в Берлине пять лет прожил.

Так тайна «хорьха», гольфов и коротких штанишек была раскрыта.

Сашка — он же Александр Давидович Берензон — оказался всего-навсего сыном дипломатического работника, молодым славным обалдуем, преисполненным патриотических порывов самого наивного толка. Пока его отозванный по военному времени папаша ворочал государственными делами где-то в Кремле, Сашка решил отправиться добровольцем на фронт, что и проделал незамедлительно. Мужики, разинув рты, слушали его рассказы о берлинских улицах и кофейнях, причем Сашка по младости лет все больше напирал на мороженое, а простодушная публика требовала историй про баб. Правда ли, что без подштанников ходят и платья насквозь просвечивают?

— Про подштанники ничего не знаю, — со стыдом признался Сашка. Народ разочаровано загудел. — Зато! Зато! Зато я Гитлера видел! — выпалил Сашка, пытаясь спасти пошатнувшееся положение. Все примолкли. Гитлер — это было серьезно.

— Ну и какой он? — серьезно спросил коренастый мужик лет тридцати пяти, по виду — потомственный мастеровой.

— Да никакой! — ответил Сашка. — Плюгавый, усишки под носом! Я б его одной левой.

— Плюгавый, говоришь? — откликнулся мужик. — Одной левой? Тот-то плюгавый этот нас от границы гонит, как кутят...

— Провокатор! — завизжала немедленно какая-то тетка. — Товарищи! Среди нас провокатор! Не позволим врагу сломить наш боевой дух!

Толпа, забыв про Сашку, сомкнулась вокруг мастерового, все орали, доказывая друг другу, а больше — самим себе, что мы фашистов одной левой, шапками закидаем!

Снова стало пронзительно страшно.

Растерянный Сашка все еще протягивал пакетик с остатками грильяжа, но его уже никто не замечал.

— Как вы думаете, — робко спросил он у Линдта, — меня возьмут? Вы не подумайте! Я очень сильный! Каждое утро зарядку делаю.

Линдт неопределенно пожал плечами — будь его воля, он бы не подпустил этого славного сопляка даже к игрушечному ружью.

Через два часа оба вышли на крыльцо военкомата. Белый от унижения Линдт не знал, куда девать глаза. Военком, злой, узкий, похожий на протертый спиртом ланцет, обложил его тихим, скучным и от того особенно неприятным матом. В бирюльки вздумали играть, товарищ ученый? Пострадать захотелось? За родину повоевать? Ты хоть сам знаешь, какая у тебя броня, профессор? Как у КВ-2! Тебе не на фронт, тебя самого надо под охрану! Под трибунал меня подвести решил, да, герой ебанный?

Самому жить неохота, решил за собой еще кого-нибудь потянуть? А ну слушай мою команду: кру-гом и на хуй отсюда шагом марш! Немедленно!

Получивший направление на курсы младших командиров Сашка ликовал и трещал, как праздничная шутиха. Линдт крепко пожал ему руку, впервые в жизни ощутив себя старым, никому не нужным. Ни Марусе, ни Родине не требовались его добровольные жертвы. Никому. Вокруг гудели, напирали, размахивали руками и орали добровольцы. Девяносто процентов из них, оказавшись на фронте, погибнет в первые дни и месяцы боев. А Сашка — Александр Давидович Берензон — останется.

(Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права Международного юридического института, дамский угодник, лакомка и жуир, он умер только в прошлом году. И даже в восемьдесят восемь лет все еще был похож на рослого, пухлощекого, балованного барчука.

Не верите — спросите у Яндексa.)

Из военкомата Линдт, подавленный, сразу осунувшийся, пришел к Чалдоновым — ноги сами принесли его к Марусе, точно так же, как руки сами положили на прилавок Елисеевского деньги. Мне буше, пожалуйста, меренги, тарталетки — всех по паре. Нет, давайте лучше по пять. Хорошенькая, румяная продавщица, сама похожая на горячую, сочную, обливную ромовую бабу, оттопырив толстенький мизинец, ловко укладывала пирожные в большую коробку. «Картошку не желаете? Имеется обсыпная и глазированная», — пропела она нежным, заговорщицким тоном, словно предлагала Линдту бог весть какие пряные и запретные услуги. Клиент был интересный — бледный, маленький, нервный. Еврейчик, конечно, но сразу видно, что при солидном положении и деньгах. Одет прекрасно. А что немолодой — так его ж не варить. Линдт с машинальным удовольствием оценил и трогательные ямки на локтях продавщицы, и тугую, нежную силу, с которой она распирала свой белый, отлично крахмаленный халат. Наверняка неумелая, но жадная и жаркая, так что хватит на десятерых. Не сейчас, милая, извини. Нет-нет, а вот трубочки не надо, спасибо. Маруся терпеть не могла трубочки.

У Чалдоновых — впервые на памяти Линдта — царил самумный разгром. Маруся, складывающая одновременно три чемодана, при виде коробки из Елисеевского всплеснула руками и выронила вязаный жилет Чалдонова, который безуспешно пыталась втиснуть между собственными туфельками и архивом мужа. Вы с ума сошли, Лесик! Пирожные! В такое время! Линдт подобрал с пола жилет, ловко свернул в тугую тубу. Вот так

поместится. Да в какое — такое время, Мария Никитична? Голодно будет только к зиме, отчего же сейчас-то себя ограничивать? Вы затеяли переезжать? Или просто нервничаете?

Маруся недоверчиво заглянула Линдту в глаза — он был мастер разыгрывать, дурить, насмехаться. Парадоксальный склад ума, парадоксальное чувство юмора, полное бесстрашие. На грани с идиотизмом. И в ЦАГИ, и в МГУ ходили легенды о шуточках, которые Линдт отпускал, не считаясь ни с табелями, ни с рангами. Двадцатипятилетним мальчишкой он чуть не довел до инсульта Лидию Борисовну Ильенко, секретаря ученого совета, — даму, которая славилась своей монументальностью во всех областях, включая человеческую глупость. Говорили, что она повелевает диссертациями, научными светилами и даже кометами. Что дрожание ее второго подбородка есть великий признак. Что она спит с кем-то из партийных сфер настолько высоких, что это уже предполагало некую автоматическую, так сказать, профессиональную бесполость. Впрочем, мало кто верил в то, что охотник до лежалых прелестей Ильенко найдется даже в высших сферах, — а ведь истинные коммунисты, как известно, способны на любые подвиги.

Однако легенды легендами, а Ильенко действительно трясла академиками, как вениками, так что даже самые почтенные и седовласые жрецы науки лебезили перед ней, как нашкодившие щенки. Все, кроме Линдта, который предпочитал Лидию Борисовну просто не замечать. Впрочем, однажды она остановила его на пороге аудитории, в которой намечался очередной научный шабаш.

— А вы, собсно, куда, молодой человек? — пропела она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. — Вы же, кажется, даже не член ученого совета?

— Совершенно верно, Лидия Борисовна, — любезно согласился Линдт. — Я не член ученого совета. Я его мозг.

И что вы думаете? С Линдтом не произошло ровным счетом ничего страшного, если, конечно, не считать того, что опившаяся валерианы и полностью деморализованная Ильенко раз и навсегда выучила его имя и отчество. Раз и навсегда.

Но нет, в этот раз Линдт точно не смеялся, уж кто-кто, а Маруся не могла ошибиться. Вы что, правда не знаете, что нас всех отправляют в эвакуацию? В институте с утра приказ вывесили. Сергей Александрович звонил, велел срочно собираться. Вас что, не вызвали в институт? Что вы все молчите, Лесик? Где вы болтались полдня? Линдт неопределенно пожал плечами, выкладывая на блюдо хрупкие, чуть похрустывающие

меренги. Раз уж Марусе не придется собирать на фронт его, пусть хотя бы спокойно укладывает вещи мужа.

— Лесик, признавайтесь, у вас опять роман? — догадалась Маруся, по-своему истолковав молчание Линдта. — И что же — на этот раз все наконец серьезно?

Линдт снова промолчал, и Маруся, мгновенно забыв и про эвакуацию, и даже про войну, заспешила по волшебной дороге, вымощенной желтым кирпичом, — навстречу чужому обаятельному счастью. Как любая бездетная женщина, она обожала сватать, крестить, сговаривать, провожать под венец и бережно принимать на руки кряхтящих увесистых младенцев — словом, подкладывать собственные несбывшиеся мечты под несимпатичные условности реальной жизни. Это был один из немногих способов превратить в праздничную парчу самый затрапезный ситчик, а уж Маруся знала толк в отличных тканях.

— И вы даже не пригласили ее к чаю! Как не стыдно! А ведь мы с Сергеем Александровичем, кажется, имеем некоторое право! — попрекала она Линдта, быстро отбирая у него опустевшую коробку, смахивая со стола невидимые крошки, недостойные соседства с чашками самого заурядного советского фарфора, который выглядел в ее руках драгоценным, китайским, костяным... Маруся двигалась, мягкая, легкая, шелковая на сгибах, прелестная, вот именно — прелестная, и никакое время было не властно над этой прелестью, над этими нежными губами, над этой сединой, которая так рифмовалась с кружевными манжетами на ее платье и с голубоватыми жемчужинами в мочках ушей. Он сам подарил ей эти сережки — с первого серьезного гонорара за первую серьезную монографию. Как там у Гёте?

Ihn treibt die Gärung in die Ferne,
Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt;
Vom Himmel fordert er die schönsten
Sterne Und von der Erde jede höchste Lust,
Und alle Näh und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust...^[2]

— Да вы меня не слушаете, Лесик! — возмутилась Маруся. — А я между тем мечтаю о внуках. Когда вы наконец-то соизволите жениться? Я не хочу умереть, так и не увидев ваших детей. — А вы и не умрете, Мария Никитична, — спокойно сказал Линдт. — Только не вы. — Я обещаю.

Он легко поймал ее маленькую горячую руку, прижал к губам — в

который раз поражаясь аромату: полдень, полный солнечной соломы и спелых яблок, сонный, огненный, душноватый чердак, украдкой сорванные, спелые поцелуи. Все наладится. Все наладится именно в этой жизни, потому что никакой другой жизни не бывает.

Пришедший через два часа Чалдонов, взмыленный от непрерывных начальственных взъёбок, застал жену и Линдта мирно распивающими чай. В углу высилась аккуратная гряда уложенных ящичков и чемоданов, а Маруся убеждала Линдта в том, что буше в ее исполнении ничуть не уступает елисеевским, а во многом даже и превосходит. Линдт весело сопротивлялся, а на тарелке, предусмотрительно отставленной к самому дальнему краю стола, подсыхали честно оставленные Чалдонову пирожные. Буше среди них не было, потому что Маруся — подыскивая подходящие аргументы — съела все пять штук.

В конце августа сорок первого года ЦАГИ практически в полном составе отбыл в эвакуацию в Энск. И даже Линдт, покачиваясь в купе, задремывая, прижимаясь виском к пульсирующему вагонному стеклу и машинально подсчитывая русские бесконечные версты, не догадывался, что эта дорога — навсегда.

До места добирались почти месяц — неслыханная скорость по тем временам, когда на каждой узловой станции собирались десятки составов и приходилось стоять часы, а то и дни. В тупиках дремали, обрастая корнями и простиранным бельишком, сотни теплушек, больше уже похожих на дома. По перрону бродили эвакуированные, ревели младенцы, ссорились звереющие от непосильного быта бабы, пацанва постарше азартно играла в войнушку, курили, сплевывая на щебенку горькую слюну, измотанные ожиданием мужики. То и дело пробегали с матюками железнодорожники, потные, яростные, надолго позабывшие про отдых, сон, семьи, пироги. Приставать с расспросами и жалобами было бесполезно — птенцы Лазаря Моисеевича Кагановича, они прекрасно знали крутой нрав народного комиссара путей сообщения. Шутить железный нарком не любил и частенько повторял, что у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. Так было до войны, а теперь рассчитывать на благодушие и вовсе не приходилось. Все понимали, что сажать за халатность больше не будут — расстреляют тут же, под насыпью, во рву некошеном. Прямо за эшелон, который вовремя не отправился на фронт.

Для состава, в котором следовал в эвакуацию ЦАГИ, делались, впрочем, все возможные исключения — в Энске для обеспечения армии всем необходимым планировали развернуть крупнейший военно-

промышленный комплекс, а в ту пору советская власть запланированное в жизнь воплощала жестко. На тесном провинциальном вокзальчике (Энск стал областным центром только в тридцать седьмом — вопреки современным учебникам истории, случались в том году и праздничные события) поезд, полный отборных столичных мозгов, встретила большая и очень деловитая делегация. Бестолковый ученый люд стремительно рассовали по грузовикам и отправили по месту новой приписки, а Чалдонова и прочее начальство увезли в горком — совещаться, причем Чалдонов в последний момент прихватил и Линдта, нашептав на ухо главному принимавшему их партийцу что-то такое, отчего бедный толстяк немедленно возопреп и даже присел от внезапно нахлынувшего уважения. Линдт упирался, как ребенок, которого уводят спать как раз, когда за столом собрались все гости, но напрасно — его любезно затолкали в «ГАЗ-М1», в овальном заднем окошке мелькнула Маруся, оставшаяся на перроне в толпе растерянных женщин, визжащих детей и взлохмаченных узлов. Семьями, как всегда, норовили заняться в самую последнюю очередь.

— Да не дергайся так, ради бога, Лазарь, — устало попросил Чалдонов, лязгая зубами — в «эмке» трясло немилосердно, дороги в Энске были сквернее скверного всегда. — Во-первых, я уверен, что мы ненадолго. Вовторых, поверь, Маруся и сама прекрасно справится.

— И не сомневайтесь! — встрял партийный толстяк, перевесившись с переднего сиденья. — Все будут размещены и устроены в течение двадцати четырех часов. В полном соответствии. Согласно всем нормам. Приказ наркома!

И точно — цагишные жены не успели даже толком поволноваться, как были взяты в оборот летучим отрядом веселых военных, неистово мечтающих о фронте, но вынужденных, вашу мать, черт-те чем тут в тылу заниматься. Они лихо разобрались на двойки и принялись заталкивать столичных теток (среди которых попадались прехорошенькие) по машинам. Маруся досталась круглолицему румяному офицеру, стянутому хрустящими ремнями, как праздничный букет. Пока рядовой размещал чалдоновский скарб в персональном грузовике (академикам везде у нас почет!) и вез дорогую гостью до нового места жительства, говорливый лейтенантик успел дважды рассказать Марусе свою нехитрую, но доблестную жизнь. Несмотря на единство времени, слушательницы и места, версии разительно отличались друг от друга, но и в одной и в другой главный герой решительно преодолевал все препятствия и обретал полцарства (отдельную комнату в восемь метров) и прекрасную королевну (Наталя у меня, вы бы видели — во! Меня на одной руке подымет!) и бог

знает еще какие сказочные дивиденды.

Очарованная Маруся в итоге совершенно прозевала проплывающий мимо Энск и опомнилась, только когда грузовик остановился около угрюмого трехэтажного дома. Вознагражденный кульком сахарных подушечек (Наталье отнесу, то-то рада будет, она у меня сластена!), офицерик ловко помог ей спешиться. Вот туточки вы и станете проживать. На второй этаж тащи, Лихонин. Да не волоком, ирод, обобьешь ведь добро! Маруся поднялась по мраморной лестнице, когда-то явно сиявшей купеческим великолепием, и с любопытством вошла в квартиру.

Длинный полутемный коридор. Комната налево, две направо, там, должно быть, кухня. Точно — кухня!

— Царское жилище вам предоставили, Мария Никитична! — рапортовал офицерик, распахивая одну за другой все двери и явно гордясь энским гостеприимством. — Удобства все в закуте, за углом, даже чуланчик имеется, ежели задумаете нанять кого по хозяйству... Остороженько, не споткнитесь — тут саночки детские, мы сперва думали все вывезти, а потом решили — мало ли, может у товарища Чалдонова внуки, да и вообще — вещи хорошие, зачем выкидывать, ежели вы из Москвы можете прибыть практически с пустыми руками. Так чем отвлекаться на быт, лучше сразу — на все готовое, чтобы уж всеми силами за дело браться. Для фронта и для победы! Разве не так?

Странно притихшая Маруся кивнула, обводя глазами чей-то дом, явно родной, любимый, но брошенный впопыхах, при каких-то страшных обстоятельствах, о которых — это было ясно — спрашивать не просто нельзя, бесполезно, потому что тогда придется признаться себе самой, что этот славный ясноглазый мальчик в лейтенантских погонах тоже виноват в том, что осиротели вот эти шторы, сшитые чьими-то проворными ласковыми руками, эти навеки испуганные шкафы, полные изнывающей от одиночества посуды, эти... Да что там перечислять. И она, Маруся, тоже виновата. Конечно, виновата. А кто же еще во всем этом виноват?

Маруся подошла к столу, накрытому вышитой скатертью, пробежала по ней пальцами, как слепая. Выпуклые розочки чередовались с лупоглазыми ромашками — гладь, тамбурный шов, по краю мережка, целая зима кропотливой, уютной, вечерней работы, она сама прекрасно вышивала, тихий хруст прокалываемого полотна, яркое мельтешение ниток, мозоль на натруженном указательном пальце, наперстки — это для лентяек, здешняя хозяйка явно такой не была. Сколько ей было лет? Где она теперь? Где ее дети? Смогут ли они выжить? Или хотя бы простить?

— Вы не заболели, Мария Никитична? Может, за доктором? Я

мигом! — участливо спросил офицерик. Маруся, голубовато-серая, враз опустевшая, отрицательно покачала головой.

— Вы идите, Коля. Все в порядке. Спасибо. Идите, у вас дел полно, а я уж сама тут, ладно? Наталье своей привет передавайте непременно.

Лейтенант Коля послушно козырнул.

— Передам. Но вы точно в порядке?

Маруся из последних сил улыбнулась.

— Тогда ладно, — облегченно заторопился офицерик. — Располагайтесь удобненько, и ежели что не так, просим извинять. Лихонин, на выход!

Так и не издавший ни звука Лихонин прекратил свою муравьиную возню с чемоданами и поплелся вслед за командиром к выходу. Дверь грохнула. Потом еще раз — подъездная, внизу. Маруся еще раз обвела глазами комнату, да, точно, вот — в красном углу полочка, нынче заселенная молчаливым репродуктором, но несомненная. Радиотарелка, может быть, и могла обмануть кого-нибудь, но только не Марусю, она сразу узнала опустевшую божницу, этот нашест для ангелов, тихую скамеечку, на которую Господь, обходя дома, мог присесть, перевести дух и оглядеться. Должно быть, осталась от самых первых хозяев, купцов, которых, верно, тоже увели отсюда впопыхах, в предутреннюю мглу, сквозь слезы, матерную ругань и проклятия, и хозяйка, та, самая первая, все оборачивалась, воя, и наверняка жалела что-то совсем пустяковое — вроде незаконченной думки или серебряных подстаканников, которые береглись для гостей, не использовались, да так и простояли всю жизнь в горке, напрасно ожидая своего праздничного часа... Маруся ясно представила себе, как и ее саму, растрепанную, страшную, ночную, отрывают от мужа — она даже видела, как он силится улыбнуться на прощанье и как по-стариковски трясется его плохо выбритый седой подбородок.

Да когда же это кончится, Господи? Когда прервется эта жуткая череда?

Господь промолчал, словно спрятался за пыльную радиотарелку (внутри места не нашлось бы даже Ему — уж слишком огромен был голос Левитана, слишком страшны сводки советского информбюро), и тогда Маруся, с трудом опустившись на колени, принялась молиться выключенному репродуктору — яростно, горячо, как не молилась никогда и никому в жизни.

Когда мутноватый законный Энск начал синеть (темнело не по-московски рано, не по-московски холодно было, а ведь всего-то — конец сентября), Маруся почувствовала, как заныли колени, как горячей болью

стянуло наломавшуюся в поклонах поясницу. Пора было подниматься, готовить что-то на ужин, искать в узлах и чемоданах крупу, которой удалось разжиться на одной из станций, в жизни она не оставила мужа голодным, даже в Гражданскую, не оставит и сейчас, так что, прости, Господи, что прервусь, все равно Тебе есть кого слушать, все равно Ты не замечаешь меня — давным-давно.

Ну, прости, милый, что разворчалась.

Прости. Слышишь?

Прости.

Маруся встала и, поеживаясь, побрела на кухню, щелкая по дороге выключателями, — в Энске не было никакого затемнения, а из Москвы они уезжали уже при полной светомаскировке, и Маруся, пока машина не свернула за угол, все оборачивалась, все искала глазами родные окна, которые собственноручно перечеркнула бумажными крестами. Прощалась.

На кухне было пусто, тихо и страшно. И так же, как Маруся боялась всех этих чужих вещей, так и они боялись ее незнакомых рук, вздрагивали, сторонились, норовили, как живые, уползти в дальний угол, в спасительную тень. С каждой чашкой приходилось разговаривать, гладить ее по дрожащему боку, словно настрадавшегося брошенного щенка, приручать, и Маруся помешивала, переставляла, бормоча, прихватывала полотенцем и прикрывала осторожной крышкой. Это были уже никакие не молитвы, а чистое колдовство, знакомое каждой женщине, уходящее корнями в невозможную древность, когда даже Бога еще не было, и не было Слова, а существовала только чистая, ничем не замутненная любовь. И Маруся колдовала изо всех сил, прислушиваясь, не щелкнет ли в прихожей дверь, ей казалось, что только возвращение мужа вернет всему смысл и порядок, разгонит страхи, укротит плотную, почти кубическую тьму. Квартире нужен был хозяин, пусть и такой бестолковый, как ее Сережа, но он все не приходил и не приходил, и, в конце концов, Марусе пришлось сдаться, выключить плиту и всю ночь просидеть у непроницаемого окна в извечной, ожидающей женской позе — всегда одной и той же, сколько бы веков ни прошло.

Квартира тоже затаилась и только иногда тихо вздыхала, словно приспособливалась к Марусе, да изредка что-то снаружи садилось на подоконник, скребло отчетливыми коготками оглушительную ночную жуть, и Маруся уговаривала себя, что это голуби, обычные голуби, но никакие это были не голуби, конечно, и когда в прихожей тихой тенью промелькнула большая несуществующая кошка, Маруся не выдержала и заплакала.

Потому что у нее больше не было сил.

Ни Чалдонов, вернувшийся только на рассвете, небритый, почти пьяный от усталости, ни даже Линдт ничего не заметили. Иногда Марусе казалось, что они, поглощенные своими научными игрушками, не заметили даже войну, так что все четыре года страхов, сводок и бесконечных очередей легли исключительно на ее плечи. Линдту дали отличную комнату неподалеку, но, сколько Маруся ни уговаривала его перебраться к ним, он не соглашался, упрямылся, и Маруся с грустью думала, что вот и Лесик совсем вырос, и больше она ему не нужна, а с ним было бы так легко; ладно — не легко, а намного легче, он бы усмирил любых призраков, плевать ему было на призраков, он ни во что не верил, ее Лесик, и это веселое бесстрашное неверие, которое обычно так огорчало Марусю, сейчас было бы в самый раз.

Впрочем, иногда Линдт все-таки оставался у них ночевать — и тогда все было почти по-прежнему, веселые вечера за веселым столом, и Маруся не видела никаких кошек, а квартира казалась ей теплой, мирной, залитой светом — точно такой, какой она и была для всех, кроме нее. Кроме нее. Но наутро Линдт уходил, быстро поцеловав Марусе руку и на ходу доспоривая о чем-то с Чалдоновым, на их совести было сто двадцать миллионов снарядов и мин, пятнадцать тысяч семьсот девяносто семь самолетов, неисчислимое количество смертей, а на Марусиной совести ничего не было, но они спешили вниз по лестнице, пересмеиваясь, как мальчишки, а она стояла на пороге, глядя им вслед, и за спиной ее настороженно молчал огромный страшный одинокий день, который невозможно было заполнить никакими хлопотами по хозяйству.

Между тем Энск угрожающе разбухал, волну за волной принимая эвакуированных, прибывающих эшелонами, заводами, целыми отраслями. Только с июля по ноябрь сорок первого в Энск перебросили пятьдесят крупных предприятий — а всего в стране было эвакуировано около девяти миллионов людей. Вы только вдумайтесь — около девяти миллионов! В городе стало тесно от десятков тысяч приезжих, перепуганных, оторванных от дома, шалых от усталости и той дикой, никому не нужной, отчаянной свободы, которую принесла с собой война. Жилья катастрофически не хватало, всех уплотняли, там, где прежде жили четверо, запросто находилось место еще десятерым.

Маруся поспешила в горком — четыре комнаты на двоих, товарищ первый секретарь, вам не кажется, что это не совсем справедливо? Первый даже не дослушал, махнул на нее единственной рукой, вторая с Гражданской гнила где-то под Верхнеудинском, да не гнила уж, поди —

только косточки белые и остались. Идите к чертовой матери, голубушка, со своими закидонами, в стране война, а вы сами не знаете, чего хотите. Комнат ей много, понимаешь. Вам много, а академику в самый раз. В общем, товарищу Чалдонову я мешать не стану и вам не посоветую, и плевать мне, что вы его жена, да мы в свое время таких жен!..

Конец фразы, впрочем, вонзился в уже закрывшуюся дверь. И что это я, бормотала Маруся, выходя на горкомовское крыльцо, оснащенное вместо колонн двумя заиндевелыми часовыми, и что это со мной, в жизни ни у кого не спрашивала ни совета, ни разрешения, а тут — на тебе, выскочила, ах, батюшка-барин, дозвоьте доброе дело сделать да в плечико вас поцеловать. Неужто правда — постарела? Ну уж дудки.

Маруся быстро, ловко, совершенно по-прежнему, закуталась в платок — такой нежно-серый, что неясно было, где заканчивается пух, а где начинается небо, — и торопливо, легко поспешила по улице, оставляя на тротуаре звездчатые следы крепко подбитых каблуков. Вот погодите, сейчас я вам... — лихорадочно думала она, но сама не понимала — кто они, эти вы, и что она может сделать. Господи, что?

Маруся свернула, потом еще раз и вдруг поняла, что понятия не имеет, где находится. Это был еще не освоенный и не обжитый ею район Энска. Какая-то длинная, совершенно пустая, оцепенелая улица, вдоль которой медленно плыло кровавое, как будто даже густое на вид солнце. И ни дымка, ни стука, ни шевеления... На секунду Марусе показалось, будто все уже умерли и осталась только она одна — и теперь придется вечно брести по этому безмолвному обескровленному городу без малейшей надежды на помощь и спасение.

Было пронзительно холодно и тихо, только взвизгивал под ногами чистейший, никем не запятнанный снег, так что Маруся не сразу осознала, что снег вскрикивает не совсем в такт ее шагам, как будто ребенок, который продолжает плакать, даже когда его уже оставили в покое, даже когда уже не больно... Она остановилась, и снег тут же замолчал, а вот детский голосок, наоборот, стал отчетливее. Свихнулась, с каким-то веселым облегчением подумала Маруся и, сняв варежку, изо всех сил ущипнула себя возле запястья — в то чувствительное место, под которым жила нежная, упругая бусина пульса.

Плач никуда не делся — все так же вился где-то возле ног, слабенький, прилипчивый, тошнотворный, будто измученный приبلудный звереныш, которого нельзя бросить, но и взять на руки — слишком противно. Никаких сомнений не было — это плакал ребенок, живой ребенок, что-то делавший на оцепенелой от мороза энской улице в феврале 1942 года. Маруся еще раз

оглянулась и поспешила на негромкий писк, отчего-то пригибаясь, словно принохиваясь, и не замечая, что обронила на снег варежку — маленькую красную варежку, похожую не то на полураспустившийся цветок, не то на мертвого снегиря.

Говорят, что солдаты и влюбленные не болеют, — и совершенно точно врут. Потому что как минимум половину февраля сорок второго Лазарь Линдт провел в унижительной тягостной простуде, которую ничуть не ослабила ни любовь, ни война. И добро бы он стоял вместе с бабами да подростками у станка — в свежестроенных цехах начали топить только в сорок третьем, и приходилось часами работать в огромном, гулком, надчеловеческом — нет, даже надмирном холоде, так что к концу смены казалось, что нет вообще ничего — ни жизни, ни усталости, ни даже самого воздуха. Только совершенно пустое, ледяное пространство — до первого дня творения, до большого толчка, может быть, до самого Бога. И еще очень хотелось есть. Очень. Кормить приходилось весь фронт, так что от голода плохо думалось даже о победе.

Но Линдт-то не мерз, разве что пока шел от подъезда до машины, да и ел, признаться, хоть и не разносолы, зато досыта — у них были прекрасные, разве что не фронтовые пайки, на них не сэкономили ни минуты — было, слава богу, кого обобрать, чтобы как следует напитать лучших ученых. Вообще страна вела себя сурово и удивительно разумно, будто огромный погибающий организм — повинуюсь биологическим законам, она отключала одну за одной системы, без которых можно было обойтись, протянуть еще немного, лишь бы сохранить самое главное — сердце и мозг. Мозг, кстати, был предпоследним рубежом. Даже его приходилось приносить в жертву, чтобы спасти сердце. Это было, конечно, удивительно. Удивительно, страшно и очень гармонично. Особенно если учесть, что сердцем себя хотели считать очень и очень многие.

Жаль, что насморк не уменьшался даже от таких философских заключений — насморку было хорошо с линдтовым просторным носом, полным укромных закоулков и гулких пустот, так хорошо, что Линдт, кряхтя от унижения, сперва извел все имеющиеся носовые платки, а потом, оценив масштаб бедствия, пустил в расход целую простыню, с прохладным хрустом отрывая от нее лоскут за лоскутом. И, кажется, скоро придется браться за вторую. Голова болела просто неприлично, но чай не помогал, и аспирин тоже, так что приставленная исцелять Линдта докторица, панически боявшаяся пневмонии, даже засуетилась было добывать дефицитнейший бактериофаг, чтобы не дать угаснуть прославленному

светильнику разума. Линдт докторицу хоть с трудом, но уговорил и даже запретил заходить чаще, чем раз в день, потому что я понимаю, Нина Сергеевна, вам охота поскорбеть у одра умирающего, но я, уж простите, намерен еще немножечко пожить.

Докторица, пострекотав, смирилась, но все равно норовила заглянуть к Линдту и утром, и вечером. Была она, кстати, прехорошенькая — худощавая, с ловким носиком и нежными, чуть припухшими подглазьями. Петербурженка. Линдту она нравилась — особенно ее неожиданно крупные, почти мужские руки, которые, в отличие от самой докторицы, никогда не смущались. Давайте-ка я вас еще раз осмотрю, Лазарь Иосифович. Линдт послушно задира лисподнее, обнажая впалый живот с черной кудрявой струйкой, сбегает к паху, — под умными, ищущими пальцами этой женщины он чувствовал себя особенно горячим и живым. Жаль, что клятая инфлюэнца начисто лишила его обоняния, потому что докторица наверняка славнo пахла. Особенно с мороза. Должно быть, чем-нибудь прохладным, розовым и гладким. Как Марусины губы.

Вот почему он не выздоравливал. Потому что не было Маруси. Она ни разу к нему не зашла. За все две недели болезни. Ни разу.

Это было так странно, что не имело смысла даже искать объяснений — во всяком случае, логических, а нелогические для Линдта просто не существовали. Прежде любая Линдтова хворь — да и, если уж совсем честно, не только его — вызывала у Маруси настоящие спазмы нежности и сострадания. Нет, она не суежилась, не сочувствовала, не заламывала рук, даже не сидела часами у расплавленной жаром постели. Просто быстро входила в комнату, приподнявшись на цыпочки, с хрустом отворяла фрамугу и — что это еще за новости, Лесик? Нечего валяться, усаживайтесь, мы сейчас будем пить бульон со сплетнями, потому что вы и вообразить себе не можете — Курнаков завел себе новую пассию, да какую! Феерическая блондинка, бюст — хоть стол на двадцать две персоны накрывай.

— Аспирантка? — заметно оживая, интересовался Линдт.

— Берите выше — подвальщица! — радовалась Маруся, щедро, как сахар, добавляя в принесенный бульон черный молотый перец и энергично звякая ложечкой. — Ландау галстук на себе готов сожрать от зависти.

— Дау не носит галстуки, Мария Никитична.

— Тогда сандалии, — покладисто соглашалась Маруся. — Свои жуткие стоптанные сандалии. И как он себе такое позволяет, Лесик? Вот вы тоже гений, но тем не менее всегда в отличных начищенных ботинках. И не смотрите на меня глазами раненного навывлет олененка. Лучше пейте, а то

остынет.

Линдт улыбался, глотал огненный от перца и глицериново-жирный бульон и физически чувствовал, как ртуть в градуснике упругими толчками возвращается в норму. Рядом с Марусей он мог выдержать что угодно — ампутацию, пытку, смерть. Но в этот раз, когда он в кои-то веки болел по-настоящему, она отчего-то не пришла. Всего один раз за две — две! — недели позвонила по телефону, хотя прекрасно знала, что он простыл. Поахала, спросила — не нужно ли чего, но как-то мимоходом и таким быстрым веселым голосом, точно Линдт был надоевшим поклонником, от которого надо было поскорее избавиться, чтобы бежать к гостям — в музыку, оживленный гомон и мандариновый аромат праздничной елки.

Линдт позвонил на работу, Чалдонову, но тот только проблеял что-то невнятное сквозь треск и шорох неверной военной связи.

Ну и как можно было выздороветь в таких условиях?

Совершенно никак!

Но к первым числам марта — в Энске это был пик остервенелых морозов — Линдт все-таки взял себя в руки и поправился. Точнее, устал капризничать, притворяться и пугать хорошенькую докторицу симптомами, которые он наугад выуживал из купленного при случае у местного букиниста «Руководства по патологии и терапии болезней носа, рта, глотки, гортани и дыхательного горла». (Dr. Maximilian Bresgen, Санкт-Петербург, Издание журнала Практическая медицина, Казанская, 44, 1897 год. Со многочисленными рисунками в тексте.) Страсть к старым книгам, несмотря на войну, никуда не делась, как никуда не делась любовь к Марусе.

Линдт вообще давно и с грустью понял, что однолюб.

Однако валяться на диване и наливать по самые брови чаем больше было невозможно — в конце концов, Линдт обладал отменным здоровьем, еще во младенчестве пройдя горнило самого настоящего естественного отбора: в Малой Сейдеменухе статистику уважали, потому до года доживал в лучшем случае каждый второй детеныш. Да и работы было полно. И Линдт волевым усилием прекратил свою инфлюэнцу. Маруся этого, судя по всему, не заметила.

Он выждал из принципа еще неделю — и это было тяжело. Очень тяжело. А потом приехал к Чалдоновым сам.

Ни на звонок, ни на стук никто не ответил — и Линдт, решив, что разминулсЯ с Марусей, мимолетно и очень молодо пожалел, что все пропадет зря — и свежая стрижка, и бритвенно отглаженные брюки, и спрятанный под пальто сюрприз: живые цветы в феврале, в сорок втором году. Достать такое в зимнем Энске было невозможно и в мирное время, но

у лаборанток на подоконнике обитала отличная герань, от которой и был отщипнут микроскопический сочный букетик, почти бутоньерка, но это были цветы. Настоящие живые цветы. Теперь умрут совершенно бесславно.

Он стукнул еще раз — в надежде на теорию вероятности, и дверь вдруг послушно распахнулась, обдав гостя коммунальным гамом и вонью, настолько невозможными в Марусином доме, что Линдт решил, что ошибся либо квартирой, либо этажом.

На пороге стоял щуплый противный мальчишка лет девяти, обритый наголо — видимо, в гигиенических целях, которые оказались совершенно напрасными, потому что мальчишка все равно был грязный, точнее — неотмываемо чумазый, и даже женская кофта, в которую он был обряжен, засалилась на локтях и на пузе до зеркального лоска, а ведь это была Марусина кофта — бледно-голубая, из тонкого, упругого джерси, Линдт ее сразу узнал — он, в отличие от миллионов мужчин, прекрасно ориентировался в женских нарядах, в Марусиных — так уж точно. Он бы мог с легкостью перечислить все, во что она была одета с первого дня их знакомства — еще тогда, в ноябре, в восемнадцатом году. Это была Марусина кофточка, и ей нечего было делать на этом ушастом паршивце, который разглядывал гостя наглыми прозрачными глазами отъявленного хулигана. На юге таких называли байстрюками и пороли каждую субботу — просто для профилактики, хотя следовало бы поддавать и по понедельникам тоже.

— Че надо? — поинтересовался мальчишка с ленивой и презрительной гримасой, которая настолько точно копировала кого-то взрослого, опасного, злого, что на какое-то дикое мгновение Линдт вообразил невесть что — арест, высылку, Марусю, бредущую в каторжных ботах по раскисшей дороге, хруст передернутых затворов, прыжки дымящихся от веселой ярости овчарок, наглых плебеистых аборигенов, въезжающих в свитый Марусей чудесный дом.

Линдт почувствовал, как стянуло от ярости сперва мошонку, а потом кожу на скулах и висках, но тут же сам крепко встряхнул себя за шкуру. Вздор какой. Бабские бредни. Я бы знал наверняка — донесли бы мигом, да и кто бы посмел? Тронуть Марусю. Тронуть лично ЕГО! Это было совершенно невозможно. Конечно, там, наверху, полно болванов, ровно столько же, сколько внизу, Линдт, если честно, вообще почти не встречал умных, а уж чтобы просто поговорить, не пригибаясь, не приноравливаясь, наравне — таких и вовсе было наперечет. Но ему никогда не мешали. Никто и никогда не смел ему мешать — это была аксиома, совершенно

ясная и для Линдта, и для любого клинического идиота, такая же ясная, как и разница между самим Линдтом и клиническим идиотом.

Это все понимали.

Линдт был один.

Талантливых было сколько угодно, способных, смысленных, башковитых. Подающих надежды, обещавших вылупиться. Но не гениев. Нет.

Гениев больше не было.

Вообще.

Линдт, живший с этим с самого малолетства, вдруг ощутил огромную сумрачную тень собственного дара, словно что-то отдельное, чудовищно тяжелое, неживое. Оказывается, он не привык, нет. У него просто не было выбора.

— Где Мария Никитична Чалдонова? — жестко, будто у взрослого, спросил он у пацанка, который мигом сник, попятился и, кошельком распутив рот, вдруг заорал на всю квартиру с сочным украинским прононсом:

— Баба Муся! Баба Муся! Тут до вас какой-то дядьку!

И тут откуда-то из глубин квартиры раздался веселый, молодой голос. Марусин.

— Лесик, это вы? Я знаю, что это вы. Ради бога, Павлуша, проводи Лазаря Иосифовича на кухню и прикрой дверь, дует!

Линдт немедленно выпустил свою беззвучно извивающуюся жертву и, как замороженный, пошел на Марусин зов, спотыкаясь о какие-то узлы, деревяшки, черт знает, что тут вообще такое произошло?

На кухне, кудрявой от голубого, почти съедобного облачного пара, стояла Маруся — розовая, растрепанная, мокрая — и мыла в огромном цинковом корыте молчаливого младенца невидимого Линдту пола. Еще один детеныш — на вид постарше — сидел в углу на эмалированной кастрюле, крепко держась за ручки, и с таким сосредоточенным упорством глядел прямо перед собой, что даже Линдту стало совершенно ясно, что процесс идет сложно и требует всестороннего контроля.

— Здравствуйте, Лесик! — радостно сказала Маруся. — Как я рада, что вы наконец-то поправились! Нет-нет, не подходите, вы с холода, а у Катюши слабые легкие.

Линдт, который ни за какие коврижки не согласился бы подойти к этой живой, голой и к тому же человеческой личинке, остановился на пороге и, оглядев банно-прачечный хаос, поинтересовался:

— Вы ограбили детский сад, Мария Никитична?

В этот момент восседавший на кастрюле малолеток угрожающе потемнел, натужился и вдруг победительно заорал. Маруся сунула индифферентной и похожей на голого буддийского божка девочке мочалку и с незнакомым Линдту кудахтаньем кинулась на выручку маленькому засранцу. Приподняв его увесистый зад, она с какой-то сияющей радостью, тоже, кстати, Линдту прежде незнакомой, убедилась, что все в порядке (Линдт, учуяв облачко парной вони, брезгливо сморщил нос) и принялась за гигиеническую возню с газетками и уговорами. Ну, так что же ты плачешь, Колюшка, смотри, какой ты молодец, вот мы сейчас все вытрем, Катюшу покупаем, а потом и тебе попу вымоем. И будет у нас с тобой попа розовая, чистая, душистая, будет она дышать да радоваться...

Колюшка, видимо, прельщенный грядущими метаморфозами с попой, послушно заткнулся, зато заорала забытая Катюша, и не просто заорала, а швырнула мокрую мочалку и заколотилась в корыте, будто припадочная, обдавая все вокруг белесыми, едкими мыльными брызгами.

Маруся распрямилась, огорченно всплеснула руками, не в силах разорваться пополам и отчаянно желая это сделать.

— Лесик, вы не возьмете Катюшу? Полотенце вон там, на стуле!

— Вот уж увольте, — твердо ответил Линдт. — Не возьму и вам не советую. Она явно чокнутая и наверняка заразная. Я вообще не понимаю, что тут происходит? Какие-то идиоты вас уплотнили? Как только Сергей Александрович позволил! Я сейчас же позвоню в...

— Никто нас не уплотнял, — отрезала Маруся. — Это я сама нас уплотнила. Люди в землянках живут, чуть не на улице рожают, а мы тут... А вы тут... — Она смерила Линдта яростным взглядом. — От вас я такого не ожидала! И вообще — Катюша не заразная, а вот вы — очень даже наверняка. Так что убирайтесь, и чтобы я духу вашего тут не видела. Вернетесь, когда научитесь вести себя хорошо.

Линдт усмехнулся — кое-как, самым краем оскаленного рта.

— Боюсь, этого слишком долго придется ждать, Мария Никитична. Но — как вам угодно. Надеюсь, вы наконец-то счастливы. Жаль только, что святость — это единственное, что вам совершенно не к лицу.

Он вышел, трясаясь от злости и унижения и пнув по дороге беззвучную, стремительную, лохматую кошку. Гадость какая, еще и кошку успели завести! А Маруся, молодая, неприбранная, с красными пятнами на щеках, энергично принялась намыливать орущую Катюшу, в общем-то уже совершенно чистую и имеющую самые определенные виды на кашу, которая прела тут же, на плите, укутанная в газеты и байковое одеяло.

— Вот паршивец, — бормотала Маруся, глотая то ли мыльные, то ли

свои собственные слезы, — ты только подумай, какой паршивец, а, Кать! Надо же — заразными нас с тобой обозвать... Да на себя бы посмотрел!

Едва живой букетик герани Маруся нашла в коридоре только пару часов спустя и долго реанимировала его, пока не привела окончательно в чувство и не поселила в стакан, на полку. Повыше, чтобы дети не дотянулись. А на третий день пришел просить прощения и каяться побежденный Линдт.

Фактически это была их первая и совершенно точно единственная ссора.

Засилье детей — разного возраста и разной степени запаршивленности — разъяснилось еще до того, как Линдт с Марусей примирились. Взятый в заложники Чалдонов, сам изрядно потрясенный своим новым семейным положением, немедленно признался Линдту, что Маруся сначала буквально притащила с улицы эвакуированную с двумя детьми, потом еще одну — и вы не поверите, тоже с двумя отпрысками, и, наконец, организовала что-то вроде домашнего детсада, и теперь каждый день собирает со всей улицы кучу малышни и возится с ними, пока мамы обеспечивают фронт всем необходимым. А поскольку заводы неутомимо впахивали в три смены, поголовье детей в квартире Чалдоновых не переводилось никогда, и это просто сумасшедший дом какой-то, Лазарь. Бедлам, Содом и Гоморра. Пеленки, вопли, дерьмо — и все круглые сутки. Но разве Марусю переупрямишь?

Линдт кивнул, впервые в жизни испытывая к Чалдонову что-то вроде сочувствия — оба наконец-то были в одной лодке, оба наконец-то были заброшены и ревновали в унисон, и это давало странное, почти незнакомое Линдту чувство родственного тепла. Шерстяное, душноватое, едва ощутимо приванивающее козлом, оно все-таки было теплом. Линдт даже мимоходом погладил Чалдонова по довоенному, слегка обтрепаншемуся пиджаку и тут же пожалел об этом. Академик, незаслуженно и внезапно лишенный жены, покоя и свежих рубашек, всхлипнул, и Линдту пришлось выслушать дребезжащие и совсем стариковские жалобы по второму разу.

— Не делай никому добра, Лазарь, — сам туда попадешь.

А Маруся действительно было счастлива. То есть она всегда, всю жизнь, даже в самые отчаянные времена, была счастлива — потому что ей повезло такой родиться. Быть счастливой для нее всегда значило — любить, но только теперь, в семьдесят три года, в эвакуацию, в войну, она наконец-то поняла, что любить — не значит делать своим собственным. Любить можно и чужих, то есть — только чужих любить и следует, потому

что только так они становятся своими.

Все началось на той незнакомой заснеженной энской улице, и Маруся потом, смеясь, часто говорила, что для того, чтобы найти то, что искал всю жизнь, вполне достаточно просто заблудиться. Она так и не вспомнила, о чем думала тогда, когда спешила вдоль помертвевших домов, пригибаясь и крепко держась за ниточку надсадного детского плача. Кого рассчитывала найти? Подкидыша? Погибающего человеческого щенка? Очередного нерожденного ребенка — ведь Лесик давно вырос, Господи, да как быстро, как все неистово промелькнуло, вся жизнь — и уже не разглядеть, не вернуть самых интересных подробностей.

Маруся нашла окончательный смысл своей жизни только в пятом по счету переулке. Правда, подкидышей оказалось сразу трое, просто двое молчали — видно, то ли не хотели, то ли не могли больше жаловаться и просить. За жизнь сражался только тряпичный сверток, невидимая, но категорически не желающая умирать кукла, лежащая на коленях женщины, которая очень прямо, словно каменная, сидела на крыльце заколоченного выставшего лабаза. Рядом с женщиной — так же прямо и непреклонно — стоял укутанный драной шалью ребенок, Маруся сразу поняла, что мальчик, — по глазам, по тому, как крепко держал он мать за красную опухшую от холода руку — не защищаясь, нет. Защищая.

— Вы что тут делаете? — спросила Маруся, сама изумляясь глупости своего вопроса, потому что на этой войне все только выживали или погибали, никто не делал ничего другого, и эти двое явно собирались погибнуть, несмотря на все возражения третьего, вот только третий, с головой укутанный в тряпье, несомненно был самым умным — потому что хотел жить. И потому что, почуяв Марусю, тотчас же замолчал, словно выполнил спасительную миссию, словно добился наконец своего.

Маруся сама не помнила, как дотащила всех троих до дома, помнила только, что всю дорогу ужасно, в голос, выла, как не выла никогда в жизни, даже когда хоронила родителей, даже когда поняла, что никогда не сможет иметь детей, даже когда в детстве потеряла стеклянный шарик, огненно-гладкий, такой яркий, что даже немного жидкий изнутри, и у всех, у всех детей были стеклянные шарики, а у нее — не было, потому что мама сказала: не умеешь сбережь, так и поделом.

Наверное, Анеле помнила все подробности этой дороги, но она едва говорила по-русски, да и по природе своей была молчалива до неодоушевленности. Хотя, может, и не по природе, а по судьбе, потому что даже Маруся не могла понять — испытывает ли безответную Анеле ее ветхозаветный Бог или просто забавляется маленькой бессарабской

еврейкой, как забавляются дети, со скуки мучающие живую, страдающую, теплокровную кошку.

Анеле не повезло тысячу раз. Может быть, даже больше. Она родилась в еврейско-молдавском местечке со смешным названием Фалешты в Бессарабии, которую последовательно считали своей все кому не лень, а не лень было практически всем. Правда, родители Анеле были людьми смиренными, зажиточными и не слишком религиозными, так что смышленную девочку отдали учиться в местную гимназию — и по-румынски Анеле говорила прекрасно, легко переходя дома на идиш, это было недолгое время, когда она в принципе говорила, даже болтала и смеялась, но Бог быстро смекнул, что это нехорошо, и родители Анеле умерли один за другим — сперва отца убили за какие-то неведомые грехи молдаване, а потом умерла мать, то ли от болезни, то ли потому, что и правда любила мужа так, что не видела смысла расставаться с ним ни за одним рубежом.

Анеле взял в семью дядя, евреи вообще не бросают своих, ни в радости, ни в горе, их за это и не любят, хотя, по правде сказать, не любят их много за что, список такой длинный, что дебет никогда не сойдется с кредитом, потому что счета выписываются с такой скоростью, что платить, пожалуй, и вовсе не имеет смысла. Все равно выгонят, сожгут или расстреляют. Дядя был кабатчик, держал постоянный двор и трактир, спаивал, жидовская морда, местное население, так что работы было по горло, и Анеле пришлось бросить гимназию, потому что геноцид требовал рабочих рук — надо было подметать, мыть посуду, кормить горластых курей и индюшек, но все равно это была хорошая семья и родная, так что Анеле никогда не ложилась спать голодной, слава богу, каждый ребенок в этом доме был сыт и одет, и достаток был такой, что старое платье не занашивали до дыр, а отдавали старьевщику, чтобы выручить пару лишних бэнуц и пожертвовать их в синагогу.

Трудно сказать, как они умудрились спеться — сирота-старьевщик Янкель и Анеле, племянница кабатчика и бывшая гимназистка, но спелись же, сговорились, не сказав и десятка слов, поняли, что любят друг друга, что пришло время засылать сватов, ибо так велит Тора, и было сказано: «О Господь, Бог господина моего Авраама, сделай, чтобы так случилось сегодня, и сотвори милость господину моему, Аврааму: вот я стою у источника воды, и дочери жителей города идут за водой. Пусть девица, которой я скажу: „Наклони кувшин твой, и я напьюсь“, а она ответит: „Пей, я и верблюдов твоих напою“, окажется суженой служителю Твоему Ицхаку — и так я узнаю, что Ты содейл милость господину моему».

Но у Бога Авраама снова нашлись свои резоны — в конце концов, Его

даже можно понять, это был чистый театр, местечковые Ромео и Джульетта, только без вражды семейств, потому что не было смысла воевать семье самого уважаемого в Фалештах ресторатора с вовсе уж бессемейным старьевщиком, они были из непересекающихся вселенных, из разных каст, да-да, у евреев тоже есть свои касты, свои неприкасаемые, у них все как у людей, потому что евреи — вы не поверите — тоже люди.

Анеле и Янкелю запретили встречаться, хотя они и не встречались — разве что только глазами, как и положено хорошим еврейским молодым людям, потому что нееврейские молодые люди давно вспомнили бы, что живут в самом настоящем двадцатом веке, наплевали бы на дурацкие предрассудки и замшелую родню да и удрали куда-нибудь подальше. Хотя бы в развеселую Одессу или, на худой конец — в сахарно-белый уютный Кишинев. Но Анеле и Янкель остались, и она каждый день в полдень выходила во двор — сполоснуть неподъемные кружки, а он в то же самое время подходил к воротам и смотрел, просто смотрел своими огромными, глупыми, беспомощными, прекрасными глазами. И так — десять лет подряд, каждый божий день, без праздников и выходных — бунт, он ведь тоже бывает разный, так что через десять лет Богу и кабатчику наконец-то наскучило это немое кино, потому что Анеле исполнилось двадцать пять лет и никто не хотел брать в жены эту тощую упрямую дуру, никто — кроме Янкеля.

И им разрешили пожениться.

Они были совсем нищие — ужас, какие они были нищие, и такие же счастливые, потому что Янкель был не только тряпичник, но и недотепа, а Анеле сразу же понесла и в положенный срок родила первенца Исаака, бубеле, капеле мой, век бы не отнимала тебя от груди. Она снова смеялась, Анеле, и снова разговаривала, и это был форменный непорядок, конечно.

Поэтому 28 июня 1940 года в результате мирного разрешения советско-румынского конфликта Бессарабия была возвращена СССР, и уже 2 августа на седьмой сессии Верховного Совета вышел Закон об образовании Молдавской ССР. Это было вовсе не плохо, только уж очень не вовремя, сами посмотрите на даты, арифметика — точная наука, она не знает сантиментов, потому Анеле не успела даже как следует порадоваться тому, что они, голытьба, теперь уважаемые люди именно потому, что голытьба (мир Анеле вообще был полон парадоксов), — как настало 22 июня 1941 года. И двух дней не прошло, как Бессарабию начали бомбить, а Янкеля забрали на фронт, и Анеле, заливаясь слезами, висела у него на шее, стараясь поплотнее прижаться к мужу огромным пузом, она носила под сердцем второго и хотела, чтобы нерожденный малыш тоже мог обнять на

прощанье отца, поцелуй и ты папу, Исаак, поцелуй его покрепче.

Еще через три дня Анеле, одной рукой прижимая к себе сына, другой — обнимая неподъемный живот, загрузилась в теплушку вместе с другими эвакуированными. Советская власть все делала быстро, быстро карала и быстро миловала. Бесчисленная родня — а в местечке все так или иначе друг другу родня — махала отъезжающим с перрона, ох и дура эта Анеле, настоящий шейлем мазаль, и муж у нее такой же, но его хоть силком отправили на войну, а она добровольно дает увезти себя в Сибирь!

Анеле слабо махала в ответ, вагон швыряло и встряхивало на стыках, швыряло и встряхивало младенца у нее в животе, и она даже не плакала, так ей было страшно. А 26 июля того же 1941 года Бессарабию оккупировали румынские войска, которым никто по старой памяти даже не пытался сопротивляться, а даже наоборот — все обрадовались, именно потому румыны последовательно, местечко за местечком, зачистили оскверненную Советами землю. Всех оставшихся в Фалештах евреев согнали к Бельцам и тоже зачистили, расстреляли в яру — неаккуратно, без злобы, впопыхах. И Анелиного дядю-кабатчика, и родителей Янкеля, и кривую Ривку с детьми, и толстого юродивого Шмулика. Триста одиннадцать человек. Всех-всех. Так что никого не осталось.

Между тем Анеле в дороге, где-то под Челябинском, родила крошечную сердитую девочку и снова перестала разговаривать, так что семилетний Исаак, единственный взрослый мужчина в семье, сам назвал сестренку Кларой и сам заботился о ней и о матери, потому что обе были совершенно беспомощные и могли забыть, что надо поесть, вернее, это мама могла забыть, потому что Клара, когда хотела есть, очень здорово кричала. Громко. Он бы и в Энске ни за что не пропал, Исаак, только вот мама сперва забыла, куда им надо идти, а потом и вовсе заблудилась. Хорошо, мама Маша, что вы нас нашли. Он так Марусю называл — мама Маша. А она его — Исочка или Иса. Он был смышленный мальчик, все хватал на лету, только уж очень серьезный. А вот Анеле так и не разговаривала. Да и о чем ей, если честно, было говорить?

Валя появилась у Чалдоновых через несколько дней после Анеле — ее привел Исаак, который, едва освоившись в доме, сразу и добровольно взял на себя массу обязанностей, может, это был вопрос выживания, а может, ему и правда необходимо было что-то делать, быть полезным, иначе исчезал не только стимул, но и смысл существовать. Кларочке нужно было кушать, но молчаливая наголодавшаяся Анеле доилась скверно, молоко получалось жиденькое, голубоватое, горькое даже на вид, возмущенная Клара орала, и отчаявшаяся Маруся отправила Исаака на рынок, только

предварительно отрезала от чалдоновской шубы рукава и смастерила новому сыну отличные чуни. Сносу не будет и тепло, — похвалила она сама себя и поглубже запрятала Исааку в рукавичку деньги. Рукавички были ее, да и деньги, конечно, тоже — это Исаак понимал, он вообще понимал про деньги куда больше любого взрослого, куда больше самой Маруси, бедняки вообще лучшие на свете финансисты, потому что им все время приходится считать, и очень часто — в отрицательных степенях.

Исаак вернулся через час, бережно выложил на стол два ледяных диска — молоко в Энске продавали замороженным, в кружках, стащил, хлюпая сопливым носом, варежки и протянул Марусе комок купюр — сдачу, хотя дадено денег было ровно. Как раз на литр молока. «Я не украл, я сторговался», — тихо, но твердо сказал он, хотя Маруся и не подумала бы подозревать или хотя бы спросить, она сама бы украла, если нужно, Господи, да она убила бы, наверно, не раздумывая, если бы с ней, с ее жизнью, попробовали бы вот так. Но с ее жизнью пробовали совсем по-другому.

Потому она просто взяла у Исаака деньги и убрала в шкатулку, которая прежде стояла на верхней полке буфета, а теперь, видишь, я ставлю вот сюда, а то ты не дотянешься до верха, так что, как пойдешь в следующий раз на рынок, просто возьми сколько нужно. Только тяжелого очень ничего не таскай, хорошо? Почему? — не понял Исаак. И Маруся серьезно объяснила — пупок развяжется, а я назад завязывать не умею.

Они оба засмеялись, и добыча фуража раз и навсегда легла на Исааковы плечи, и он не подкачал: прекрасно знал не только конъюнктуру, но и всех торговков по именам и торговался так азартно и горячо, что даже самые упертые крестьянки сдавались, ошеломленно уступали, потому что вот, сами смотрите, тетя Оля, если молоко по двести семьдесят за литр, а мне нужно полтора литра, то это выйдет, двести семьдесят разделить на два и прибавить еще двести семьдесят, но я ведь еще и картошку беру, да что вы, откуда сто шестьдесят за кило, если вон Агаша отдает за сто пятьдесят и с привесом, но у нее молоко невкусное, а ваше — самое лучшее, нет-нет, я же сказал, что молока нужно полтора литра. Это выходит два с половиной кружка. А вы кладете — три.

По-русски он, кстати, говорил прекрасно, без малейшего анекдотического акцента — уж слишком долго они ехали, да и потом у детей вообще — способности к языкам. Лесик, вы не хотите позаниматься с мальчиком? У него явный талант, я по бумажке считаю медленнее, чем он в уме, уверена, что и вы — тоже. Но Линдт — нет, не хотел, и поговорить с Анеле на идиш тоже не хотел. С чего вы вообще взяли, что я знаю этот

варварский язык, Мария Никитична? Что значит — а как я разговаривал в детстве? В детстве я вообще не разговаривал, если хотите знать, потому что не о чем было, да и не с кем. И не надо совать мне этого вашего Исочку, черт подери, никаких способностей у него нет и быть не может, вырастет — будет лавочником, как ему на роду и написано, вот и все дела.

(Но Линдт ошибался. Исочка вырос и стал майором Советской армии, отличным офицером наведения, потому что на роду ему столько раз было написано умереть, что Бог сам запутался, что делать дальше, и пустил Исочкину жизнь на самотек, и от того она сложилась особенно хорошо и верно.)

Так вот, на четвертый день своей жизни у Чалдоновых Исаак привел с рынка Валю. Вернее, Валя пришла сама, за дочкой, которую крепко держал за руку Исаак, очень серьезный, очень ответственный, очень взрослый.

— Мама Маша, — сказал он, когда Маруся открыла дверь. — Это Эля Туляева, она не верит, что у вас пианино. Говорит, что так не бывает и я вру. Но я же не вру. Можно показать?

Маруся оценивающим взглядом взвесила шестилетнюю девочку в отлично сшитом пальто с большими, словно у взрослой, пуговицами. Лицо у девочки было как у куклы — прелестное, круглое и очень капризное. Ничего хорошего Исааку это не предвещало.

За спиной у детей стояла женщина — измученная, не пойми какого возраста, они все выглядели сорокалетним старухами, с этой войной.

— Вы извините, — сказала она Марусе. — Ради бога, извините, но пусть мальчик покажет, что хочет, потому что иначе она, — женщина мотнула головой в сторону девочки, — ни за что не уймется. Упрямая, хуже некуда. Я бы ее отлупила — да знаю, что бесполезно.

— Да зачем же лупить? — удивилась Маруся. — Проще действительно показать. Заходите, — она посторонилась, пропуская, — и слушать не хочу, никаких «на минуточку» и «я на лестнице подожду» не будет. На лестнице холодно, а на кухне — чай. А пианино на минуточку не бывает. Это всегда долгая история. Так что милости прошу.

Женщина благодарно улыбнулась и неожиданно оказалась очень молодой, лет двадцати трех от силы. Кончик носа у нее был уточкой, а между передними зубами — смешная щербинка, очень милая.

— Меня Валя зовут, — сказала она смущенно. — Валентина Туляева. А это дочка моя, Эльвира. Мы воронежские, эвакуированные. Тут, за речкой, квартируем.

Маруся кивнула, наблюдая, как коленопреклоненный Исаак помогает маленькой гостье разуться. Хрустальное и непривычное имя Эльвира шло

ей чрезвычайно — это было правильное имя, оно рифмовалось и с ярким выпуклым ртом, и с крошечными белесыми бровками и особенно с веселым равнодушием, с которым девочка позволяла Исааку ухаживать за собой. Ну, вот кто учил его быть воспитанным, деликатным, взрослым? Никто. Чалдонов до сих пор не умеет помочь даме управиться с пальто, а этот местечковый мальчишка — пожалуйста, уже раздел свою шестилетнюю куклу, словно букет развернул, — ловко, бережно, нежно, не повредив ни одного лепестка. Откуда в нем это? Непонятно...

Валя поймала Марусин взгляд и одернула на дочке шерстяное платице, тоже, как и пальто, удивительно взрослое, с карманами, пояском, даже, кажется, с кокеткой.

— Это я сама шила, — объяснила она. — Я вообще-то лесной техникум до войны окончила, а шью так, для себя да на детей. У меня ведь сынишка еще — Славик. Ну и немного на продажу, конечно, приходится, а то с продуктами, сами знаете, совсем тяжело. Вам не надо ли чего пошить, кстати? Я недорого беру.

— Разве Исочке что-нибудь, — раздумчиво сказала Маруся. — Я подумаю, ладно?

Исаак снова взял Элю за руку и повел показывать пианино, молчаливо поджидающее в одной из комнат своих прежних хозяев, но Маруся еще не знала, можно ли говорить об этом с новой знакомой или нет. Жизнь покажет.

И она показала — буквально через несколько дней, когда стало ясно, что Элечка уходит от Чалдоновых только на ночь, и что Вале, чтобы забрать дочку, приходится давать по жутким вечерним улицам здоровенный крюк, а главное, у Исаака были такие глаза, когда Элечку уводили...

В общем, вернувшийся с работы Чалдонов обнаружил, что жизнь продемонстрировала ему еще не все свои кунштюки и теперь, слава богу, у него нет больше кабинета, зато имеется кроме Анеле, Исаака и Клары еще трое подкидышей — Валя, Элечка и годовалый Славик, а ведь днем приходило еще по пять-шесть ребятишек зараз, да многие, если матери уходили во вторую и третью смены, оставались ночевать...

Так что, можно считать, что жизнь вполне удалась. Да-с. Удалась.

Но, как ни странно, буквально через несколько дней всем обитателям чалдоновского дома уже казалось, что они жили вместе вечно, — всеобщая беда, эта проклятая война, да когда ж она наконец закончится, словно зацементировала их судьбы, замесила вместе в один мгновенно застывший и супернадежный раствор. Элечка и Исаак как будто всегда играли в чурбачки в захламленном барахлом длинном коридоре, соприкасаясь

головами — ситцевой и войлочной, светлой и темной, масляно-гладкой и волнистой, как руно.

— Ну куда ты суешь, не видишь, что развалится? — возмущалась Элечка, она была ловкая, шустрая и вовсе не злюка и не капризуля, как сперва показалось Марусе, просто очень своенравная. Характерная — дальше нельзя. Чурбачковая башня, повинувшись Элечкиному инженерному чутью, действительно рассыпалась, Исаак виновато вздыхал и глупыми от Элечкиного присутствия руками принимался за возведение вавилонской конструкции заново, его терпения хватило бы и на миллион лет, лишь бы все эти годы рядом с ним сидела на полу эта девочка с сердитыми бесцветными бровками и небогатой косицей, в которую вместо ленты был вплетен лоскут выкрашенного синькой бинта. (Его и хватило на миллион лет — этого терпения, потому что Элечка и Исаак, мои мама и папа, до сих пор вместе, и до сих пор он ведет ее за руку, когда они возвращаются домой, и до сих пор она недовольна тем, как он управляется с хозяйством...)

И кажется, вечно ссорилась с Анеле недовольная Валя — вернее, Анеле вечно лежала у себя, за стенкой, иссохшая, бесплотная, погруженная в оглушительный, беззвучный, одному Богу ведомый и предназначенный монолог, а Валя яростно грохала на кухне дровами, бормоча, что, небось, двоих нарожать сумела, так умей и жопу за ними подтирать, у меня своих столько же, так какого же черта я должна за чужими говно загребать? Эля, а ну тащи сюда малышню, Кларка оборалась уже, жрать хочет, и Славику пора.

Исаак и Элечка появлялись в дверях: он — с ее братом на руках, она — с его сестрой, они не делили ношу на свою и чужую, да и Валя, если честно, тоже, просто была война, и Валя сопротивлялась ей вслух, а Анеле предпочитала сетовать молча.

Маруся внимательно наблюдала, как Валя разливает детям подогретое молоко — и можно было не сомневаться, что ее родной сын не получит и капли больше чужой крикливой девчонки, каждую картошину для Элечки и Исаака она резала пополам, и каждый получал ровно столько же, сколько другой, богом Вали была справедливость, великая справедливость, и архангелами этой справедливости служили ярость, сила и гнев. Не болеет она, Мария Никитична, эта ваша Анеле, так и знайте, просто работать не хочет! А что? Лежи себе и лежи. Муж мой говорит — работать дураки всегда найдутся...

Валя на мгновение туманилась, мысленно отыскивая среди вшивых окопников своего, родненького, но тут же брала себя в руки — Маруся в

жизни не встречала человека, настолько бескомпромиссного, настолько лишенного даже малейших представлений о вере, но тем не менее, если добро и обладало кулаками, то это были Валины кулаки, покрасневшие, расцарапанные, ее проворные руки, умеющие все на свете лучше других — и сшить из солдатских портянок праздничное платье, и напечь круглых толстых пышек из желудей, и наподдать подзатыльник зазевавшемуся ребенку. Беда в том, что такой же ловкости и честности Валя непререкаемо требовала и от всех остальных, а остальные, неотцентрованные, смертные недотепы, знамо дело, не поспевали, все роняли, отказывались видеть задом, да и передом, если честно, не замечали и половину того, что, с точки зрения Вали, должны были бы заметить непременно. Заметить и сделать надлежащие выводы.

Зато она все успевала, Валя, все и за всех — и работать на заводе, и стряпать, и шить, и плести на продажу прелестные «мотивчики» — кружева для тонких сорочек, которые наголодавшиеся без мужей молодухи упрямо продолжали поддевать под уродливое свое, состарившееся вместе с ними тряпье. Валя, к ужасу Маруси, исправно платила за комнату — как она сама говорила, «за постой», но, поняв, что все заплаченное тратится на нее же саму и на ее детей, взялась обшивать и обстирывать все чалдоновское семейство, включая новоприбывших членов, — так что Маруся на старости лет чуть не стала настоящей бездельницей, потому что Исаак занимался снабжением и фуражом, Элечка возилась с малышами, Чалдонов изобретал бомбы и приносил домой карточки и паек, а тихая Анеле молча молилась за всех или, может, молча одна за них за всех страдала.

Но зато вечерами за стол садилось минимум семеро человек — не считая новорожденную Клару, которая мирно сопела тут же, в корзине, все отчитывались, как прошел день, Валя зорко следила, чтобы детям еды доставалось поровну, но Маруся мокрыми от умиления глазами видела, как Исочка тайком подсовывает Эле самые лакомые куски из своей тарелки, и курился над чайником ласковый пар, и Чалдонов, читая газету, машинально гладил по голове наевшегося, разомлевшего, сонного Славика... Это было счастье, счастье, о котором никто не хочет мечтать, потому что никто не верит, что оно такое кухонное и простое.

Иногда приходил в гости Лесик, и тогда счастье становилось совершенным, почти сферическим, и все слушали только Лесика, даже маленькая Клара не ревела в его присутствии, он был такой артистичный, ее старшенький, это было так хорошо, что все собирались вместе, жаль, что он приходил так редко, жаль, что смотрел только на нее, всегда — только на

нее.

Чалдонов вставал из-за стола, передавал увесистого разнеженного Славика Марусе и церемонно приглашал Линдта «в курительную» — то бишь на лестничную клетку, потому что курить в доме, где столько детей... Маруся даже не продолжала, по ее бровям было ясно, что любого несогласного с этим постулатом вышибут вон, как проштрафившегося кота, потому Чалдонов и не пытался возражать, а даже наоборот — трогательно старался находить в своем новом положении всякие преимущества. Нет, Лазарь, теперь я вижу, что в гаремах был немалый толк, вот сам посуди — в доме у меня сейчас пропасть прелестных женщин, так что можно несколько не беспокоиться ни из-за мытья посуды, ни из-за дров, девочки сами все делают, да так ловко!

На самом деле он отчаянно скучал, бедный старик, — и особенно сильно как раз по дровам, которые надо было принести, чтобы Маруся не портила руки, по посуде, которую было так хорошо вытирать полотенцем, стоя рядом с женой, — и это было так славно, что даже чистые тарелки постанывали в его руках от удовольствия. Неужели они с Марусей больше не будут проводить вечера вдвоем — тихо, за уютными разговорами, за воспоминаниями, родными и понятными только для них двоих? «Мы сядем в час и встанем в третьем, я с книгою, ты с вышиваньем, и на рассвете не заметим, как целоваться перестанем», — в такт Чалдонову подумал Линдт и тут же отпустил на волю чужие слова, потому что «Осень» будет написана только в сорок девятом году, потому что только в сорок девятом случится все, о чем он старался не думать с восемнадцати лет, с тысяча девятьсот восемнадцатого года, и о чем не переставал думать ежедневно, закрывая глаза, соскальзывая в сон, нет-нет, этого никогда не будет, никогда, именно этого — никогда... Маруся не умрет, все останется по-прежнему, ныне, и присно, и веки веков — навсегда.

Но сначала настал июль сорок четвертого. Лето в Энске выдалось невиданно жарким, переспелым, ягодным, и чуть ли не ежедневно из города отбывали назад, домой, слава богу, домой, сотни эвакуированных, а оставшиеся вечерами бродили по оживленным принаряженным улицам, словно пьяные — от непривычного тепла, от запаха пыли и близкой победы, от того, что с хлебом стало совсем хорошо и даже лучше, а из каждого распахнутого окна бархатный с исподу легендарный баритон докладывал, что 3 июля в результате победоносного наступления войсками Третьего и Первого Белорусских фронтов был полностью освобожден город Минск, а 13 июля — город Вильнюс. Правительственные раскаты

заглушала «Рита-Рио, Рио-Рита, вновь звучит фокстрот, как хочу, чтоб этот вечер длился целый год!» Под управлением Марека Вебера в знаменитом, прикинувшемся фокстротом пасадобле томились парочки — шерочки с машерочками, конечно, но если зажмурить глаза, так легко было представить себе, что танцуешь не с подружкой, а с единственным, родным, любимым, долгожданным. И они кружились, кружились — постаревшие, измученные, счастливые, не открывая глаз.

Вместо похоронок все чаще приходили письма и телеграммы о том, что встречай четвертого, люблю, целую, тчк — вернее, похоронок не стало меньше, просто добрых вестей раньше не было совсем, а теперь — были, и на счастливиц толпами приходили посмотреть, прикоснуться, будто к чудотворным, мироточащим радостью иконам. Но самое главное — Анеле, Анеле тоже принесли такой листок, и Янкель обещал приехать за ней и детьми в конце июля, тяжелораненый, комиссованный вчистую, но целый, Господи. С руками и ногами. Живой.

Маруся, Валя и очнувшаяся, вынырнувшая из немого небытия Анеле сначала долго голосили над заветным письмом, а потом — так же слаженно и дружно — бросились готовиться к великому дню с пылом, которого не удостаивался ни один императорский триумф. Все в доме, включая детей, драилось и начищалось, Маруся продумывала из пяти хлебов и двух рыбок невиданный обед, а Валя, добыв из потаенных закромов отрез голубого довоенного панбархата, срочно шила Анеле новое платье, в талию, на кокетке, да не вертись, тебе говорю, сердилась она невнятным, полным булавок ртом. Сейчас еще на груди складку заложу. Надо же тебе хоть какой-то перед соорудить, а то скажет твой, что мы тут тебя голодом морили. Валя тихонько всхлинула, и Анеле, у которой вдруг обнаружились громадные, серо-голубые, вполне панбархатные глаза, легко погладила ее по плечу, отчего обе женщины вдруг обнялись и снова разревелись, мысленно прощая друг другу все, в чем обе не были виноваты.

Это были хорошие слезы — последние хорошие слезы на ближайшие много дней.

Маленький Славик умер двадцатого июля. Янкеля ждали двадцать седьмого, Маруся затеяла варенье и логически следующий из этого пирог, потому Элечку с Исааком отправили в лес, заросший по опушке кустами непроходимой, стремительно осыпающейся малины. Трехлетнего Славика им всучили в самый последний момент — чтоб не путался у взрослых под ногами, с наказом смотреть за ним во все глаза, и Элечка с Исааком честно смотрели, потому что Славика удалось сорвать с куста и сунуть в рот одну-

единственную ягоду. Всего одну. Но этого хватило.

Наутро его залихорадило, и Валя, крепко отругавшая ноющего капризничающего сына за то, что все у тебя, олуха, не вовремя и не как у людей, не простила себе этой брани до самой смерти. К вечеру Славику стало совсем худо, а через пять дней Маруся уже стояла на коленях возле больничной койки, механическим жутким движением подтыкая одеяльце под медленно застывающее, как будто пластилиновое тельце. Валя сидела в углу, раскачиваясь, будто дервиш, и на каждом выдохе издавая пронзительный, какой-то чаячий крик — не женский и уж точно не человеческий, но она плакала, Господи, плакала. Ей было легче.

Откуда-то подошла нянечка, немолодая, навидавшаяся, притерпевшаяся, охо-хо-нюшки, будто мало мужиков поубивало, так еще и детей приходится хоронить. Нянечка обняла Марусю за плечи — пойдем, милка, к доктору, надо бумаги подписать, да не тормозишь ты, не замерзнет он больше, сердешный, отмучился, ишь, изглодало его как дизентерией, всего иссушило, бедного. Слово «дизентерия» нянечка произнесла с щеголеватой небрежностью малограмотного человека, который так много лет провел среди умных, образованных людей, что перенял все их внешние, необязательные ужимки.

Пойдем, говорю. Пускай и мамаша с ним попрощается.

Маруся покорно поднялась, не осознавая, что все еще сжимает и разжимает пальцы, пытаясь укрыть Славика, пытаясь хоть ненадолго сохранить его тепло. Он был такой маленький, Господи, такой смешной, с ямками на щеках, такой живой. Даже сквозь кровавую вспененную рвоту и диарею он пах свежим хлебом, топленным розовым молоком и самую малость — цветами, очень знакомыми, такими мелкими, едва лиловатыми, придорожными, но Маруся никак не могла вспомнить их названия, никак не могла вспомнить, никак не могла. Никак.

— Барух Ата Адонай Элоһейну Мелех һа-Олам, Даян һа-Эмет,^[3] — сказал кто-то в палате красивым низким голосом с нездешним придыханием, от которого веяло древними царствами и раскаленным песком. Маруся оглянулась — Анеле, которая все пять дней, что умирал Славик, просидела в углу палаты, исступленно глядя перед собой, вдруг распрямилась, встала и с хрустом разодрала на груди новенькое панбархатное платье, в котором беспечно вертелась перед зеркалом, когда пришла страшная весть. — Барух Ата Адонай Элоһейну Мелех һа-Олам, Даян һа-Эмет, — повторила она твердо, так что и переставшая кричать Валя, и Маруся, и даже нянечка поняли, что Анеле говорит с Богом.

И встал царь Давид.

И разорвал одежды свои.

И не было от этого никому никакого прока.

Незаметно ни для кого вернувшийся Янкель увез семью в первых числах августа. Анеле — все в том же разорванном на груди, враз постаревшем платье, которое можно будет нарочно неровно, уродливо зашить только спустя тридцать дней после похорон, накрепко обняла Марусю, Валю, прикоснулась губами ко лбу зареванной Элочки. Оцепеневший от горя Исаак прижимал к груди подаренную Линдтом готовальню — царский подарок, всю роскошь которого он смог оценить только в военном училище, много, много лет спустя.

— Ты только пиши, Анеле, и ты, Исочка, ради бога, только пишите, — просила Маруся, давясь сухими, мучительными слезами, — и Анеле писала, до самой своей смерти в 1975 году, длинные, обстоятельные, полные невероятных грамматических ошибок письма, которые почтальон до сорок девятого года аккуратно, раз в месяц, приносил к Чалдоновым домой, а потом стал приносить домой к Линдту, и он — так же аккуратно — носил их на кладбище и, не распечатывая, клал у серого каменного Марусиногo креста, в крылатой тени которого уютно примостился и нелепый, непохожий бюст Чалдонова, и могильная плита маленького Славика.

Письма никто не трогал, даже кладбищенские нищие, простодушно собиравшие у чужих могил поминальные пряники и конфеты — отличная, между прочим, закусь, и опять же не грех, а за помин души, поэтому послания Анеле сперва постепенно желтели, потом, напоенные энскими дождями и энским же снегом, разбухали, истаявали, превращаясь в землю, в прах, возвращающийся к праху, и сквозь прах этот прорастала трава, на которую ложились новые письма, и разговор все не прекращался, тихая неслышная беседа двух женщин, из которых одна почти всю жизнь промолчала, а другая — давным-давно умерла.

Через неделю после того, как Янкель увез семью, Вале пришла похоронка — даже не похоронка, так — извещение, мол, без вести пропал ваш Михаил Туляев, героически освобождая чего-то там, — Валя промахнула глазами, но не запомнила, не поняла, передала листок Марусе. Та ахнула, испуганно зажала рот руками.

— Да что же это такое, Валя? Да как же этот так? Ты погоди убиваться, может, напутали? И потом — без вести пропал — это какая-то надежда, разве нет?

— Да чего мне убиваться, Мария Никитична, — просто ответила Валя,

за эти дни раз и навсегда зачерстневшая внутри так, что не отпустило больше никогда — и ни внуки не помогли, ни другой сынок, родившийся от другого мужа, ни сам муж (а ведь любил ее страшно сказать как, только вот и пил так же страшно, но это уж — у кого не бывает). Судьба. Чего убиваться, если уже убитая? Надо собираться да ехать — Воронеж уж год почти как освободили, в газетах пишут — восстанавливается народное хозяйство. И потом — у Миши старики там остались, в эвакуацию не поехали. Думаю, может, живы? Так со мной им все полегче будет, хоть немного — да помогу.

И Маруся сразу все поняла, не стала ни отговаривать, ни приглашать остаться, просто сказала, уже на перроне:

— Ты езжай, не бойся, я за Славиком присмотрю.

Будто он играл тут же, маленький, теплый, настоящий, весь в призрачной вокзальной пыли. И не соврала — к ужасу Чалдонова едва ли не каждый день ходила на кладбище, без надрыва, без слез, без игрушек, таких диких на детских могилах. Просто была рядом как можно чаще, чтобы Славику не было страшно.

Чалдонов, зная характер жены, сочувственно терпел, изо всех сил проклиная себя за тайную бессовестную радость — война стремительно катилась к завершению, детсад в их доме сам собой рассосался, и они с Марусей снова были вместе, снова неразлучны и снова — одни. Но когда научную звездобратию потихоньку стали возвращать назад, в Москву, Маруся категорически отказалась укладываться. «Никуда не поеду, и не надеюсь, — заявила она с тем же юным пылом, с которым в семнадцатом году отказалась от Англии. — Хочешь — можешь ехать. А я останусь тут».

И Чалдонов, разумеется, тоже остался, сходил, кряхтя от унижения, на поклон к академику Скочинскому, который рулил новорожденным Западно-Сибирским филиалом Академии наук СССР, и после аудиенции получил все, что было положено маститому ученому его ранга, который на старости лет рехнулся и добровольно решил дожить дни у черта в жопе, на самом краю географии. «Не ворчи, — пригрозила Маруся. — Вот еще чего вздумал. Мы и тут отлично устроимся, вот увидишь».

Они купили старый дом на деревенской почти окраине Энска — большой, бестолковый, с вечно дымищими печами, но зато без призраков и горьких воспоминаний — своих и чужих. Маруся — в который уж раз — деловито вила гнездо, приходил по вечерам Лазарь Линдт, разумеется, тоже оставшийся в Энске — в Москве только крякнули, но возражать не стали, не рискнули, уж больно серьезной проблемой занимались эти двое. Вернее, конечно, занимался Линдт, но в большой науке — свои правила, тут на

пенсию уходят только вперед ногами, и фамилия учителя, вопреки и логике, и алфавиту, и обычной человеческой совести, всегда стоит рядом с фамилией ученика, но вот уж на это Линдту точно было глубоко наплевать. Он знал цену и себе, и Чалдонову, и большой науке. И было совершенно ясно, кто в итоге стоит больше.

Как-то незаметно закончилась война — Маруся даже праздничный ужин готовить не стала, просто сменила скатерть да выставила на стол лафитничек водки. Три стопки с негромким грустноватым звоном столкнулись над тарелками, Маруся украдкой вытерла глаза, мужчины, крикнув, потянулись за хлебом, и все кончилось — четыре года горя, подумать только — четыре года! И ровно столько же — впереди.

После войны все потекло тихим, уютным чередом. Маруся стряпала, Чалдонов дописывал большую и никому не нужную книгу, с грустью понимая, что пережевывает свои собственные, давным-давно беззубые мысли, а Линдт неожиданно увлекся материальным воплощением своих теоретических представлений о мире. Он полюбил полигонные испытания, долгие командировки, бумаги с печатями, допуски, молчаливых вестовых. Оказалось вдруг, что его безукоризненные бумажные выводы на практике обрастают веселой, пестрой, прямо-таки праздничной вещественностью: бурая степь, деловито окапывающиеся солдатики, тесный КП, пропитанный особым казарменным духом — вкусной помесью перегарного шипра, горячего пота и потертой портупейной кожи, которая сама по себе пахла всеми атрибутами военной жизни — табаком, порохом и той особенной идиотической бодростью, которой полны все, кто готов отдать свою единственную и конкретную жизнь за такое абстрактное и расплывчатое понятие, как родина.

На испытаниях Линдту нравилось все — и каша с тушенкой, огненная до полной потери вкуса и оттого невероятно сытная, и спирт из полулитровой кружки (на закуску полагался офицерский лимон — свежееоблупленная, сахарная на срезе луковица), и сами офицерики — серые лошадки войны, выносливые, дружелюбные, жизнерадостные, все сплошь, как на подбор, красношее сангвиники. Хоть убивать, хоть выпивать — все легко, в охотку, с улыбкой. Линдта они любили — впрочем, на полигонах любили всех «промыслов» (ударение на второе, густое о) — производителей, приезжавших лично проконтролировать, как жахнет любимое детище, потому что под них выделяли дополнительный спирт, каковой и выжирался всеми участниками испытания с неподдельным воодушевлением, и только после этого приступали собственно к жаханью.

Мальчишки — одно слово. Мальчишки и дураки.

Впрочем, «промыслы» бывали разные — кто-то выпендривался, кто-то чурался дощатого уличного сортира, кто-то блевал со ста граммов, как первокурсница, или, ссылаясь на язву, норовил отвертеться от общего праздника вообще. А Линдт не выпендривался, не ломал доктора наук, охотно хохотал за общим столом и никогда не забывал выставить всем несколько с собой привезенных бутылок чего-нибудь редкого и дорогого — вроде армянского конька или совсем уже невиданного трофейного шнапса.

Всеобщая, Впрочем, сильно подогретая на спирту приязнь была так велика, что летехе, который однажды совершенно справедливо и без малейшего желания хоть кого-нибудь оскорбить опознал в Лазаре Линдте «жида», накомыляли по шее. Чтоб, значит, научился в людях разбираться, мудака. Лазарь Линдт о прецеденте так и не узнал — а жаль, он любил забавные ситуации, любил лишний раз убедиться в том, что система распознавания «свой-чужой» — штука внеэтническая и надконфессиональная. Он не раз убеждался, что чувство юмора, нравственный склад личности, манера пить или даже природный запах имели куда более принципиальное значение, чем общее гражданство или даже общий хромосомный набор. Это было логично и правильно. Справедливо. И — по этой логике и по этой справедливости — в мире не было, да и не могло быть одиноких людей. Были только не опознавшие своих и оттого вынужденные мыкаться с чужими.

Отчего-то это грело Линдту сердце.

Война нравилась ему все больше — это было странно особенно, если учесть, что она только что прошла, но никогда не мешает как следует подготовиться к следующей, правда? К тому же было что-то исключительно правдивое в том, что наконец-то он занимался чем-то по-настоящему реальным и находился среди по-настоящему реальных людей. Линдт стал все реже и неохотнее возвращаться, перестал с прежним вдумчивым удовольствием (и с мысленной оглядкой на Марусино мнение) выбирать по утрам сорочки и начищать ботинки. К нему даже привязался бодрый матерок, которым сдабривалась на полигонах любая команда или фраза — так заботливая мать сластит неприятную микстуру, чтобы убедить плаксивое температурное дитя выпить ложечку, милый. Ну, ложечку. Всего одну.

— От тебя даже пахнет теперь как от вахмистра, Лазарь, — удивилась Лара, одна из многих его необременительных любовниц.

— Это как? — лениво поинтересовался Линдт, худой, чресла по-библейски прикрыты скомканной простыней — особенно белой на фоне его смуглоты, почти оливковой, отдающей иной раз даже торжественной

бронзой.

— Известно как. Ремнем и хуем. — Лара поднялась с постели и нашарила круглой розовой рукой сброшенную в половых попыхах тоже розовую сорочку.

Линдт засмеялся. Один Бог знает, как ему было одиноко. Почему его все время признавали своим не те, кого считал своими он сам?

Вторую половину июля и весь август сорок девятого Линдт провел в увлекательнейшей командировке в Семипалатинске — дел с первой советской атомной бомбой было невпроворот. Чалдонов, — по возрасту и иным, совершенно понятным, причинам — оставшийся в Энске, нервничал и ревновал так отчаянно, что даже не пытался этого скрыть.

— Что ты изводишься, — мягко упрекала его Маруся, — тебя бы все равно не взяли. Разве что песком перед бомбой посыпать. Да твоим собственным песком, который из тебя сыплется. И не надо дуться, никакие «ах, вот если бы двадцать лет назад» тут не проходят. Двадцать лет назад у тебя уже был преотличнейший геморрой, которому совершенно нечего делать в окопах. И брось немедленно папиросу — ты минуту назад курил! Авось, без тебя большевики обойдутся! Пойдем лучше — поможешь мне подвязать акониты.

Чалдонов покорно совал в пепельницу сочный, едва начатый окурок и плелся за женой в палисадник, черт-те что — и вот это называется акониты? Я думал, эти, как их, — лилии! Маруся смеялась — лилии в Энске, Сережа! Ты вообще обратил внимание, что мы в Сибири? И планета, скажу уж на всякий случай, — Земля. А то мало ли в каких ты до сих пор пребываешь иллюзиях. Чалдонов недоверчиво качал головой — по поводу Земли он был практически уверен, но вот чтоб акониты... Точно не лилии? Маруся смеялась еще громче, вообще-то, она бы, наверно, смогла и лилии, у нее все цвело, сочной буйной массой выпирало из палисадника, так что прохожие только головами крутили, а соседи завистливо выпрашивали — хоть череночек, Мария Никтична, только, уж пожалуйста, сами посадите — уж больно у вас рука легкая. И Маруся сажала, подвязывала, рыхлила пальцами нищую энскую землю, тихо приговаривала что-то, как будто давала чахлым росткам дополнительные силы.

Ее все любили, абсолютно все — даже цветы.

Двадцать шестого августа она проснулась рано, словно разбуженная внезапным и болезненным тычком — рядом беззвучно, как ребенок, спал Чалдонов, и лицо у него было такое обиженное и родное, что у Маруси от нежности и любви сжалось и вперебой застучало сердце. За окном стояло

влажное предрассветное молоко, было так невероятно тихо, как бывает только утром и только за городом, так что Маруся без малейшего труда услышала, как по крыльцу звонко затопали маленькие босые пятки. Пять лет, как нету Славика, вспомнила она. Пять лет. Уже бы в школу пошел. Дробный детский топоток затих, будто кто-то там, снаружи, стоял у двери, не решаясь постучаться.

«Иди, милый, я скоро», — мысленно пообещала Маруся, и ножки послушались, ушли, и тотчас напористо заголосили разом проснувшиеся птицы, завозился в своей одеяльной одуре Чалдонов, и день, набирая скорость, обороты, гул, покатиł раз и навсегда положенным славным маршрутом — завтрак, молоко, возня с упругим охающим тестом, кладбище, сад, чашка крепкого чая, словно сама собой возникшая у локтя склонившегося над рукописью мужа. Спасибо, милая, что ты — я бы прекрасно сам. Маруся прижалась нежным ртом к его старой, совсем оплешивевшей макушке. Стыдно, столько горя кругом, всю жизнь, а я всю жизнь счастлива. Спасибо, Господи. За эту чашу, за мужа, за то, что не оставил, держал столько лет, как наседка, под своим невыносимым крылом.

Они поужинали вдвоем на скрипучей дощатой терраске, которую Чалдонов все лето собирался утеплить, да так и не поймал мастера трезвым, ты уж сама поговори с ним, Маруся, тебя он послушает, а то время к осени, вон уж, и теперь холодает, нет, и слышать не хочу, не хватает еще, чтобы ты простудилась. Он принес жене пуховый платок, пожилой, переживший вместе с ними столько всего, что почти одушевленный, и Маруся благодарно укуталась, прижалась щекой к плечу мужа, и они еще долго-долго сидели и разговаривали ни о чем, о том, что жалко, что Лесика нету все лето, что пирог в этот раз поднялся куда лучше, чем в прошлый, а все потому, что не надо выдумывать, сказано — два яйца, так и надо класть два, а не четыре, что в сентябре можно будет начинать квасить капусту — ты только подумай, в Москве в сентябре еще в босоножках ходят, а тут — почитай, что зима.

Ты не скучаешь по Москве?

Нет, я с тобой никогда ни о чем не скучаю.

Мохнатые беззвучные бабочки залетали на терраску, привлеченные лакомым светом розового абажура, и с тихим лепестковым стуком падали на скатерть, опаленные, счастливые, потерявшие разум от боли и любви, а разговор все тек, не переставая, уютный, как мурчание кошки, пока наконец не закончился в маленьком самоваре кипятка и лиловатые летние эньские сумерки не сгустились в непроницаемую, прохладную, полную деревенских звуков темноту.

Они на ощупь, чтобы не нарушить возней с электричеством драгоценную прелесть этого вечера, добрались до спальни и легли, обнявшись, как ложились все шестьдесят лет своего супружества, и не было не то что дня — минуты, когда бы Маруся пожалела, что рядом с ней именно этот человек.

— Я люблю тебя, — пробормотал Чалдонов, медленно уходя в сон, открывая какие-то тугие двери, неловко балансируя на пороге полудремы, потому что нельзя было заснуть, не услышав вторую часть заклęcia, отзывая к названному паролю, и Маруся послушно отозвалась:

— Я люблю тебя.

Вот что они слышали друг от друга каждый вечер и каждое утро все шестьдесят лет, с самой своей первой медовой ночи на пароходе «Цесаревич Николай», и каждую ночь так же нежно плескала вода, и плыли по потолку воздушные, кружевные, живые тени...

Чалдонов проснулся среди ночи точно так же, как утром Маруся — будто от толчка, и мгновенно понял, что случилось. Было непроглядно темно, звонко тикал на тумбочке невидимый будильник в ушастой металлической шапочке, рука Чалдонова все так же лежала на груди Маруси, все так же щекой он ощущал бархатистый аромат ее ночной сорочки, но самой Маруси больше не было.

Совсем.

Чалдонов не издал ни звука, не смог, просто до самого утра, пока не начало светать, лежал, боясь шелохнуться, чтобы не побеспокоить жену — маленькую, свернувшуюся в клубочек, все еще теплую, долго-долго теплую, потому что впервые в жизни это он питал ее своим теплом. Он, а не она. И только на рассвете, когда затекшая от напряжения рука начала болеть просто невыносимо, Чалдонов позволил себе пошевелинуться.

— Я люблю тебя, — сказал он тихо. — Я люблю тебя, ты слышишь?

Маруся промолчала, и Чалдонов, уткнувшись лбом в ее неподвижную спину, наконец-то заплакал.

Глава четвертая

Галочка

До семнадцати лет Галина Петровна была роскошно, постыдно, упоительно счастлива. Румяные феи в алых галстуках на молодых расцарапанных шеях сложили у ее колыбели все атрибуты золотого советского детства — яркие, чуточку аляповатые, целлулоидные, как игрушки, которые заботливые родители пускают в плавание по смешной малышовой ванночке, чтобы облегчить ребенку слезоточивые муки гигиенического созревания.

Галочкин папа (Баталов Петр Алексеевич) подвизался в райкоме мелким партийным бесом — потешный пузатый человечек с трогательным пушком на уютном, жирном загривке и длинной ухоженной прядью, прочертившей зеркальную плешь от одного круглого уха до другого. Он был слишком глуп и добродушен, чтобы совершить один, хоть самый немудрящий административный подвиг и пробиться в пылающий стан истинных коммунистических архистратигов. А потому целыми днями терпеливо кис в тесном кабинетике, копя на углу стола кипы бессмысленных бумажек, и ровно в восемнадцать пятнадцать уже садился ужинать дома — переодетый в отглаженную пижамную куртку, безмозглый, розовый, свежий, невинный.

Над тарелкой борща курился красный свекольный парок, и Петр Алексеевич, держа наготове вилку, увенчанную толстым, сочным куском иваси, подносил к мягкому ротику тяжело блеснувшую свинцово-хрустальную стопку. Тягучая от холода водка гылкала внутри его кадыка, и Галочка, переливисто хохоча, требовала: еще, папа, еще! Петр Алексеевич, деликатно обнюхав пряную селедочную плоть, так же гладко и оглушительно заглатывал вторую и, подмигнув довольной дочке, запускал ложку в горячее борщовое нутро. Галочкина мама (Баталова Елизавета Васильевна) с деланой укоризной качала гладко причесанной головой и демонстративно принимала со стола круглый графинчик — третью Петр Алексеевич не пил никогда. И вообще — жили они прекрасно.

Неприметное паразитирование на оплывшем теле великой (и единственной) партии не принесло Петру Алексеевичу ни почестей, ни доблести, ни славы — впрочем, в хозяйстве совершенно и не нужных. Зато он выслужил надежную бронь, сытый паек и приличную квартиру в

кирпичном доме, достаточно просторную, чтобы Галочка полноценно цвела и развивалась в собственной отдельной комнате — с ветвистым столетником на подоконнике, хрупкой этажеркой и карим плюшевым мишкой, который днем терпеливо сидел на кровати, распахнув мягкие игрушечные объятия, а ночью, прижавшись к горячей Галочкиной щеке, легонько дул в ее растрепанные, влажные кудряшки: отгонял тихих, красногубых, бесплотных монстров, что прилетают после полуночи и, стрекоча невидимыми черными крыльями, садятся у изголовья — полакомиться детскими сновидениями, полупрозрачными, радостными, липковатыми, словно пятикопеечные леденцы на палочке, которыми торгуют возле булочных драчливые, многослойные, разноцветные цыганки.

Галочка росла крупной, смышленной девочкой, не баловалась на переменах и носила из школы табели, плотно набитые большими яркими пятерками. Все это вместе (плюс мама, работавшая в соседней школе заведующей по воспитательной части) обеспечивало ей солидный статус первой красавицы класса — должность, до определенного возраста никак не связанная ни с длиной ног, ни с качеством эпидермиса. Но к шестнадцати годам Галочка растрясла смешной щенячий жирок и выправила себе легкую, округлую фигурку — словно выточенную на токарном станке из золотистого, плотного, невиданного сплава. Рыжеватая, с мельчайшей медовой искрой коса (витой львиный кончик которой Галочка вечно покусывала безупречными, совсем не советскими резцами), прозрачные, сизо-серые, грозовые глаза, аккуратный курносый носик и ямки на смуглых, чуть шершавых от солнца и молодости щеках.... У подъезда Баталовых зароились растерянные ушастые мальчишки, мечтающие уже не только о том, как бы половчее скатать у Гальки математику.

К тому же Галочка, с малолетства пицавшая что-то в школьной самодеятельности, одновременно с круглой молодой грудью надышала себе и новый голос: тяжелый, волнующий, страстный, отливающий на самых низких нотах драгоценной, опасной, рубиновой теплотой. Ее срочно вывели в солистки, и когда на отчетнопраздничных концертах она, в тесноватой суконной юбке, наивно обтянувшей великолепные бедра, выходила на сцену и, с детским усердием вытянув шею, принималась страдающим, хриплым контральто выводить идиотские песенки про летящий паровоз и «смело, товарищи, в ногу», в самом политически выверенном зале начиналось совершенно непристойное, прямо-таки кабацкое ликование.

Но истинной Галочкиной коронкой были «Вихри враждебные». Едва

заслышав первые звуки революционного речитатива, на самом дне которого раскатисто перекатывались раскаленные шары решительного Галочкиного «р-р-р», ответственные лица в президиуме мгновенно каменели ширинками и оправлялись от преступного сладостного морока только к концу концерта — пропустив мимо ослепленного, взволнованного сердца и стихотворный монтаж, и матросскую пляску, и гимнастические экзерсисы худеньких пионеров, напружинивших в борьбе за дело Ленина будущие несокрушимые мышцы.

Слушок про перспективную девочку дошелестел до райкома комсомола, и оттуда немедленно позвонил какой-то молодой услужливый олух, желающий в собственных целях полакомить утомленное руководство, — прямо домой позвонил, стоеросовый идиот, со своим предложением, от которого неразумно отказаться. К счастью, звонок принял Галочкин папа, очень кстати бюллетенивший в приятной компании ветхих, взлохмаченных «Огоньков» и крепкого чая с малиной. Внимательно выслушав начинающего комсомольского вожака, Петр Алексеевич обменялся с ним парой фраз, совершенно пустых и невинных для неофита, — этакий пароль, невидимый словесный знак, по которому один тайный агент под прикрытием узнает другого, еще более залегендированного.

Юноша, смекнувший, что неожиданно напоролся на своего (да еще на партийно-райкомовского, да еще на старшего по табели о рангах!), торопливо заблеял что-то невнятное и невежливо бросил вспотевшую трубку, из которой вдруг пахло на него такой жуткой, живой, животной ненавистью, словно не осталось в мире ни партии, ни Страны Советов, ни водки по двадцать пять двадцать. Только адское небо пятого дня творения, праматерик, заросший шуршащими хвощами, да саблезубый самец, опасно ощерившийся над логовом с голым, скользким новорожденным детенышем.

Петр Алексеевич аккуратно вернул телефон на шаткий трехногий столик и несколько минут пустыми от ярости глазами разглядывал прикнопленную к стене «Незнакомку» Крамского — пока не перебрал в уме весь арсенал чудовищных пыток, предназначенных для бесстыжего осквернителя. Когда мерзавец — кастрированный, изуродованный, с переломанными конечностями и наискось разорванным орущим ртом, — корчась, издох в последний раз, Петр Алексеевич пошел на кухню, допил остывший, подернувшийся масляной пленкой чай и сидел там, сгорбившись и выбивая на чистенькой ситцевой скатерти мелкую, горячую дробь, пока сквозь приоткрытую фрамугу не вползли продрогшие энские

сумерки и в прихожей не заскребла ключом вернувшаяся с работы жена.

Галочка, прискакавшая вечером из своего хора, — drobный топоток сброшенных ботишков, круглая мутоновая шубка, контрабандно впущенный в квартиру клуб розового от мороза нарядного воздуха, ма, па, я пришла! — застала родителей все на той же кухне. Оба рядом сидели за столом, тихие, постные, словно на поминках, когда все еще помнят, зачем собрались, и разбухшей от огорчения вдовице в первый раз капают в водку мутненькую, клубящуюся валерьянку. Но сильнее всего Галочку напугала не тишина и не скомканные неведомым горем родительские лица, а кухонный воздух, в котором, несмотря на время ужина, не витали привычные теплые феи домашнего очага, окутанные горячим крахмальным парком закипающей картошки и ароматом булькающего в казане тушеного мяса. В воздухе было стерильно и пусто, как в операционной, выжженной стрекочущей бактерицидной лампой. И только на столе молча стояла тарелка с невиданными в Энске даже летом яблоками — ярко-красными, ненормально глянцевыми, выросшими в далеком, импортном мире, где нет ни гусениц, ни черной гнили, ни зверских морозов, разрывающих стволы измученных, стонущих деревьев.

— Что-то случилось? — не то спросила, не то сказала Галочка, чувствуя, как мягкая незнакомая лапа сжимает сердце и, потискав его в мохнатом кулаке, тянет вниз, к солнечному сплетению — туда, где в красноватых потемках пряталась душа, крошечная, взъерошенная, неясная, как выдох на холодном стекле, но все-таки — живая.

— Галина, — начала Елизавета Васильевна, привычно, по-учительски лязгая голосовыми связками. — Ты уже взрослая девушка, комсомолка...

Галочка непонимающе хлопнула тяжелыми ресницами, и Петр Алексеевич недовольно поморщился.

— Погоди, мать, ты не то говоришь. Вот смотри, доча...

Он взял из тарелки яблоко и, крепко хрустнув челюстями, откусил ему ухоженный бок, брызнув на жену и дочку мгновенно вскипевшим, душистым соком. Потом положил яблоко на скатерть — изуродованное, обслюнявленное, обнажившее истерзанное зеленовато-золотое нутро, — и тут же пристроил рядом второе — целое, лаковое, алое, послушно бросившее на стол округлый, розовый блик.

— Ты какое выберешь, доча?

Галочка, силясь угадать, собрала на гладком лбу мягкую складку (след будущей взрослой морщины, намек на грядущую, смертную, нерадостную жизнь), потянулась машинально к целому яблоку и вдруг поняла, ахнула и, некрасиво, в голос, заплакав, бросилась в свою комнату — к мишке,

постаревшему, потерявшему в схватках с демонами одно мягкое ухо, но все еще серьезному, все еще готовому ради Галочки на все.

Минут через двадцать в бывшую детскую осторожно пробрался тихий запах готовящихся пельменей, крошечных, самолепных, до стеклянной твердости продрогших в морозилке, а теперь медленно, в кипящих муках, обретающих тестяную, полупрозрачную, нафаршированную плоть. Вслед за пельменями в комнату, по-зимнему синюю, практически ночную, заглянула Елизавета Васильевна, присела к Галочке, ничком упавшей на кровать, погладила теплую девичью спину, все еще вздрагивающую от глубинных тектонических рыданий. Пойдем ужинать, Галюня.

Галочка, всем лицом уткнувшись в спасительный мишкин живот, отрицательно покрутила головой и еще один раз — для верности — швырнула носом. Пойдем, Галюня, папа заждался уже, — ласково повторила Елизавета Васильевна. И Галочка, словно намагниченная этой лаской, переползла с мокрого мишкиного живота на материны колени и заплакала снова, но на этот раз легчайшими, хрустальными, девичьими слезами, от которых не краснеет нос и не распухают веки, а наоборот — волшебным преображается все лицо, зажигаясь изнутри тем грустноватым, неярким, удивительно женственным светом, ради которого, собственно, и живут мужчины всего мира, рабски сходя с ума, теряя состояния и развязывая столетние войны.

Елизавета Васильевна поцеловала Галочку в круглую, доверчивую макушку, природный аромат которой не могло испортить ни семейное мыло, ни звериный запах оренбургского пухового платка, который Галочка зимой носила вместо шапки, и обе — мать и дочь — отправились на кухню совершенно примиренные с миром и друг с другом. И долго-долго, едва ли не до полуночи, на кухне горела лампа, шипел сквозь зубы в который раз закипающий чайник да тихо дзынькали розетки, до краев наполненные засахаренным малиновым вареньем. А Баталовы все говорили, все обсуждали, перебивая друг друга и радуясь подступившему грядущему, которое крупными, полупрозрачными, воздушными клубами висело тут же, прямо над столом, наивно притворяясь крепким, домашним, чайным паром.

И только мишка, разведя толстые лапы, так и лежал в темной детской совсем один, прислушиваясь к неразборчивому гулу кухонного разговора и чувствуя, как его неторопливо, капля за каплей, покидает Галочкино детство. Слезы на мягком животе потихоньку высыхали, оставляя на стареньком залоснившемся плюше едва заметные солоноватые разводы, но когда ближе к полуночи Галочка, счастливая, взбудораженная, (но с

тщательно вычищенными на ночь зубами — порядок и гигиена превыше всего!), пришла в комнату и, мурча, принялась раздеваться, мишка был еще жив.

Он дотянул почти до утра — все ждал, собирая последние силы, не прилетят ли демоны. Готовился дать свой последний бой. Но они так и не прилетели, и мишка долго-долго лежал на спине, боясь шелохнуться, чтобы не потревожить Галочкину руку, невыносимо тяжелую, огненную, немного влажную с изнанки. Родную. А потом два прямоугольных потолка в его стекленеющих глазах начали медленно светлеть, и, когда Галочка, ворочаясь, беспокойным локтем столкнула мишку на пол, он еще сумел издать короткий, странный, почти рыдающий, совсем человеческий звук.

В семь утра, когда на тумбочке в голос закричал будильник, все было кончено. «Галюня, ты встала?» — спросила из-за двери Елизавета Васильевна, и Галочка, скинув с кровати молодые гладкие ноги, натолкнулась пяткой на неподвижное, набитое опилками тельце. «Встала, встала!» — откликнулась она бархатным спросонья, радостным голосом и, переступив через мертвого мишку, вприпрыжку отправилась умываться.

После большого яблочного совета с хоровым пением (и прочим школьно-общественным мельтешением) было единогласно покончено — и в святом семействе снова воцарился мир. Тем более что забот хватало и без отчетных концертов и враждебных вихрей — ведь весной Галочке предстояло получить аттестат зрелости и, скинув хитиновые стяжки и скорлупки, преобразиться из куколки в великолепную абитуриентку. Все высшие учебные заведения города Энска были по очереди возложены на невидимые весы. На одной их чаше покоилось светлое будущее с крепкой, добела отмытой карьерной лестницей, авансом пятого, получкой двадцатого, и — о венец творения! — с гарантированной месткомовской путевкой в летние (летние!) Гагры. На другой чаше сидела сама Галочка, болтая легкими ножками, которые не могли изуродовать даже простецкие чулки в хлопчатобумажный рубчик. Равновесное же острие весов вонзалось в само родительское сердце. Ах, что были страдания хрестоматийного Данко по сравнению с кровопролитными муками Баталовых, выводящих свое единственное чадо навстречу будущему счастью?

Галочка заикнулась было про стародевическо-педагогический, но Елизавета Васильевна только негодуя всплеснула чуть потрепанными в учительских боях, но все еще вполне лебедиными крыльями. Портить себе нервы ради чужих идиотов? Не позволю! Петр Алексеевич

проконсультировался со старшими товарищами — на предмет серьезных перспектив, — и Галочку решено было отдать в местный политехнический, но не на оборонные специальности (просидит всю жизнь в «почтовом ящике» и даже в Болгарию не съездит!), а на мирный факультет водоснабжения и канализации. Потому что уж чего-чего, а говна, доча, в стране столько, что на две твоих жизни хватит. А ты не морщись, работа на самом деле чистенькая, будешь себе сидеть в проектно-институте в белом халатике, или вон Сан Саныч на водоканал тебя к себе возьмет. Обещал. Ты только, голуба, поступи, а дальше все само пойдет, по накатанной.

Галочка мечтательно смежала сизокрылые вежды и сквозь тяжелые кончики перепутавшихся ресниц видела мреющую, миражную комнату с гигантским окном, наполненным до самого горизонта сияющей водной гладью, в которой — микроскопически яркой точкой — таял притворившийся белым халатиком одинокий и необыкновенно обаятельный парус. Удивительные люди, мужественные и честные, с вдохновенно гладкими плакатными лбами, склонялись над чертежными досками, которые, честно говоря, в Галочкиных фантазиях больше походили на мольберты художников, но это было неважно, неважно, потому что в комнату вдруг — ах! — врвался самый главный, самый высоколобый, самый вдохновенный. Адский излом бровей юного Стриженова, подпрыгивающая походка пламенного и со второго раза расстрелянного революционера Артура Ривареса по прозвищу Овод... Тут Галочкины неясные устремления окончательно переезжали в область чистой кинематографии: Крючков, Меркурьев, Кадочников, — Галочка не пропускала ни одной премьеры, и нежный жар, с которым она обожала каждую серую экранную тень, в самом ближайшем будущем грозил обернуться живой, человеческой любовью.

Конечно, пока Галочка видела эту любовь в абстрактных, почти кубических символах молоденькой девственницы и одновременно — советской комсомолки: шепот, робкое дыхание, пылкие взоры, совместный созидательный труд и бесполое и оттого особенно торжественное слияние двух высокоморальных личностей строителей коммунизма. Но нижней своей, животной, женской сутью Галочка была уже совершенно готова и к влажным битвам на стонущей пружинной койке, и к азартным ссорам из-за полочки, и к счастливым ужасам многократного живорождения — словом, ко всему тому, что и делает женщин всех эпох и социальных систем по-настоящему бессмертными.

Однако на пути к полноценной ячейке общества и счастливому будущему угрюмым рядом стояли математика, физика и русский —

нахохленные, мрачные, словно шпана из продуваемой подворотни, готовая со скуки пырнуть финкой и почтенного отца семейства в смушковом пирожке, и своего же полупризорного брата, случайно забредшего из вражеского, неподконтрольного района. И если с русским и математикой были ничтожные шансы договориться, надавить на жалость, выкрутиться, в крайнем случае — ускользнуть, проскочить соседним переулком, собрав дрожащей спиной паутину и побелку с ближайших домов, то физика была нема, непреклонна, непонятна и оттого — особенно ужасна.

Как только Баталовы уяснили всю чудовищную степень Галочкиной наивности в области силы тяжести и вращения тел, по физике был немедленно нанят репетитор — аспирант из Энского университета, знаменитого, знатного, дерзко и успешно соперничавшего с лучшими столичными вузами. Разумеется, об университете Баталовы и не мечтали, довольствуясь ласковым присловьем всех недалеких, осторожных людей про курочку, которая по зернышку клюет, — тем более что Галочка, ставшая от предвыпускных и абитуриентских хлопот еще прелестнее, и впрямь напоминала курочку — нежной бессмысленной суетливостью и особенно быстрым движением, которым она наклоняла над учебником хорошенькую (с шелковым рыжеватым отливом) головку.

Аспирант, долговязый парень с трагическими глазами изголодавшегося иудейского демона, приходил к Баталовым два раза в неделю — по понедельникам и четвергам и (под незримым присмотром царящей на кухне Елизаветы Васильевны) натаскивал будущую инженершу на грядущие канализационные подвиги. Елизавета Васильевна опасалась, что между учителем и ученицей может некстати вспыхнуть непредвиденная страсть, и то и дело заглядывала в комнату Галочки под вымышленными и нелепыми предлогами. Впрочем, беспокоилась Елизавета Васильевна напрасно — аспирант презирал бедную Галочку так, что дело не спасали ни десять дореформенных рублей, причитающихся за каждый час их совместных академических мучений, ни круглая грудь, которой ученица покорно наваливалась на край письменного стола, пытаясь хоть таким — физическим — усилием заставить непокорный закон Гука сдвинуться с мертвой точки.

К тому же от присутствия молодого, едва знакомого мужчины Галочка совсем терялась, забывая даже то, что честно, вслух, зубрила в школе. Аспирант хватался за голову, мерил циркульными злыми шагами детскую комнатку, которая давно жала аппетитно налившейся Галочке и в проймах, и в груди. Ну, как вы не можете понять? Это же совершенно элементарно! Величина абсолютной деформации пропорциональна величине

деформирующей силы с коэффициентом пропорциональности, равным жесткости деформируемого образца! Галочка торопливо записывала бессмысленные, грозные слова, тайком, краешком глаза, рассматривая крупные руки своего неистового педагога, торчавшие из свитера первобытной домашней вязки. Свитер, несомненно, нуждался в срочной стирке, но жилы, вздувавшиеся на сильных мужских предплечьях, отчего-то мешали Галочке не то что сосредоточиться — как следует вздохнуть. Она беспокойно теребила у горла душную байковую кофточку, то и дело вскидывая на аспиранта умоляющие, огромные, мокрые от усердия ресницы. Аспирант в отчаянии хватался за голову, которую тоже не мешало бы как следует вымыть, и до треска затягивался «Беломором» — курил он отчаянно, как приговоренный, и вынимал папиросу из закушенного рта, только когда картонная гильза насквозь пропитывалась горькой слюной. Пальцы у него были в желтых табачных пятнах, и это тоже волновало Галочку чрезвычайно.

Чудо закончилось в один миг. Елизавета Васильевна, в очередной раз одарив молодого учителя червонцем и кислой улыбкой, закрыла за ним дверь и немедленно велела Галочке проветрить квартиру, потому что, черт знает что, ведь, кажется, в советское время живет, образование высшее получил, а воняет, как бродячий зверинец. Галочка брезгливо передернулась, хрустнула тугой форточкой и спрыгнула с табуретки совершенно исцелившейся. Аспирант просто перестал существовать для нее — сначала как представитель тревожного противоположного пола, а потом и вовсе — как человек.

Убедившись, что Галочка накрепко, как бурсак, выучила учебник физики наизусть, аспирант с облегчением вернулся в свой университет и еще лет сорок радовал коллег рассказами о феерической дуре, не способной отличить вес тела от его же массы. А Галочка... А Галочка уже через день бессердечно позабыла и эмвэ-квадрат-на-два, и непростое имя своего репетитора (Герман Кириллович), и те сложные, смутные чувства, которые она к нему испытывала.

Она действительно была готова — если не к поступлению, то уж совершенно точно — к любви.

Трудно сказать, чем именно прогневила Создателя чета Баталовых, но на свой унитазный факультет Галочка не поступила. Не помогло ничего — решительно ничего. Все оказалось напрасным: и иезуитски-угодливые звонки Баталова-старшего, переворошившего все свои немалые связи, и нравственные усилия Елизаветы Васильевны, которая, ошалев от волнения, мешала мистическое с педагогическим и то будила сонную дочку на

рассвете, чтобы еще раз прогнать ее по билетам, то часами стояла на коленях в полуночном санузле, вознося мучительные и бессловесные молитвы пыльной вентиляционной решетке. Не спасло даже то, что Галочка была очень неплохо подготовлена — аспирант, жестоко школивший ее несколько месяцев подряд, добился результатов почти невиданных, но совершенно цирковых. Так ничего и не понявшая в физике Галочка тем не менее быстро, ловко и совершенно бездумно решала любую предложенную школьной программой задачу, словно заяц из уголка Дурова, который с одинаковым механическим усердием выбивает положенную дробь хоть по игрушечному барабану, хоть по перевернутому ведру, хоть по последнему тому «Войны и мира».

Предусмотрено было, кажется, все. На вступительные экзамены Галочка ходила в самом скромном из своих скромных советских платьиц, спрятав под рябенький ситчик малейший намек на плотское существование — само воплощение усердной и деятельной невинности. Гладко свернувшаяся на затылке коса (голову накануне экзамена не мыть!), даже легчайшие кудряшки на висках и у лба безжалостно подколоты грубыми черными невидимками, опущенные ресницы, потные от страха ладони, под левой пяткой — круглый, желтый и тоже потный пятак, подложенный на счастье. Но вымоленного на пятак счастья оказалось недостаточно.

Не срезавшись ни на одном предмете, Галочка, неброским, но ровным аллюром прошедшая все экзамены, тем не менее не добрала положенного балла — подумайте, всего одного! Не обнаружив свою фамилию в списке поступивших (может, опечатались? Да не пихайтесь вы так, говорю!), она впервые в жизни испытала сложное и унижительное чувство собственной неполноценности, знакомое разве что профессиональным спортсменам, которых иной раз отделяет от рекорда какой-то жалкий сантиметр, обращающий в прах бесконечные мучительные тренировки. И, что было большее и обиднее всего, дело было не в недостаточном усердии, а в том, что конечности противника были элементарно длиннее на тот самый злосчастный сантиметр, данный к тому же ни за что, просто так, совершенно даром. Подарок от Бога. Божий дар. Самая жестокая и несправедливая вещь на свете.

Баталовы были в отчаянии, совершенно несоразмерном вызвавшей его причине — в конце концов, Галочка не заболела, не умерла, не принесла в незамужнем подоле. Ей даже в армии не надо было служить — так что потерянный год не мог считаться потерянным даже теоретически. Тем не менее Петра Алексеевича прихватил самый настоящий стенокардический приступ, с аритмией, ледяным потом и смертным ужасом, который отчего-

то напрямую связан с самой легкой сердечной болью — будто душа действительно живет где-то в районе аорты. Елизавета Васильевна, заплаканная, опухшая, проводила врачей скорой помощи до двери, всхлипывающая Галочка сидела на краю постели и держала свежееуколотого отца за руку, будто ей снова было пять лет, только теперь выпустить папину руку было еще страшнее. Ничего, дочушка, не плакай, все обойдется, шептал Петр Алексеевич, сам готовый зареветь от сладкой, баюкающей жалости к себе, — папка что-нибудь придумает, вот увидишь. Галочка кивала и верила, отец никогда ее не обманывал, это были последние месяцы, когда они были вместе, когда они были семья, когда они просто — были.

Спустя пятнадцать лет изглоданный раком прямой кишки пенсионер Баталов умирал в огромном и скучном онкологическом институте совершенно один — Елизаветы Васильевны не стало годом раньше. Может, они и не были идеальной парой, но друг без друга обойтись не смогли ни в этой жизни, ни, получается, в той. Напрасно Петр Алексеевич хватал за рукава неспешных и равнодушных, как языческие боги, советских медработников — дочушку мою позовите, сестрички, умоляю, Галочку мою, мне бы только попрощаться. Сестрички принимали в карманы жалкие баталовские рубли, согласно кивали и разве что лишний раз меняли докучному деду из третьей палаты постельное белье. Охотников звонить дочке Галочке не находилось — заведующего отделением, почтенного упитанного проктолога, она покрыла по телефону таким ледяным матом, что бедного профессора отпаивали в ординаторской спиртом с чаем пополам. И запомни — нет у меня никакого отца, и никогда не было. А еще раз позвонишь — заживо сгною, старый хрен. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?

Проктолог понимал, и все понимали, потому Баталов умер в своей палате в тихих и страшных муках — и в тихом и страшном одиночестве. Тело никто, разумеется, не забрал, так что смертную плоть бывшего инструктора райкома партии изрезали в лоскуты и пустили на препараты — на радость молоденьким и пытливым студентикам — медицинским эмбрионам, мечтающим победить рак, инфаркт и подарить человечеству здоровое, бодрое, коммунистическое бессмертие.

Бог знает, куда при этом делась душа Петра Алексеевича, может быть, скуля, примостилась в уголке огромной квартиры дочери, чтобы изредка, глубокой ночью, подбираться к ее постели и заглядывать в любимое, безмятежное лицо. Она всегда была хорошенькой, Галочка, а в свои тридцать два года стала настоящей красавицей — чуточку сонной, крупной,

великолепной. Они поздно ее родили, Галочку, единственную дочку, Петру Алексеевичу тоже было как раз тридцать два, когда он забирал из роддома жену, прижимающую к груди тесно спеленутый драгоценный сверток. И Елизавете Васильевне было тридцать два, пожилая первородка, намучались с ней в родах — страшно сказать. Слава богу, с Галочкой ничего не случилось. Спи, дочушка, спи, моя милая. Спи. Папка что-нибудь придумает, вот увидишь.

«Опять на кухне соль сама собой просыпалась, — жаловалась домработница поутру, ловко шурудя бесшумной половой щеткой. — Говорю вам — точно у нас домовый завелся. Надо бы святой водицы принести да покропить». «Какой домовый, дура безрукая, — лениво отзывалась Галина Петровна, осторожно, по-детски, пробуя губами кофе — не горячо ли. — А тарелку кузнецовскую на той неделе тоже домовый разбил?» Домработница обиженно замолкала, стерва была Галина Петровна, что и говорить, стерва и сука, но платила хорошо. Все говорят — родители у нее померли, а она не то что слезинки не пролила — на похороны даже не сходила. Не сердце — каменюка. Галина Петровна отодвигала чашку, морщилась, уходила в спальню, трогала теплыми пальцами красивое лицо, легонько вбивала в кожу нежный, тающий крем. Никакой вины за собой она не знала и не хотела знать. Никто бы не простил родителям на ее месте. Никто и никогда.

По счастью, Баталовы довольно быстро справились с позорным дочкиным провалом. Выйдя с больничного, Петр Алексеевич вновь обзвонил всех, кого нужно, и, выслушав и высказав тонну ненужной словесной шелухи — ты подумай, дорогой, всего один балл! — добился того, чтобы Галочку в политех все-таки приняли. Не студенткой, конечно, а лаборанткой на кафедру химии — причем на нужный факультет вожделенного водоснабжения и канализации. Поработаешь хорошенько, Галюня, освоишься, будешь всем своя — и на тот год уже непременно поступишь. Только знай, кому угодить, без толку время не трать... Елизавета Васильевна поправила дочке белый, отдающий недавней школой воротничок. Обе нервничали, первый рабочий день — это вам не шутки, Галочка даже позавтракать толком не смогла, так что кружевные по краям, румяные блинцы так и остались на столе холодеющей стопкой, зря мать встала на час раньше и крутилась у плиты сразу над двумя чугунными сковородами. Ну, хоть чайку попей, Галюня. Не могу, мам, опоздаю. Галочка быстро чмокнула Елизавету Васильевну в щеку и, раздув плиссированную юбку, убежала.

Был не по-энски теплый август, а к октябрю Галочка уже была на кафедре настолько своя, что позволяла себе покрикивать на старшекурсников, быстро оценивших все гладкие достоинства новенькой лаборантки. Иди сам в свое кино, Светлов, опять я после вашей группы трех колб не досчиталась, и не вороти рожу, будто я не знаю, что вы в общаге самогонку изобретаете. Вот смотри, нажалуюсь Николаю Ивановичу! Светлов, униженный незаслуженным отказом (и заслуженным подозрением), уходил, унося с собой посрамленную репутацию опытного сердцееда. Галочка невнимательно смотрела ему вслед, и губы ее — теплые, гладкие, яркие, как барбарисные леденцы, — все еще хранили форму чудесного имени. Николай Иванович. Николенька. Колюшка. Коша. Галочка вздыхала от полноты счастья — и по унылым политеховским коридорам проносился нежный яблочный ветерок.

Она была влюблена — наконец-то.

Наконец-то счастлива.

И было ее великому счастью отпущено четыре месяца и три дня.

Николай Иванович Машков был всего-навсего долговязым и застенчивым ассистентом кафедры химии — что по табели о рангах, честно говоря, стояло ненамного выше самой Галочки Баталовой, которой доверяли только готовить к занятиям реактивы да перемывать за студентами грязную лабораторную посуду. Но Галочке Машков казался богом — бесконечно взрослым (его двадцать пять против ее семнадцати) и бесконечно умным — Николай Иванович вел практические занятия, а иногда даже подменял на лекциях своего научного руководителя, жирного, страдающего от одышки профессора Лещинского, и студенты, эти горлопаны, слушали Машкова внимательно и с интересом. Галочка знала это совершенно точно, потому что ревниво следила за происходящим в замочную скважину. И ничего не стыдно, а очень даже можно, если по делу, вот!

А еще Николай Иванович был необыкновенно красивый, просто невероятно — яркоглазый, златоволосый, улыбчивый, он казался Галочке каким-то праздничным Лелем, воплощением сразу всех русских народных сказок, под которые она засыпала в детстве, окруженная смутным хороводом леших, змеев горынычей, работающих Василис и прекрасных Иванов-царевичей. Именно царевичей, ничуть не меньше.

На самом деле никакие царевичи в Машкове даже не ночевали — и то, что влюбленные Галочкины глаза принимали за золото и лазурь, в действительности было банальной среднерусской русостью, отдающей

иной раз и вовсе в мышиную серость. Николай Машков происходил из семейства скучнейших мастеровых, носил дешевые, вечно мятые костюмы, следы от юношеских угрей на впалых щеках и обещал лет через пять начать лысеть, а через десять — стать наконец доцентом. Но Галочке даже сальный отблеск на его носу казался божественным знаком, символом высшей и тайной власти, которую Машков так быстро и чудесно приобрел над ее неопытным, невооруженным сердцем. Галочка смущенно улыбалась, закручивая кончик косы вокруг тонкого пальца, и Машков улыбался в ответ — он умел чудесно улыбаться, правда, просто чудесно — широко, радостно, немного хулигански, будто десятилетний мальчишка, и зубы у него были белые-белые, а передний — чуть-чуть набекрень, и этот смешной, немножко детский зубок Галочка любила особенно сильно.

Они и двадцати фраз не сказали друг другу не по делу, но, конечно, Машков тоже ее любил. Галочка это не просто знала — ощущала, как ощущают, закрыв глаза на пляже, ласковый, шелковый напор невидимого солнца. Да что там солнце, Галочка, расставляя в шкафу свой химический инвентарь, не оборачиваясь, чувствовала, что на кафедру вошел Машков: просто воздух вокруг разом становился другим — хрупким, дрожащим от хрустальной сияющей нежности.

Сперва они просто обменивались улыбками — осторожно, издалека, едва-едва касаясь. Потом Машков как-то помог Галочке собрать рассыпавшиеся книги (она не меньше часа репетировала дома легчайший жест, едва заметное движение бедра, отправлявшее на пол сразу стопку свехустойчивых на вид талмудов), потом задержался на лишние полчаса после лабораторной — на те самые полчаса, что Галочка приводила в порядок столы и реторты. И как-то естественно было предположить, что он, такой взрослый и сильный, предложит ей, такой юной и беззащитной, пройтись вместе до автобусной остановки — да какая разница, до какой?

Это было чудеснейшее из свиданий — еще бы, ведь сразу два ангела-хранителя буквально сбились с крыл, стараясь, чтобы все — решительно все было устроено правильно и хорошо. Автобусы волшебным образом исчезли с пустых и сонных энских улиц, осенний вечер похрустывал от легчайшего морозца, будто сложенный вчетверо лист голубоватой гладкой веленовой бумаги, Галочка улыбалась Машкову сквозь ресницы, сквозь голые ветки, сквозь лучистые фонари. Нет уж, позвольте, я сам понесу ваш портфель, нет и нет — девушкам неправильно носить такие тяжести. У Машкова были красноватые, обветренные, шершавые пальцы. Всего одна секунда, одно прикосновение, и отвоеванный портфель — такой игрушечный в его руках — снова поплыл над асфальтом, и даже

заледевшие харчки на тротуаре казались полудрагоценными — лунный опал, зеленоватый оникс, туберкулезно-бурый гематит. Машков всю дорогу так самозабвенно токовал, что сам едва не запутался в многословном монологе из своей научной жизни, в котором Галочка не поняла и половину, но... Но как она отзывчиво молчала, как вовремя поправляла выбившуюся прядку, каким рыжеватым нежным свечением была налита до краев!

А вот и мой дом, Николай Иванович. Спасибо, что проводили. Машков осекся, запоминая три подъезда и пять этажей, которые отныне должны были стать центром его мироздания. Так скоро! В смысле — очень приятно, пробормотал он. Галочка снова улыбнулась и отобрала у Машкова портфель. В подъезде она торопливо достала из кармана зеркальце и с удовольствием убедилась, что морозец был так милосерден, что нащипал только ее щеки, пощадив нос — совсем-совсем не красный. Губы были нежные, не лохматились, а подлый прыщик на лбу очень удачно прикрывала беретка. Галочка спрятала зеркальце, довольно хихикнула и быстро побежала по лестнице — наверх, наверх, наверх.

На следующий день Машков снова проводил Галочку, и через следующий, и на той неделе — опять. Они каждый раз, не сговариваясь, находили новый маршрут, все запутаннее и сложнее, все дальше убредая от конечной точки назначения — будто бросали на карту Энска воздушные кружевные, невидимые петли. Пятнадцать минут неспешного хода превратились сначала в полчаса, а потом и в час — редкие энские фонари загорались один за другим, дрожащим пунктиром отмечая эту блаженную ежевечернюю прогулку. Машков похудел от непривычных пешеходных усилий и на занятиях то и дело давал мальчишеского счастливого петуха. А Галочка... Галочка сияла таким наивным полуденным светом, что на нее, как на новобрачную, было даже как-то неловко смотреть.

Вездесущие кафедральные тетки зашептались было про возмутительный роман и недопустимые отношения, но сами быстро прикусили завистливые жала. Ничего возмутительного и недопустимого не было в том, как эти двое смотрели друг на друга, мало того, совершенно ясно было, что дело идет к свадьбе, к законному, так сказать, социалистическому браку, и мешать молодым, ополоумевшим от любви олухам было все равно, что рассказывать несмышленому малышу, что никакого Деда Мороза не существует, а подарки в мешке принес сильно выпивший и от того особенно шаткий сосед дядя Миша, слесарь-сантехник второго разряда и неисправимый холостяк. Тетки поворчали еще для порядку, повспоминали собственную впопыхах облетевшую молодость и

азартно, всей стаей, переключились на бойкую профкомовскую разведку, пытавшуюся в очередной раз увести кого-то из семьи. Машков и Галочка, даже не заметившие, что вокруг них начали сгущаться общественные бури, снова остались наедине. Вопреки всеобщим сплетням и опасениям все между ними было таким правильным и настоящим, они до сих пор даже ни разу не поцеловались.

Это было прелестное чувство — нелепое и трогательное, как двухнедельный щенок с толстыми лапами и розовым голым пузиком. Ни Галочка, ни Машков не знали, что делать дальше, — Галочка потому, что действительно не знала, а Машков просто не торопился. Он был взрослый, несокрушимо порядочный и, что называется, с серьезными намерениями и потому хотел, никуда не спеша, обстоятельно пройти по дороге, ведущей влюбленную пару к загсу, — и ничего, ничего не упустить, ни поворота, ни взгляда, ни укромного уголка. Он надеялся прожить с Галочкой долгую и счастливую жизнь, этот наивный Машков, и потому заранее, как хороший хозяин, запасался воспоминаниями и событиями, которые помогут потом преодолеть неизбежную скуку бытового сосуществования и дадут бесконечные поводы для бесконечных рассказов детям и даже внукам — а вот тут мы с бабушкой первый раз поцеловались, а вон из того роддома тебя привезли, ох и орал же ты первую неделю, я тебе скажу — мы с матерью ума не могли приложить, что с тобой делать! Наревелась она тогда, бедная... А потом легче пошло, а уж когда Машуня родилась, мать с ней, как с куклой, возилась — для чистого удовольствия. Ну, ясное дело, с третьим ребенком всему научишься...

Машков все хотел, все-все, как у людей, и даже лучше — и свадьбу, и фату для Галочки, и шумное застолье, и поцелуи под крики «Горько!» — стыдливые поцелуи, отдающие счастьем, винегретом и холодцом. Он хотел детей, много, как можно больше, чтоб вставать к ним ночью, носить на закорках и петь им песни про паровоз. Он хотел ложиться с Галочкой под одно одеяло, а утром — завтракать вместе с ней, и вместе принимать друзей, и вместе готовить борщ — Машков был самоотверженно готов взять на себя чистку лука и картошки, а уж мусор Галочка сроду бы не выносила, и посуду он тоже запросто сам, тем более что после армии ему все равно было, сколько мыть тарелок — пять или пятьсот. Вот как сильно он любил Галочку, так сильно, что, никому не сказавшись, не объяснившись, не познакомившись с родителями, уже начал тихую и яростную осаду месткома по жилищному вопросу. А заодно принялся собирать рекомендации, чтобы вступить в ряды КПСС. Он был хороший советский парень, Машков, — и честно верил, что родина и партия сделают

так, чтобы у них с Галочкой была отдельная квартира. Конечно, не сразу, может, лет через десять — но отдельная. А пока — разберемся. Снимать можно свой угол, в конце-то концов. Или у родителей пожить. Главное — вместе.

Конечно, Машков хотел Галочку невероятно — и как было ее не хотеть, ловкую, круглую, золотую, до краев налитую сочной, солнечной жизнью? Но именно поэтому он и не торопился, позволял себе предвкушать, вежливо сидел за накрытым праздничным столом, как сидят воспитанные интеллигентные люди. К тому же советская мораль, которую прививали мальчикам с самого детства, диктовала совершенно определенный стиль поведения с любимой женщиной — суровый и прекрасный в своей почти рыцарской аскезе. До свадьбы будущую жену можно было только уважать — это был тест, важнейший этап посвящения, и только победитель, выдержавший все искушения, получал в награду и коня, и полцарства, и священное право расстегнуть на царевой дочке лифчик — простодушный, страшенький, хлопчатобумажный и оттого ненормально, почти болезненно сексуальный.

Галочка, понятия не имевшая обо всех этих половых страданиях молодого советского Вертера, тем не менее нутром чувствовала, что Машков топчется на пороге чего-то очень важного и даже поделилась сомнениями с более опытными подружками — которые на деле были такими же замечательно наивными дурами, как и она сама. По-ихнему выходило, что парни все без исключения мечтают, как бы потискать девушку в темном углу, и вообще только об одном и думают, кобели. Галочка пожала плечами — это был еще один неоспоримый довод в пользу того, что ее Николенька был лучше всех.

Тем же вечером, перед сном, к ней в комнату заглянула Елизавета Васильевна. Галочка в одной ночной рубашке стояла перед трюмо и пыталась соорудить из кружевной подушной накидки что-то вроде фаты. Накидка капризничала, не хотела собираться правильными складками, и Галочка, рдея щеками, прикладывала ее то так, то сяк. Елизавета Васильевна по-бабьи вздохнула и, подойдя к дочери, помогла ей подобрать тяжелую, растрепанную косу. Так вот шпилечками прихватим, и сразу будет как надо, тихо посоветовала она. Галочка смущенно кивнула, и они с матерью несколько секунд постояли перед зеркалом — отражаясь вдвоем сразу в трех зеркалах, ушестеренные, размноженные не то оптической иллюзией, не то эволюцией, не то судьбой. Не все ли равно? Грубоватое белое кружево накидки придавало Галочкиной красоте неуловимо испанский, чуточку трагический привкус — совершенно нездешний, и

Елизавета Васильевна в очередной раз тихо подивилась: в кого дочь уродилась такой ладной? Ведь и на родителей похожа, вон брови отцовы, нос в точности как у бабки, царствие ей небесное, но все равно сразу видно, что они все — генетический мусор, ерунда, поточное производство. А Галочка — Галочка по-настоящему штучный товар, ручная сборка. Завернуть в шелковистую папиросную бумагу, упрятать в прохладную коробку, вынимать только по огромным праздникам. Не дотрагиваться, не вымыв начисто рук. Любоваться, затаив дыхание. Восторженно обожать.

— Человек-то он хоть хороший, Галюня? — тихо спросила Елизавета Васильевна, и Галочка, закусив губу, закивала с такой яростной убежденностью, что импровизированная фата слетела с ее головы и тихо, как ангел, приземлилась на пол. — Ну, дай-то Бог, — пробормотала Елизавета Васильевна и вернулась на кухню, к мужу, кушавшему свой вечерний чай вприглядку со свежей «Правдой». — Что, Петя, — сказала она грустно. — Сколько там у нас на книжке? На свадьбу хватит?

— Ты что говоришь? На какую свадьбу?! — ошарашенный Петр Алексеевич попробовал было выйти из берегов, но Елизавета Петровна только рукой махнула.

— На обычную свадьбу. С баяном, со свидетелями. Все как положено. Выросла наша доча, отец. А мы и не заметили.

Знакомиться с будущим зятем было решено через неделю — и это были семь дней, которые потрясли мир. Во всяком случае, мир Баталовых — точно. К часу икс Елизавета Васильевна умудрилась переставить мебель и перебелить потолки во всей квартире, приготовить еды на мотострелковую и сильно оголодавшую роту и даже накрутить себе в парикмахерской нелепые вавилоны, означенные в прейскуранте как «перманент». (Для этого ей пришлось уйму времени просидеть под громоздкой конструкцией, с трудом удерживая на плечах тяжеловооруженную бигудями голову — причем к каждой бигудюшке был подключен свой собственный электрический провод!) Галочке было заказано у портнихи новое платье — не перелицованное, новое, из синего в горошек крепдешина, в талию, юбка-полусолнце, рукава — фонарик. Портниха поклялась страшной клятвой, что к субботе будет готово и, заглянув Елизавете Васильевне в глаза, клятву свою предусмотрительно сдержала.

Петр Алексеевич какое-то время пытался сопротивляться всеобщей истерике, но к среде сломался и он и впервые в жизни пришел домой не просто с трехчасовым опозданием, но и сильно под газом.

— Ты в запой еще уйди, осрами единственную дочку! — гроыхала

Елизавета Васильевна, пока непривычного Баталова утробно выворачивало в унитаз.

— Я ж для дела, мать, — оправдывался обмякший Петр Алексеевич, — к Григорьичу ходил, сама понимаешь. Справки наводил.

Григорьич был старый приятель Баталова, почетный чекист, а по нечетным — горький пьяница и угрюмый бобыль. Елизавета Васильевна мигом включила заднюю передачу и поволокла ослабелого мужа на кухню — исповедоваться. Впрочем, волновалась она напрасно — по достоверным сведениям КГБ (бывшего МГБ, ранее — НКВД, ОГПУ, ЧК и далее — со всеми опричными остановками), избранник Галочки, Николай Иванович Машков, был отменнейшим образчиком советской человеческой породы. Хоть на племя, хоть на семя, хоть в КПСС. Елизавета Васильевна облегченно заплакала и полезла в буфет за графинчиком водки. Петр Алексеевич, судорожно икнув, рванул обратно в санузел — заканчивать очистительные процедуры, а Елизавета Васильевна дрожащими руками, как валерьянку, нацедила себе в стопку живительной влаги, выпила и занюхала кухонным полотенцем.

В результате суббота, о которой так много волновались решительно все, благополучно свершилась. И в понедельник Галочка отправилась на работу самой взаправдашной сосватанной невестой. Ура, товарищи! И это было действительно ура. Конечно, спихивать несовершеннолетнюю дочку замуж Баталовы не собирались — да и не было тому, слава богу, никаких спешных позорных причин. Потому свадьбу решили справить следующей осенью, предварительно отметив Галочкино восемнадцатилетие (в марте), а в начале лета... Петр Алексеевич поднял указующий и предостерегающий родительский перст, и Машков с жаром закивал головой. Разумеется, Галочке сначала надо поступить в институт. Разумеется, высшее образование просто необходимо. В конце концов, он сам, лично, берется поговорить с нужными людьми и, конечно, позаниматься с Галочкой, хотя ни малейшего сомнения в том, что она поступит, просто нет. При слове «заниматься» Елизавета Васильевна поджала губы, а Галочка порозовела. Мятущийся призрак иудейского аспиранта на мгновение возник в углу и немедленно провалился в свои адские физические бездны. Никто, впрочем, его и не заметил — такова доля всех предшественников, всех пахарей, чей удел — только подготовить ниву к грядущим урожаем, а уж сожрет вкусненькое непременно кто-нибудь другой.

Весь декабрь стояли замечательные морозы — совсем не энские, не злые, и получившие родительское благословение влюбленные по-прежнему кружили вечерами по синим, скрипучим улицам, и, боже мой, кто бы знал,

как обожал Машков даже Галочкины белые рукавички, особенно левую, с дыркой, сквозь которую торчал розовый, новорожденный мизинец, который можно было наконец-то сколько угодно целовать. Но дальше мизинца упрямый Машков так и не продвинулся, как будто статус официальной невесты сделал Галочку еще чище и еще недоступнее.

Все было напрасно — вскинутые ресницы, легкое дыхание, трели соловья. Галочка даже стащила у матери «Красную Москву», наивно надеясь, что брокаровский «Любимый букет императрицы», ловко прикинувшийся честным советским продуктом, уж точно собьет жениха с проторенного пути строителя коммунистической ячейки, но — увы. От тяжелого и пыльного, как портьера, аромата Машков только трижды чихнул и трижды же виновато извинился, зато Петр Алексеевич, унюхав на дочери нестерпимые ноты гвоздики, ирисов и иланг-иланга, устроил несовершеннолетней преступнице качественную выволочку — ишь, до чего додумалась, сопля! У родной матери из сумки таскать! Не твое, так рот и не разевай. Замуж вот выйдешь, муж на «Красную Москву» заработает, тогда хоть ведрами на себя плескай. Галочка нервически разрыдалась, хлопнула дверью, но, впрочем, через час с отцом совершенно примирилась.

По сути, она была невероятно счастлива. Все были счастливы в те дни.

Стремительно наплывал новый, тысяча девятьсот пятьдесят девятый год. Машков на занятиях то и дело забывал, с чего начал фразу, путался в элементарных объяснениях, и студенты завистливо и добродушно переглядывались. Про то, что недотрога и красotka Галочка сосватана, знали все. Баталовы, голова к голове, вечерами упоенно обсуждали приданое — полотенца (кухонные), простыни (льняные, подрубить и пометить), отрезы (шерстяные), а также строительство нового демисезонного пальто для Галочки. Тут начинались отчаянные споры, потому что Галочка настаивала, чтобы с капюшоном и в клетку, Петр Алексеевич полагал, что это антисоветчина, а Елизавета Васильевна в уме подсчитывала рюмашки и стопки и прикидывала, кого из родни удостоить приглашением на свадьбу, а от кого только скандала и оберешься.

Словом, все были погружены в густой, теплый кисель самого возмутительного, антисоветского мещанства и потребностей, не имевших ни малейшего отношения к труду. Ожидались длинные праздники, гости, елки, танцульки в ДК и бесконечная жизнь, полная бесконечных, очень человеческих радостей. Галочку веселило даже то, что 25 декабря в политехе читал открытую лекцию какой-то очень известный академик (Галочка никак не могла запомнить его фамилию), и Николенька уверял, что они оба непременно должны пойти, потому что это великий ум,

настоящий гений, просто поразительно, что он наш современник. Разве ты не хотела бы попасть на лекцию Эйнштейна?

— А что, он еще не умер? — испуганно спросила Галочка. — Нам же в школе говорили, кажется... Или это не Эйнштейн?

— Счастье ты мое, — умилился Машков, зарываясь губами в Галочкины волосы. — Если б ты знала, какое ты счастье!

— Чш! — весело припугнула его Галочка. — Сумасшедший! Увидят же! Да пойдем мы на твоего Эйнштейна. Непременно пойдем. Только, чур — сядешь рядом и будешь переводить все, что твой академик говорит, на русский язык. А иначе я усну. И тебе будет стыдно.

— Не будет, — честно сказал Машков.

— А если я начну храпеть?

— Все равно — не будет.

— Тогда иди, — строго велела Галочка. — А то опоздаешь, и студенты разбегутся.

— И слава богу, — отозвался Машков. — Пусть разбегутся. Тогда и мы с тобой разбежимся. И удерем в кино. Ты хочешь в кино?

— Хочу, — сказала Галочка. — Я с тобой везде хочу. Даже на лекцию Эйнштейна.

Машков кивнул, с трудом удерживая на плечах пляшущий, счастливый, головокружительный мир, и поспешил на лекцию, а Галочка осталась у себя в подсобке — расставлять хрупкую химическую утварь, которая то и дело норовила выскользнуть из мечтательных пальцев и с дивным звуком разлететься на хрустящие радужные осколки. Галочка вздыхала и ловкой щеткой загоняла на совок очередной хрустальный призрак убитой колбы. Сколько посуды было перебито за эти дни — и все к счастью. К счастью, к счастью, к счастью.

Но 25 декабря 1958 года все с самого утра пошло на какой-то непривычный перекосяк. Во-первых, Галочка проспала и самым постыдным образом опоздала на работу. Во-вторых, лекцию долгожданного академика перенесли с часа на половину третьего, так что Галочка пойти не могла никак, потому что должна была готовить лабораторную для вечерников, — ну кто, спрашивается, назначает лабораторные под самый Новый год? И теперь, вместо того чтобы сидеть в актовом зале с женихом, чувствуя его плечом, коленом, локтем — вот интересно, а во время лекций гасят свет, как в кино, или нет? Так вот, вместо того чтобы сидеть рядом — а ведь Николенька, умница, два с лишним часа простоял в очереди за билетами и добыл отличные места на премьеру «Дорогого моего человека», в самом заднем ряду, так что если он и в этот раз не решится, то она

непременно сама. Просто непременно. Сразу, как только он возьмет ее за руку, можно повернуться, ну, как бы невзначай, и спросить — да вот хоть бы и про кино, какая разница, если будет темно, главное — просто повернуться...

Ну что такое! Опять! Галочка сокрушенно ойкнула и присела на корточки над ни в чем не повинным стеклом. В дверь тихонько постучали, и она, не поднимая головы, сердито сказала:

— У меня опыт.

— Сын ошибок трудных? — засмеялся Машков, присаживаясь рядом с Галочкой. — Смотри, палец наколешь, осторожно.

Галочка покачала головой, и длинная, вечно не находившая себе места прядка защекотала пушистую, смуглую щеку. На корточках они с Машковым вдруг оказались одного роста, так что Галочка впервые совсем рядом увидела его губы. Отчего-то сразу выключился звук, поэтому лекцию по технике безопасности при обращении с осколками она пропустила. Мало того, все храбрые завоевательные планы разом вылетели у Галочки из головы. И еще стало очень жарко.

— Ты точно не поранилась? — встревоженно спросил Машков и попытался взять Галочку за руку, но, потеряв равновесие, промахнулся и неловкой пятерней ткнулся ей в грудь.

Они встали оба, не сговариваясь, красные от смущения, и разом сильно и неловко столкнулись плечами, так что Галочка охнула, прикусив от волнения нижнюю губу, напухшую, гладкую, совершенно леденцовую на вид и — через секунду стало ясно, что и на вкус. И сразу же все вокруг задвигалось быстрыми горячими рывками, будто кто-то рвал мир — радостно и неровно, так что Галочка увидела сразу и пыльный плафон над головой, и стену с обрамленным Лавуазье, который, она совершенно точно помнила, только что скучал позади нее, и несколько щетинок на скуле Машкова, чудом избежавших бритвы, и только тогда вспомнила, что, когда целуешься, положено закрывать глаза, потому что с открытыми целуются, только если не любят. Она испуганно зажмурилась, но мир продолжал шумно рваться на части, дергаться, пульсировать, в такт ее сердцу, которое отчего-то ухнуло в самый низ живота, нет — не совсем в такт, немного быстрее, еще быстрее, сильно и горячо, так что Галочка почувствовала, что сейчас потеряет сознание, и тут же вдруг остро ощутила под собой что-то твердое и, резко оттолкнув Машкова, открыла глаза. Подсобка послушно остановила свое противозаконное кружение. Твердое оказалось столом, на котором она сидела (как? когда? почему?), а Машков, красный, почти неузнаваемый, трясущимися руками застегивал пуговицы на ее халатике.

На кармане пламенело фенол-фталеиновое пятно, похожее на раздавленную ягоду, — совершенно точно, не отстираешь. Мама будет ругаться.

— Галя, — сказал Машков виновато, глядя разом во все стороны, будто пойманный за чем-то ужасным, по-настоящему постыдным. — Прости. Я не должен был, но... — Галочке показалось, что он сейчас заплачет. — Я же только на секунду зашел, чтобы ты не уходила, чтоб меня после лекции подождала... — Он потянулся застегнуть пуговицы у нее на груди, но тут же отдернул руки и покраснел еще больше.

Галочка спрыгнула со стола. Быстро привела в порядок халатик. Отвернувшись, посмотрела на Лавуазье, который впервые на ее памяти выглядел несколько оживленным.

— Скоро этот академик приедет? — спросила она сухо.

— Минут через пятнадцать, — ответил Машков. — Ты обиделась, да? Правда, я не хотел, то есть... Я люблю тебя, ты даже не представляешь себе как. Очень люблю. Я сам знаю, что нам не надо торопиться...

— Отчего же, — по-прежнему сухо ответила Галочка. — Очень даже надо торопиться. Ты же сам сказал, что всего пятнадцать минут...

Она не выдержала, прыснула со смеху, сложившись пополам, ничего не понимающий Машков тоже засмеялся — сначала неуверенно, потом громче, будто подключился к Галочке через невидимую розетку, и когда оба наконец отсмеялись, все стало ясно, и просто, и хорошо, и до звонка оставалась еще уйма времени, так что можно было целоваться. Теперь уже бережно, со всеми осторожными, сложными, нежными подробностями, которые случаются, только когда целуешься в первый раз.

И они целовались. Все пятнадцать минут. И немного еще.

Когда Машков наконец ушел — с третьей попытки, но кто бы смог оторваться сразу? — оправдываясь, что это ненадолго, правда, ты только не уходи, чтобы черт побрал эту лекцию, но я не могу удрать, я сам вызвался встретить Лазаря Иосифовича внизу, да если б я знал, я бы никогда в жизни...

— Да иди уже, — засмеялась Галочка. — Иди. Я никуда не денусь, честное слово.

Дверь за Машковым закрылась. Галочка быстро поправила растрепавшуюся косу, взялась было снова за щетку, чтобы прибрать наконец разбитую — колбу, кажется? Или реторту? А, какая теперь разница. Щетка выскользнула, как живая, но Галочка, прислушиваясь к тому, как медленно истаивают на губах и шее отпечатки поцелуев, даже не заметила этого, только услышала — издали, как сквозь вату, — круглый,

деревянный стук. И еще. И еще один. Она не сразу сообразила, что щетка давно и неподвижно лежит на полу, а стучат в дверь.

— Вот смешной, — пробормотала она. — Опять вернулся. Дурачок.

И Галочка весело, в полный свой, драгоценный голос крикнула:

— Открыто, милый!

Глава пятая

Галина Петровна

Всю беременность Галина Петровна (уже навеки не Галочка, не девочка, не Галюня) проходила вялая, набухшая от близких слез, которые наполняли ее до самой мягкой ямочки между ключицами. Но выше слезы почему-то не поднимались — как будто упирались в невидимую прочную плеву, — и Галина Петровна то и дело пыталась не то откашляться, не то разрыдаться, пугая врачей Четвертого главного управления, приставленных наблюдать и оберегать вызревание драгоценного семени гениального Линдта.

Впрочем, все медицинские страхи оказались напрасны: девятнадцатилетняя Галина Петровна была великолепно, возмутительно здорова — и не могла побаловать докторов ни рвотными муками раннего токсикоза, ни давлением, ни неукротимым желанием полакомиться сырой штукатуркой либо пахучим содержимым переспевшего мусорного бачка. Легкие ее были девственно чисты, а безупречно розовую и стрелчатую, как храм, гортань можно было демонстрировать студентам в качестве образцовой. Поэтому странный кашель, поволновавшись, решили оставить без внимания, на всякий случай прописав Галине Петровне пить сок редьки с сахаром (по чайной ложке три раза в день).

И никто, никто не догадался, что она просто никак не может расплакаться.

Впрочем, не догадывалась об этом и сама Галина Петровна, с покорным ужасом носившая свой раздувающийся живот — жуткий, шелковистый, смугло-золотой. Живой. Галина Петровна боялась дотрагиваться до него руками — да что там дотрагиваться! — переодеваясь, она накрепко зажмуривалась, лишь бы не натолкнуться взглядом на набухшее чрево, таившее — Галина Петровна в этом не сомневалась — что-то еще более чудовищное, мохнатое и многочисленное, чем сам Линдт.

Недели за три до родов Галине Петровне даже приснилось, будто из ее живота тянется бесконечная (Линдт бы сказал — мебиусная) бумажная лента, вся исписанная витыми невозможными линдтовыми закорючками, и когда эти закорючки, тихо стрекоча, принялись переползать с бумаги на ее голые, жутко и широко растопыренные ноги, Галина Петровна проснулась

с таким криком, что переполошила едва ли не весь почтенный ведомственный дом. Линдт, даже спросонья соображавший лучше прочих тугодумных смертных, ловко проверил под икающей и хохочущей Галиной Петровной простыни, а потом ощупал ее беременный живот — быстро, бережно и осторожно, словно это и не живот был вовсе, а раненый звереныш, перепуганный, отчаявшийся, а потому способный здорово укусить.

Нигде не было мокро или больно, и вообще — Галина Петровна, сидевшая на постели в ворохе взбитых и скомканных подушек и одеял, даже икающая, даже заспанная, даже на немислимых своих восьми-слишним-месячных сносях, выглядела возмутительно здоровой и соблазнительной: круглая грудь в круглом вырезе мятой сорочки, бликующие в свете ночника молочные молодые коленки, припухший, чуть подпекшийся от жара и ужаса рот. Даже огромное выпуклое пузо гармонично вписывалось в этот праздник плодородия, щедро пахнущий свежим потом, яблоками и будущим молоком. Однако докторица, наслышанная от Галины Петровны о линдтовых любовных аппетитах, еще пару месяцев назад настрого запретила всякие половые шалости, потому Линдт только крикнул и, притормозив руки, которые уже не исследовали, а откровенно ласкали, поплелся звонить этой самой докторице — да, Ольга Иванна, вы уж простите, что так поздно, нет, думаю, не началось, просто... что вы говорите? ну, воля ваша, ваша, говорю, воля и ваша епархия, делайте, что считаете нужным.

Ольга Иванна, оседлав ближайшую скорую, примчалась через полчаса и, взвихрив академическую квартиру — а что это мы такие грустные? а где это у нас сумочка для роддома? а ну-ка давлению у нас? а давлению у нас как у летчика-испытателя! — мигом уволокла так и не переставшую похохатывать и икать Галину Петровну в родильные недра, предназначенные для партийных и прочих полезных родине богов.

Линдт — маленький, сухой, похожий не то на вставшее на задние лапы чучело пожилого львенка, не то на молодящегося египетского божка, — остался маяться у ледяного ночного окна, провожая жену грустными глазами (не обернулась, нет, и снова не обернулась). Скорая, покрутив толстым красноглазым задом, выехала наконец со двора, и Линдт, машинально вычислив алгоритм чередования заснеженных елочных макушек и увенчанных чугунными пиками штакетин ограды, вернулся в спальню — единственное, кроме кабинета, обжитое место громадной квартиры. Было ясно, что тревожиться, в общем, не из-за чего, но на сердце все равно было беспокойно, то ли потому, что за год Линдт привык

засыпать, до краев наполнив ладонь молодой женской грудью, то ли потому, что к утру Галина Петровна всегда умудрялась выскользнуть из подневольных объятий и отползти далеко-далеко, к самому краю постели, так что просыпался Линдт все равно один — вытянув опустевшую, напрасную руку, будто городской побирушка, юродивый старичок, пытающийся ухватить жизнь за неотвратимо ускользающие юбки.

Это было больно — каждое утро и целую минуту. Но Линдт, как взрослый и честный человек, понимал, что эта боль — правильная, и тоже — взрослая и честная, потому что — как иначе было расплатиться за пронзительное счастье ежевечернего засыпания, когда он и желанная женщина лежали, слившись, словно две миски, гладко и ловко сложенные одна в другую? А так утренняя боль уравнивала вечерние радости и даже делала их острее, так что общая гармония мира оставалась неизменной — это была ветхозаветная математика, божественно ясные правила возмездия и справедливости, понятный и правдивый расчет, и лишь сотое значение после итоговой запятой иногда вызывало у Линдта некоторое сомнение. После того как умерла Маруся, слово «любовь» он не произносил даже мысленно. Никогда. Теперь это было слово не из скрижалей, неточная дефиниция, Линдт таких не любил.

Он зарылся лицом в разоренную постель. От подушки тонко и сильно пахло нежным и золотым, влажным и рыжевато-розовым — плотью Галины Петровны и ее сутью, и все это за какой-то десяток с лишним месяцев стало его собственным запахом, продолжением его собственной сути. Нет — его собственной сутью, ибо оставит мужчина отца и мать и прилепится к жене своей, и будут они единая плоть. К юному и родному аромату примешивался почему-то тревожный болотный душок, гнилостный, грязноватый, жирный, — это был след ночного кошмара Галины Петровны, запах адреналина, за этот запах и за разработку бета-блокаторов адренергических и гистаминовых рецепторов Джеймс Уит Блэк получит Нобелевскую премию, и человечество с облегчением поймет свой генетический ужас перед болотами — просто болота пахнут нашим концентрированным страхом. Но это еще не скоро, это еще в 1988 году. Линдт перебрал в уме недоделанное за день — обрывки формул, вопросы, беглые маргиналии на полях, — пытаюсь заснуть и хоть так отогнать жуткую животную тоску по жене.

Млекопитающие привыкли спать в куче, это естественно и биологично, — объяснил он сам себе, задремывая и потихоньку отпуская на волю душу, бессмертную, беспокойную, не признанную им же самим душу воинствующего и блестяще вооруженного полуагностика-

полуатеиста. И душа заспешила, понеслась к точке своего болезненного притяжения — мягкая, гладкая, невидимо, но ясно светящаяся в темноте. Покрутившись по больничным коридорам, она безошибочно нашла палату, в которой разместили Галину Петровну, опоенную безобидным пустырником и валерьянкой, но все равно — испуганную настолько, что она даже икать больше не могла, а только лежала на спине, уставившись огромными сухими глазами в потолок и из последних сил отгоняя от себя стрекочущие буквы.

Линдтова душа немедленно примостилась у самого сердца Галины Петровны исцеляющим кошачьим клубком, замурчала неслышно и успокаивающе, и мороки и страхи поспешили прочь, а буквы расползлись по углам, бессильно шипя и скаля крошечные иголочные зубки. Больничная койка — сверхмодная, утыканная рычагами и рукоятями, которые в одно мгновение могли превратить страдальческий одр хоть в удобное кресло, хоть в операционный стол, — мягко заколыхалась, потолок, прежде враждебно белый и сухой, стал влажным, кружащимся, близким, и Галина Петровна начала неторопливо погружаться в него — слой за слоем, шаг за шагом — все ближе и ближе к мирному, колыбельному свету, который не нес ничего, кроме мира и любви, ничего, кроме любви и мира...

Чья-то теплая ладонь приласкала ей лоб, пригладила влажные волосы — материнским, бесполом, бесконечно сострадающим жестом, и как только опустошенная Галина Петровна наконец-то тихо, без сновидений и ужасов, заснула, на другом конце Энска беззвучно заплакал во сне Лазарь Линдт и плакал до самого рассвета — пока невыплаканные Галиной Петровной слезы наконец не закончились.

Наутро заполошный будильник вернул все на свои места — Галину Петровну, Линдта, его пропахшую больницей и подтаявшую от усталости и ночных бдений душу. И все потекло своим привычным скучноватым чередом, разве что протянутая поперек постели рука Линдта впервые не показалась ему самому напрасной, да наволочка была совсем мокрая, так что смущенный Линдт, выбривая перед зеркалом морщинистые синие щеки, даже горько поразмышлял о том, не начал ли он пускать на старости лет сонные слюни.

Вместо утренней кафедры он, разумеется, поехал в больницу, прихватив по дороге половину центрального рынка — яблоки, домашний творог, угреватые, пористые лимоны, мед — торжественный, неторопливый, превративший банальную липкую литровую банку в мерцающую изнутри дворцовую свитильню, и — главное! — невиданные в

декабре свежие тепличные огурцы.

— Что ж вы, Лазарь Иосифович, нас обижаете, как будто мы пациентов голодом морим! — от души возмутилась заведующая отделением патологии, обегая крошечного стремительного Линдта то с одного, то с другого бока, — вот тут направо, пожалуйста.

Но Линдт только отмахнулся, он и сам как будто знал дорогу, поворот, поворот, сердечный перебой и сразу слева — заветная дверь.

Галина Петровна сидела на кровати — выспавшаяся, яркая, до краев налитая мирным розовым светом.

— А вот и наша красавица! — умиленно пропела заведующая, словно самолично вылепила Линдту молодую жену из нежнейшего, свежайшего, самолучшего сливочного масла. Линдт разгрузил пакеты на тумбочку и клюнул Галину Петровну в мягкую ямку между шеей и плечом — вообще-то, он хотел поцеловать в губы, но ради бога, как угодно, главное — как ты, ясная моя, эскулапы вот хором клянутся, что все совершенно и решительно хорошо. Галина Петровна даже не кивнула в ответ, уставившись в воздух прямо перед собой сразу одеревеневшими глазами. Как только Линдт вошел в палату, она словно мгновенно захлопнулась — Линдту даже показалось, будто он услышал тихий, но отчетливый щелчок, с которым упала невидимая крышка, так что ему в очередной раз не удалось рассмотреть внутри ничего, кроме удушливо-ярких лоскутов да дрожащей россыпи разрозненных, разбежавшихся бусин.

В форточку вползло обессиленное декабрьское солнце, жидковатое, пыльное, едва живое. Тронуло вялой лапой волосы Галины Петровны, покатило по тумбочке высыпавшиеся из пакета огурцы — ненатурально длинные, как будто даже пластмассовые, но тонко и сильно пахнущие еще нигде не существующей весной. Линдт оглянулся — в поисках медицинской помощи и поддержки, но заведующая деликатно слиняла куда-то, оставив сановного посетителя один на один с девятнадцатилетней беременной женой и неразрешимыми проблемами бытия.

— Ты правда в порядке? — еще раз переспросил Линдт — у больничной подушки, у солнца, у жизни, у самого себя. В разноголосице ответов не было только голоса Галины Петровны. Линдт неловко попробовал пригладить ей волосы: выбившуюся кудряшку возле уха в его молодости называли — завлекалочка. В его молодости, в ее молодости. Почти полувековой временной перепад. Как он мог решиться? На что надеялся? Кого попытался обмануть?

Галина Петровна дернула головой, словно отгоняя надсадную упорную сортирную муху.

Безнадежно. И еще раз — без-на-деж-но.

— Да не переживайте вы так, товарищ Линдт, ей-богу, — посочувствовал водитель, молодой ласковый парень, только начавший непростую карьеру персональщика и потому еще не отвыкший от человеческой речи. — Бабы, когда дите носят, последнего ума лишаются, вот родит вам супруга **сыночку**, все и наладится, сами увидите.

Линдт недоверчиво покачал головой:

— Вы думаете, сын будет?

— Да кто ж еще? — так простодушно изумился парень, что Линдт даже полчаса спустя, заходя на кафедру, все еще фыркал от тектонического смеха и бормотал, утирая мокрые глаза:

— Ну шельмец, вот шельмец, действительно — кто ж еще, а, Михаил Никитич, душа моя, здравствуйте, да погодите вы со своими подписями, вот я вам сейчас расскажу просто свежеиспеченный анекдот...

И в этом смехе, в привычной институтской суете, в озоновом запахе приборов и бумаг была какая-то нечаянная радость, будто и вправду рождение сына (а кого же еще?!) могло чудесным образом изменить сразу все, сразу все исправить, наладить нужный тон, который — Линдт понимал это прекрасно — ему не удалось поймать впервые в жизни. Его всегда обожали и баловали женщины, даже Маруся — пусть не так, как он хотел, но она его любила, очень любила, и никогда он для этого особо не старался, а вот с Галиной Петровной старался, и все напрасно. Может, надо перестать бегать за ней, пресмыкаться, лебезить? Может, это действительно просто беременные, гормональные, нутряные и оттого особенно бессмысленные капризы? Может, она родит и наконец-то увидит его наново — Марусиными, веселыми, радостными глазами?

Но обманывать себя получалось недолго — максимум хватало на стакан чая, — и к тому моменту, когда на дне оставалась только сахарная, густая, ни на что не пригодная жижа (дурацкая привычка класть по пять ложек и не размешивать), Линдт уже понимал, что все напрасно, и что он влюблен во второй раз в жизни — и во второй раз, словно в насмешку, несчастливо. Нет, свет был тот же, тут Линдт не мог ошибиться, это был чистейший Марусин свет, только без самой Маруси, потому что Галина Петровна, и тут тоже не было никакой ошибки, оказалась в сущности пустым, ничтожным существом. И это тоже, к сожалению, ничего не меняло.

Все три недели, оставшиеся до родов, Галина Петровна провела в больнице. Ее решили оставить в патологии, несмотря на то что никакой

патологии, разумеется, не было. Просто на всякий случай. По утрам, перед работой, заезжал Линдт, обвешанный деликатесами, сладостями и мелкими, прелестными, но совершенно ненужными вещицами, которые даже и не вещицы были, а так — жалкое мычание глухонемой человеческой нежности. Это было самое трудное время. Но Галина Петровна знала, что надо вытерпеть эти пять-десять мучительных для обоих минут, после чего день покатится легко, набирая силу и слегка подскакивая на особо значимых местах: обход, обед, плавание в голубом, дымящемся от хлора и жара бассейне и лечебная физкультура, во время которой смешные, тугие, как надувные мячи, беременные тетki важно и неторопливо тянули руки к потолку и осторожно наклонялись, пока медсестра ЛФК, быстрая и востроносая особа, похожая на пастушью псину, приставленную к отаре разбегавшихся овец, не позволяла наконец всем разбрестись по палатам. Некоторые роженицы, впрочем, из палат не выходили вовсе — так и лежали в опасливой неподвижности, чтобы не потревожить, не дай бог, капризный и изнеженный плод.

Галина Петровна — по молодости — сперва робела и дичилась всего на свете. С той же стеснительной, любопытной осторожностью к ней относились и все в роддоме — по множеству причин, не все из которых Галина Петровна вполне понимала. Во-первых, она была самая молодая и хорошенькая из первородок и при этом обладала самым старым мужем. Во-вторых, муж этот обитал на таких немыслимых иерархических высотах и обладал таким сокрушительным влиянием, что Галине Петровне даже не завидовали, нет, просто злобно удивлялись, отчего одни всю жизнь упакиваются — и им ничего, а другие ни черта не делают и даже не смыслят и ни за что получают и скатерть-самобранку, и гусли-самогуды, и черт знает что еще, в шоколадной глазури, что даже в спецзаказах не предлагают. А уж по спецзаказам в ведомственном роддоме специалисты были все.

Конечно, тут полно было своих богатых и знаменитых: дочери, жены и свояченицы партийной номенклатуры, крупных хозяйственников, маститых управленческих шишек — это были советские сливки, свежайшие, жирно-желтые, парные, густые настолько, что ложка стоит, но всем этим небожителям даже вместе взятым было далеко до связей, возможностей и влияния Лазаря Линдта. Потому что любого партийного босса можно было, изловчившись, подсидеть и снять, любого красного директора — уличить в растрате и посадить, в конце концов, всех их можно было выпереть на пенсию — пусть и персональную, но все-таки пенсию, которая означала однозначное понижение во всех привычных благах. А вот с Линдтом нельзя

было поделаться ничего — он был один-единственный, уникальный, со своей мелкой походкой, неприятной ухмылкой, с жидовскими своими неопрятными сидящими кудрями, академическим званием и тремя государственными премиями, а уж премий поменьше, потиражных, погонных и подъемных и вовсе никто не считал, тем более — сам Линдт.

Слышь, шелестели в коридорах одурелые от скуки и обжорства пузатые бабы, он на сорок один год старше, говорят, со школы ее взял, старый кобель, чуть не с первого класса присмотрел и насилу дотерпел, пока у нее кровя женские пойдут. Вот как! Да что вы такое говорите! Это она все сделала, заявила к нему домой и задрала юбку, а он, понятное дело, немолодой человек, одинокий, не смог устоять, так она сразу после этого куда надо бумаги накатала и в милицию даже заявление отнесла, сучка несовершеннолетняя, ну и пришлось ЛазарЁсичу покрывать грех и жениться, хотя я вам говорю — эта, прости господи, уже брюхатая к нему пришла, причем неизвестно от кого, и не надо, я — в отличие от вас — знаю все из первых уст, у меня муж с ЛазарЁсичем работает, так он говорит, Линдт буквально рыдал у него плече, когда все случилось. Буквально — рыдал!

Из палаты выходила Галина Петровна, чуточку испуганная, с пылающими от волнения и молодости щеками, и беременные тотчас расплзались по углам, шипя, что, мол, хоть и академик, а домашней одежды жене не спроворил, так и таскается в больничном. Дура! Галина Петровна провожала их грустными глазами и покрепче стягивала на болезненно набухшей груди белесую от дезинфекции общественную байку. Привезенные Линдтом пакеты с любовно упакованным батистом и шелком так и громоздились возле тумбочки, никем не раскрытые, никому не нужные, а ежедневные лакомства, истово благодаря Господа Бога нашего и родную Академию наук, растаскивали домой пронырливые и вечно — сколько ни давай — голодные санитарки. Галина Петровна угостила бы и соседок, но ей полагалась персональная палата, персональная мука, персональная судьба.

Впрочем, через неделю к Галине Петровне попривыкли, и она тоже вполне освоилась в роддоме и даже стала совершать осторожные любопытные вылазки за пределы собственного отделения. Интересней всего оказалась курилка — лестничный пролет, оборудованный парой плевательниц, возле которых вечно роились веселые, разбитные тетки из абортария — с 1955 года по пять-шесть раз в год бодро поддерживающие известным местом отмену постановления ЦИК и СНК СССР (от 27 июня 1936 года), запрещающего аборт. Любительницы крепких выражений и

крепких дорогих сигарет, абортчики мигом приобщили Галину Петровну к своим нехитрым радостям, и уже через несколько дней она перестала неистово краснеть от кудрявой и бессмысленной матерщины, а потом, преодолевая кашель и отвращение, освоила и дымную разницу между «Москвой», «Тройкой» и — о чудо из чудес! — особым дамским «Дюшесом» с ватным фильтром.

— Ты б не смолила с таким пузом, дочка, — мимоходом посоветовала одна из теток Галине Петровне и тут же поведала обществу леденящую душу историю про то, как одна девушка вот тоже курила беременная — тут последовало нагромождение нелепейших и дичайших подробностей, из которых Галина Петровна поняла только, что ребенок от табачного дыма может задохнуться прямо внутри, и его будут выковыривать крючками. С того дня она стала курить уже осознанно, дисциплинированно, по часам, будто принимала лекарство, единственно способное сохранить ей жизнь, никому уже, в сущности, не нужную, но все еще драгоценную. Крючки ее не пугали — пусть. Лишь бы умер ребенок. Задохнулся, что угодно — но не появился на свет. Только не ребенок Линдта. Это было слишком несправедливо.

Постоянно стрелять сигареты было совестно, и Галина Петровна приладилась покупать курево у медсестер, готовых за сотню дореформенных рублей снабдить своих высокопоставленных пациенток хоть цианистым калием, хоть заботливо намыленной веревкой. Впрочем, горлодерный «Памир», который метко называли «Нищий в горах», цианистому калию по убойной силе уступал мало, и Галина Петровна особенно любила курить его ночью, стоя в гулкой пустой курилке, полной ледяных сквозняков и стонущих больничных призраков. Для верности она оставляла в палате халат, а в курилке немедленно сбрасывала тапочки и, поживаясь, подолгу стояла у сифонящего изо всех щелей окна, глубоко-глубоко втягивая вонючий дым и ощущая босыми подошвами, как неторопливо и властно поднимается все выше и выше к ребенку бездушный энский холод — и точно такой же мертвый холод неподвижно стоял у нее в сердце. В приоткрытой фрамуге тихо подвывал заблудившийся ветер, то швыряя в Галину Петровну горсть колючей снежной крупки, то жалко пытаясь приласкаться к теплоте человеческого существа, но Галина Петровна ничего не замечала.словно изувеченная собака Павлова, которой удалили затылочные доли мозга, потерянная в пространстве, лишенная ради чьего-то садистского любопытства и зрения, и слуха, она упорно ползла по невидимому кругу, раз за разом возвращаясь к той последней точке, на которой закончилась ее счастливая, нормальная,

человеческая жизнь.

Они с Николенькой собирались пожениться.

Нет.

Про Николеньку было нельзя.

Просто невозможно.

Вообще нельзя было слишком про многое — про канун прошлого, всего только прошлого Нового года, про то, как пахло в переполненном, несмотря на близкие праздники, политехе — мастикой, пылью и медленно оттаивающими валенками. Все тогда галдели, как ненормальные, и рвались на открытую лекцию, которую давал академик, фамилию которого Галина Петровна легкомысленно не запомнила — и, чтобы закрепить ей память, эту фамилию теперь навеки вписали в ее паспорт, что ж, отличный урок для хорошенькой пустоголовой дурочки, лучше и не придумаешь, не так ли? На лекцию она тогда не пошла, потому что надо было прибраться в лаборантской, она, кажется, разбила колбу. Или реторту? Она тогда без конца колотила казенную посуду — и сама верила, что к счастью, просто не знала, что счастье это готовят совсем не для нее.

Потом пришел Николенька, и они впервые поцело...

Нет, только не Николенька, ну, пожалуйста, я умоляю!

Про родителей тоже было нельзя, и про припасенный к свадьбе заветный отрез белого крепдешина, плотный, шелковистый, похожий на мыльный брусок, — но стоило отмотать от этого бруска пару невесомых метров и приложить к груди, как среди комнаты сразу возникал зачарованный призрак будущего свадебного платья. Отрез так, должно быть, и лежал где-то в родительском шкафу, медленно и мучительно умирая, и, чтобы не думать о нем и еще о тысяче таких же болезненных и зудящих, как сыпь, мелочей, Галина Петровна, крепко трянув головой, закуривала очередную памирину. Одна ночь — одна пачка. Она бы выкуривала две, но ее начинало рвать горькой желчной пеной, а ребенок и не думал задыхаться, жизнерадостно возился внутри, укладывался поудобнее — ручки под щечку, глазки закрываем. Он, кажется, даже не мерз, хотя Галина Петровна уходила из курилки только к утру на заледенелых, синеватых, ничего не чувствующих ногах.

И что вы думаете? Чудовище внутри нее было довольней некуда, а она сама даже не простудилась.

Но, даже прокравшись мимо бессовестно дрыхнувшей постовой сестры и с трудом взобравшись на свое больничное ложе, Галина Петровна не переставала свое безостановочное мысленное движение, снова и снова натываясь на невидимое препятствие, переводя дух и скуля, пробуя ползти

дальше. В сущности, все, что ей оставалось, — это последние несколько минут прежней жизни, впечатавшиеся в память с такой силой, будто тогда она и впрямь умерла: счастливая, растрепанная, со вспухшими от первых поцелуев губами, присевшая на корточки над радужными осколками лабораторного стекла. В подсобку тогда постучали, и она крикнула: «Открыто, милый!» Сама крикнула. И сама, легко вскочив, распахнула дверь, уверенная, что это Николенька сбежал с постылой лекции, чтобы никогда-никогда больше не расставаться. Чтобы остаться вместе с ней до самой смерти. Нет, даже дольше — навсегда.

Линдт, который теми же долгими мысленными часами стоял все у той же двери, но только с другой стороны, с тихой грустью думал, что материя, несомненно, разумна, но уж очень несправедлива, потому что ни единого знака не было дано ему в тот день, ни малейшей подсказки, ни легчайшего рывка божественным поводком — мол, приготовься, растяпа, подберись, сейчас случится главное — может быть, во всей твоей жизни. Может быть, и не только в твоей. Но нет — Вселенная молчала, мало того, Линдт до последнего пытался отбояриться от скучной лекции, придумывая то недомогания, то отговорки. Он всегда ненавидел публичные выступления — хотя отлично говорил и без малейшего усилия удерживал внимание любой аудитории, это был тот самый вариант гениальности, которая способна объясниться и с пятилетним ребенком. Только, черт подери, почему я должен тратить время на пятилетних детей? Они ж не поймут ни хера — хоть бы я им эту лекцию на гармошке сыграл. А заодно и сплясал. Ну, пожалуйста, Лазарь Иосифович, мы вас умоляем — всего сорок пять минут, а студентам воспоминаний на всю жизнь. Хорошенькая у ваших засранцев планируется жизнь, если нудятина, в которой они ни пса не разберут, окажется в ней самым волнующим событием. Впрочем, согласен я, согласен — только отвяжитесь. Но чтоб никаких ваших идиотских «давайте потом коллегiallyно отметим по маленькой». У меня дел по горло, так что не сиротите напрасно кафедральные кошельки. И не надо никого встречать на выходе, я вас умоляю. Я еще не выжил из ума и уж как-нибудь не заблужусь.

И что вы думаете? Заблудился.

Вообще-то, несмотря на все отговорки академика, навстречу сиятельному Линдту был загодя выслан гонец, призванный караулить великий ум у входа, дабы потом со всеми почестями препроводить его в нужную аудиторию. Но Машков, наконец-то дорвавшийся до Галочкиных губ, разумеется, потерял разом и счет времени, и разум, потому Линдт, неловко потоптавшись на пустом политеховском крыльце, пожал плечами и

вошел в гулкий и мраморный, как усыпальница, вестибюль. Он решительно свернул направо, потом еще раз направо и очутился в сумрачном лесу. Бесконечные коридоры, бесконечные двери, бесконечное отсутствие логики в нумерации — рядом с пятнадцатой аудиторией соседствовала безымянная комната, а сразу за ней — помещение с загадочной табличкой «442-М».

— Вот долбоебы, — пробормотал Линдт недовольно. — Ничего не могут организовать — даже коридор.

И словно ему в ответ за безымянной дверью что-то грохнуло — будто судьба поставила в конце предложения оглушительную твердую точку. Линдт, оживившись от возможности взять языка и разузнать дорогу в этих политехнических дебрях, выбил на облезавшей филенке вежливую дробь.

— Открыто, милый! — откликнулся женский голос, бархатистый, раскатисто и драгоценно подрагивающий на «р», и дверь тотчас же распахнулась, как тогда, в восемнадцатом году. И как тогда, в восемнадцатом году, Линдт чуть не потерял сознание от усталости, от счастья, от света — того самого света, в плотном кубе которого стояла, смеясь и двумя руками поправляя волосы, молодая, бессмертная, сияющая от радости Маруся.

Не обнаружив в своем химическом хозяйстве нашатыря, сердобольная Галочка просто усадила пепельного от бледности старичка на стул и щедро распахнула окно. Энский мороз плоско и тяжело ударил Линдта по лицу — будто хам, нарывающийся на дуэль, да что там — мечтающий об убийстве. Многоигольчатая снежная крупка, искрясь, затанцевала в воздухе, охлаждая пылающие Галочкины щеки и странной, тревожной сединой покрывая волосы Машкова, который бестолково метался перед политехом, разыскивая утерянного академика. Коварно притаившаяся под снегом ледяная дорожка ловко кинулась ему под ноги, опрокинула, звонко приложив задницей о промерзшее и твердое. Машков, нелепый, как все упавшие люди, попытался подняться и вдруг, словно со дна своего почти физически невыносимого счастья, увидел все разом — и неподвижное дегтярное небо с крошечной кривобокой луной, и похожий на сказочный замок политех — весь в длинных огненных бойницах светящихся окон, и старый пушистый от инея фонарь, в молочном ночном луче которого плыли снежинки — тающие и нежные, как Галочкины губы. Все это на секунду сложилось в картинку небывалой четкости и красоты, сулившую открыть какие-то величественные и оттого особенно бесполезные тайны, и вдруг расплылось, задрожало, налилось горячей соленой влагой, и Машков со стыдом обнаружил, что сидит прямо на ледяном асфальте и плачет, как

маленький, как дурак, шмыгая подтекающим носом и улыбаясь огромной, глубокой, совершенно детской улыбкой.

— Может, все-таки скорую? — еще раз заботливо спросила Галочка. Старичок, конечно, был довольно противный — тощий, морщинистый, весь заросший неопрятной сизо-седой щетиной, но советской девушке полагалось уважать еще и не такое. Старикам везде у нас почет.

— Благодарю вас, нет, — учтиво ответил Линдт, оправляя пиджак так, чтобы видны были орденские планки, и отчаянно, до хруста в скулах, презирая себя за это. — Лучше подскажите, пожалуйста, где у вас двести четвертая аудитория?

— Так вы тоже на лекцию! — заулыбалась Галочка, и Линдт торопливо отвел глаза, боясь ослепнуть или разрыдаться — эти нежные щеки, эти губы с младенческой, четкой, молочной, изогнутой полосой. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим! Пить целую вечность, подстанывая от наслаждения, не верить своему счастью, пока не умрешь. Не думать о следующем стихе, о том, что запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник. Запертое одним человеком всегда откроет другой. Но как похожа, Господи! Нет, не похожа. Лучше.

— Все прямо перебесились из-за академика этого, — продолжала Галочка, не заметившая ничего и очень довольная, что хоть кто-то скрасит ей скучную подготовку к лабораторной. — Только что в очереди не стояли. Будто МХАТ приехал.

Линдт согласно покивал головой — ажиотаж вокруг его имени обыкновенно устраивали люди вопиюще невежественные и оттого особенно неприятные.

— Там душно наверняка на лекции этой — не ходите, — продолжала усердно заботиться Галочка, мысленно коря себя за неизвестно откуда взявшуюся брезгливость, тоже мне — комсомолка, разве он виноват, что старенький и некрасивый?

— Боюсь, без меня не начнут, так что все-таки придется, — с сожалением сказал Линдт, поднимаясь, и Галочка, совершенно не узнавшая изящную и легкую, как бабочка, отсылку к Андерсену, решила, что ошиблась. Очень может быть, что старичок пришел не провожать внуку (первая версия) и не пополнить скудный интеллектуальный багаж (вторая версия, выросшая на твердом убеждении советской девушки, что все родившиеся до революции люди были безграмотными и безмозглыми идиотами, которым советская власть подарила стеклянные бусы, лампочку Ильича и букварь).

— Вы, наверно, ассистент академика, да? — радостно догадалась она. — В опытах ему помогаете?

Она вообразила себе арену цирка, ловкого вертлявого мага в просторном, прохваченном звездами плаще, и сухонького семенящего Линдта, подливающего адское зелье в таинственный прибор, внутри которого меж двух хрустальных шаров грозно гудела опасно изогнувшаяся вольтова дуга. Линдт представил примерно то же самое и целую секунду оба — в первый и в последний раз в жизни — думали в унисон. Потом Линдт засмеялся, обнажив крупные зубы, — будто кто-то быстро провернул скрипучую костяную шестерню, и Галочке снова стало пронзительно неприятно. Словно она находилась в одной комнате с каким-то гигантским омерзительным насекомым.

— Давайте я вас провожу, — сухо сказала она, и перед глазами Линдта плавно поплыл тесноватый молодой халатик, круглая смешная пуговица на хлястике, кулачки, засунутые в карманы, суровое выбеленное полотно и глубокая голубая складка, которая ложилась то справа, то слева — там, где от тонкой сильной талии спешила к бедрам невероятно чистая линия, завораживающе чистая, это было движение самой жизни, и Линдт не видел ничего, кроме этой жизни, — ни тусклых коридорных ламп, ни взволнованной, до отказа набитой аудитории, ни дрожащих багровых щечек лебезящего директора политеха, который все тянул Линдта за рукав в сторону все-таки организованного банкета, будто малыш, который пытается уговорить взрослого посмотреть его никому не нужные, дурацкие игрушки. Это никогда больше не отпустило — и даже двадцать три года спустя, умирая, восьмидесятиоднолетний Линдт увидел перед собой не мать, не Бога, не назад проматывающуюся огромную жизнь, и даже не Марусю — а этот уплывающий по коридору идеальный белый халатик, и рыжеватую косу, небрежно уложенную на затылке, и быстрый жест, которым Галочка оправила подол, словно смахивая какую-то налипшую неприятную дрянь — влюбленный замороженный взгляд Линдта, его жизнь, его самого.

Она ни разу не оглянулась.

Он никогда, никогда ее не догнал.

Вечером, как всегда, заглянул Николаич — и, как всегда, якобы по делу, деликатно припасенному заранее, но упаси Боже — не по неотложному, чтобы, значит, не потревожить великий ум, не всколыхнуть покой, тут из издательства договорчик прислали на переиздание — хотят переподписать, я уж все проверил — надо только подмахнуть. И осекся,

оборвал уютное бормотание — Линдт, подтянув к подбородку колени, сидел в углу дивана крошечной сморщенной мумией, уставившись прямо перед собой горькими неподвижными глазами. В первый раз Николаич видел хозяина не за рабочим столом, не оживленным — Иисусе, да он вряд ли вообще замечал раньше этот чертов диван!

— Случилось что, ЛазарЁсич? — Николич сам удивился тому, каким непослушным сразу стал голос, — так, работа под контролем, там точно все в порядке, значит, недоглядел за здоровьем, ах, мудацкий же мудак — надо было пинками пригнать на очередную диспансеризацию, не слушать отговорок, но поди не послушай этого упрямца, если он до сих пор с места вскакивает ногами на письменный стол и только хохочет сверху, что, мол, так в России могут только два человека — он да Пушкин, сукин сын. Слабо и тебе попробовать, Николаич? Ясное дело, что слабо, картошки надо меньше жрать с топленным маслом, да и не за тем, слава богу, приставлен, чтобы по столам макакой скакать. Не за тем. Так что пускай в одиночку тешится в своих сферах, а нам бы по земле пройти, не споткнувшись.

Линдт не ответил, будто не слышал или не понял вопроса, а то и вовсе не заметил, что Николаич пришел, а ведь как родного принимал с первой минуты — за стол вместе с собой сажал, слова не сказал кривого: и встанет, и проводит, и подарок к любому празднику, а уж водки сколько вместе съедено, разговоров наговорено — никогда не гнушался, даром что академик.

— ЛазарЁсич, золотой, что? Сердце?

Это была его выдумка, личная — ЛазарЁсич, — он прекрасно мог выговорить как надо, но не хотел, как не хотел на «ты», хоть Линдт сто раз предлагал, нет, нужно было что-то другое, что-то вроде меньшиковского «минхерца», только для них двоих, и чтоб все сразу это понимали — и степень близости, и тепло, и уважение, от непосильной тяжести которого Николаич иной раз боялся задохнуться. Он придумал этого ЛазарЁсича и в первый раз не сказал даже — пробормотал, готовый к выволочке, хоть к порке, но Линдт только посмеялся — как Николаич любил, когда он смеялся, из кожи вон лез, готов был на пузе ползать, вприсядку скакать, а словечко, поди ж ты, прижилось, перескочило на других, как блоха, — такое же верткое, живучее, и вот уже академика стали называть ЛазарЁсичем и в институте, и в академии, и в людской, но только, конечно, за глаза. В лицо смел только Николаич и привилегию эту блюл со всей великолепной ревнивой яростью лучшего друга и потомственного холоуя.

Николаич хотел тронуть Линдту лоб, как малому ребенку, но в последний момент не решился, взял академика за плечо корявой от

нежности лапой, тихонько сжал, словно проверяя — цел ли, и Линдт вынырнул из своего странного оцепенения, улыбнулся почти виновато:

— А, Николаич, здравствуй, хороняка. — Это тоже было их словечко. Только их. У них вообще много было своего. — Да не помираю я, не гоношись. Все хорошо. Хотя с сердцем ты, похоже, почти угадал.

— Колет? Жмет? — уточнил Николаич, силясь быть деловитым и чувствуя, как отпустивший было страх вновь стискивает все внутри в унижительный ледяной узел.

— И колет, и жмет, и ноет, хороняка. И покоя не дает. Влюбился я, похоже, Николаич. Представляешь? Это на старости-то лет!

Николаич молча ушел на кухню — нежилую, господскую, огромную, где сроду никто не готовил и не хозяйничал, кроме него самого, и через пару бесшумных минут вернулся, держа в руках невесть кем преподнесенный Линдту жостовский поднос, уродливый, как любая пущенная на поток русская поделка. На пухлых расписных цветах красовался графинчик с водкой, неумелой мужской рукой протертые стопочки и грубо вскрытая банка со смуглыми шпротами — самим же Николаичем и припасенная на всякий случай, потому что ночью встанет, захочет покушать и вообще — мало ли что? Николаич поставил поднос на диван, сел рядом, ловко разлил водку и чуть ли не насильно вставил стопку в равнодушные линдтовы пальцы.

— А теперь рассказывай, — почти приказал он, впервые в жизни обратившись к хозяину на «ты». Теперь было можно. Вот именно теперь.

Назавтра, ближе к концу рабочего дня, к Галочке, торопливо убиравшей в шкаф свои химические принадлежности (Николенька уже ждал, верно, на крыльце, пряча в карманы сиротского пальтишки крупные красноватые лапы, вечно он забывает про рукавицы, ну ничего, наведем порядок, и пальто новое ему справим непременно, и варежки!), подошел неслышными шагами коренастый человечек с жирноватыми боками перебравшегося в город крестьянина и цепким, умным, яростным взглядом дворняги, которую в детстве ни за что пинали по ребрам кирзовым сапогом. И она не забыла.

— Галина Петровна Баталова? — тихо уточнил человечек, ловко взяв ее под халатный накрахмаленный локоток. Галочка кивнула, чувствуя, как ниотчего вдруг слабеют ноги и на лбу, под теплыми завитками, проступает крупная, как роса, и такая же ясная испарина. — Проследуйте, пожалуйста, со мной.

И жизнь Галочки Баталовой закончилась.

В черной «Волге», несмотря на мороз, было душно, как в гробу, и так же оглушительно тихо, но Галина Петровна, оцепеневшая настолько, что не могла даже плакать, вдруг перестала жалко плавиться в своем унижительном поту и принялась мелко, как грызун, стучать непослушными зубами. Ее буквально колотило от ужаса, того самого смертного биологического ужаса, который знаком любому живому существу, ступившему на грань собственной гибели, — спутанное сознание, жар, озноб, испарина, непроизвольное расслабление всех сфинктеров. Даже здоровенные медведи и матерые человеческие самцы в такой ситуации мгновенно и бурно накладывают в штаны — и не потому что трусились, а потому что организм отчаянно пытается освободиться от всего, что может помешать сражаться насмерть или же панически от смерти удирать. Галина Петровна даже не описалась — но только потому, что самым краешком спасающегося сознания отчаянно верила, что это все сон, глупости, страница из детской книжки, где ужасный людоед тащит в логово хорошенького кудрявого мальчика-с-пальчика. В детстве она так боялась этой картинки, что так и не смогла рассмотреть ее во всех чудовищных подробностях — утыкалась с верещанием в спасительные отцовские колени. Но как же! Папа ведь говорил, что прежним временам возврата нет, значит, вышла какая-то ошибка, недоразумение! Галина Петровна была совсем молоденькая дурочка сорок первого года рождения и про те самые прежние времена знала только обрывки подслушанных разговоров, а после войны все стало не так уж и страшно, хотя отец и ворчал иной раз, что напрасно народишке столько воли дали, ох, напрасно, а потом Сталин и вовсе умер, и все ужасно плакали. Даже папа. Галина Петровна попыталась сказать это все, объяснить, выяснить, куда ее везут, но вышло какое-то никчемное «ав-ва-ва». Человек, сидевший рядом с ней на заднем сиденье, бросил на Галину Петровну быстрый непроницаемый взгляд и распорядился — а ну подтопи-ка еще. Безмолвный водитель, не меняя выражения красного морщинистого загривка, щелкнул чем-то, и в машину вплыла новая волна искусственного жара.

Они остановились у огромного свинцового здания с нескромными башенками и завитками, и уже готовая ко всему Галина Петровна с изумлением обнаружила, что это жилой дом: за коваными кружевными пиками ограды какие-то женщины выгуливали смешных круглых малышей, усердно лепивших упитанную снежную бабу, ломко звенели на морозе детские голоса, медленно наливались мирным мутным светом фонари, не по-энски изящные, сделанные, как и все в этом доме и в этом дворе,

основательно, любовно и не по-советски напоказ. Человечек, кряхтя, помог Галине Петровне выйти из «Волги», и в сопровождении обвешанного авоськами водителя они пересекли двор, причем человечек так ловко и приветливо со всеми раскланивался, что Галина Петровна, решившая при любом удобном случае звать на помощь, бежать — что угодно, вдруг совершенно и очень некстати успокоилась. Кажется, действительно недоразумение. Или в кино позовут сниматься — а что? Говорили, что в Энск собирается Сергей Герасимов, рассказывать про свой «Тихий Дон» — может, увидел меня на улице или в политехе. Или на концерте где-нибудь. Галина Петровна вообразила себя поющей великому режиссеру фирменные враждебные вихри, и сразу потом — на афишной тумбе, с хищно подмазанным роковым ртом, и даже улыбнулась тому, как просто и нестрашно все разрешилось. Человечек посмотрел на нее еще раз и хмыкнул, видимо, раз и навсегда составив мнение об умственных способностях юной комсомолки Баталовой. Галина Петровна еле удержалась, чтоб не показать ему язык, — и правильно удержалась, потому что уютный лифт, поскрипывая, вознес их на четвертый этаж, и началось по-настоящему страшное.

Человечек отпер ключом входную дверь в одну из квартир, кивком отпустил развьюченного водителя и проводил Галину Петровну в огромную, абсолютно пустую комнату, видимо, предназначавшуюся для того, чтобы быть столовой, но с первого взгляда было ясно, что за просторным, персон на двенадцать, столом сроду никто никогда не ел, да и бывали в этой комнате вряд ли — разве что для того, чтобы свалить в угол груды каких-то неопрятных папок и книг. Даже высокие узкие окна были голыми — нежилыми, без гардин, и сквозь них осторожно заглядывал внутрь стремительно густеющий и мрачнющий энский вечер. Галина Петровна покорно уселась на стул, который, признать, с трудом сдвинула с места, взвизгнув ножками по темному паркету, и визг этот, короткий, механический, неживой, долго еще стоял у нее в ушах, будто ее собственный.

Человечек меж тем извлек откуда-то сероватую негнущуюся скатерть и принялся, то и дело ныряя то в авоськи, то в сумрачный буфет, сноровисто, но без суеты накрывать ужин на две персоны, и все это время — сворачивая салфетки и выкладывая на тарелки невиданные Галиной Петровной лакомства — без остановки и почти без интонаций говорил, терпеливо, очень тихо, будто объяснял трудную задачу бестолковому ребенку, и с каждым его словом Галина Петровна, боявшаяся даже шелохнуться, бледнела все больше и больше, пока не стала наконец

ровного, очень красивого, почти оливкового оттенка. К моменту, когда стол был полностью готов, шампанское спрятано в запотевшее ведерко, а фрукты выложены в вазу, она совершенно усвоила, что именно будет с ней самой, ее родителями, а самое главное — с неким гражданином Николаем Ивановичем Машковым, да-да, вот именно — с Николенькой, если она позволит себе пикнуть, вякнуть, хоть тень неуважения проявить, и попробуй только слово кому о нашем разговоре сказать, никто не поможет — даже не надейся, ни бог, ни черт, ни председатель президиума ЦК КПСС, потому что он лично — слышишь? — ЛИЧНО Лазаря Иосифовича Линдта с днем рождения каждый год поздравляет, да не телеграммой отделяется, а звонит, сам своею царской ручкой диск телефонный крутит, чтобы выразить, так сказать, и пожелать.

— Поняла, сука подзаборная? — спросил напоследок человек и, подумав, обложил Галину Петровну безобразной, корявой и такой грязной бранью, что она не поняла и половины, а даже если б и поняла, это было уже все равно. Единственное, что она не могла уразуметь, — кто такой Лазарь Иосифович Линдт, но спрашивать об этом было нельзя, Галина Петровна это чувствовала всем своим животным, снова трясущимся нутром, потому что не животного, человеческого, в ней больше не осталось. Совсем.

— Вот и ладненько, — неожиданно весело сказал человек, выбрал из вазы апельсин покрупнее и ловко сунул в карман. — Витаминчики кушай и веди себя хорошо, — почти ласково посоветовал он и тотчас исчез с беззвучной скоростью, наводившей на мысли о мелкой и потому почти уголовно опасной нечисти, оставив Галину Петровну одну в огромной столовой, за нарядно убранном столом, и она почти два часа сидела, боясь не то что шелохнуться — прислониться к спинке стула деревянной от напряжения спиной, и все эти два часа, сквозь страх и наплывающую дурноту, отчаянно мечтала отщипнуть от громадной грозди хоть одну розовато-прозрачную, округлую, будто девичий сосок, виноградину. Но так и не посмела. Хотя раньше не пробовала виноград никогда в жизни. Ни разу. Никогда.

Когда звучно щелкнула входная дверь, Галине Петровне было почти все равно, кого она увидит и что, собственно, будет дальше. Единственное, на что ей хватило сил, это распрямиться еще больше — и такую ее и увидел Линдт во второй раз: испуганную, бледную, неудобно сидящую на неудобном стуле: маленькие валенки чуть повернуты носками внутрь, платок, пуховый, старенький, как у Маруси, сбился на затылок, человек не предложил ей раздеться, и Галина Петровна, так и не заметив,

просидела все это время в шубке, только пуговицы расстегнула, и Линдт, обомлевший, совершенно не ожидавший воплощения своих ночных и не слишком приличных устремлений, долгие несколько секунд не замечал ничего, кроме этой распахнутой шубки и крепко стиснутых кулачков, которые Галина Петровна прижала к груди. Господи, а потом она вдруг просто просияла от такой нежной, живой радости, будто так же, как и он, ждала этой встречи, будто Маруся действительно вернулась, будто все наконец сбылось.

Линдт шагнул к ней навстречу, распахнув руки, и Галина Петровна готовно кинулась в эти неверящие, нетерпеливые объятия, прижалась к нему, зарылась носом куда-то в плечо — вздрагивая и от смеха, и от слез, так что Линдт, чуть не потерявший сознания от ее ароматной, жаркой тяжести, даже покачнулся. Она забормотала что-то, он не расслышал и, только поднимая ее прелестное заплаканное лицо, чтобы поцеловать наконец эти невероятные, полупрозрачные, сочные губы, вдруг понял, что она торопливо, задыхаясь, глотая не только слоги, но и целые слова, говорит: уведите меня, спасите, умоляю, пожалуйста, умоляю, помогите, господа, как хорошо, что вы пришли!

Домой Галину Петровну привезли только через час — очень тихую, умытую до скрипа, гладко причесанную Линдтовой гребенкой, которую он, стыдясь и торопясь, промыл в ванной комнате — вот черт, старый я козел, совсем зарос перхотью, запаршивел, ну да ничего, все наладится, но каков Николаич, ума не приложу, как он ее уговорил приехать, вот хороняка, надо ему орден, что ли, смеха ради, похлопотать.

Есть Галина Петровна категорически отказалась, пить тоже, так что никем не тронутый нарядный стол так и простоял посередине комнаты, явно стесняясь собственного неуместного великолепия. Рассыпавшийся в комплиментах и извинениях Линдт попытался все объяснить — Галина Петровна, не поднимая длинных, все еще мокрыми стрелками слипшихся ресниц, извинилась тоже. Нет-нет, никто ее не тащил и не заставлял — напротив, она сама очень рада, что... Галина Петровна замолчала, мечась внутри собственной черепной коробки и лихорадочно обшаривая незрячими руками ледяные, каменные, как бы даже слегка слезящиеся стены — нет, нет, не выход, сюда ни в коем случае нельзя, ЭТОТ сказал, что Николеньку арестуют, будут мучить, пытаться, выкладывал на тарелку пласт за пластом янтарным жиром залитую осетрину и со вкусом рассказывал, как именно будут.

Галина Петровна сглотнула, подняла на Линдта невероятные сизые

глаза:

— Я просто заждалась и случайно задремала, а когда вы вдруг пришли, спросонья, знаете... Всякое привидится. Извините, что вчера вас не узнала, — мне очень совестно, правда. Я для этого и приехала — извиниться. Вы же, наверно, подумали, что я дурочка, да?

Линдт, как взбесившаяся мельница, замотал всеми лопастями разом, разразился дичайшей речью, в которой сам запутался, — ну что вы, Галина Петровна, как вы могли подумать и тыр, и дыр, и пыр. Вот — и этому она была Галина Петровна. А Николенька говорил, как мама, — Галюня, и губы его складывались, будто для того чтобы тихонько и нежно свистнуть или так же тихо и нежно поцеловать. Мама! Галина Петровна вдруг вцепилась в эту спасительную мысль — ну, конечно же — мама! Она посоветует, придумает что-нибудь, мама ее спасет! Напрасная надежда — впрочем, много ли вы видели ненапрасных надежд?

Когда в столовую вместо ожидаемого чудовища вошел вчерашний, политеховский старичок, помощник мага, Галина Петровна, вполне уже обжившаяся в кошмаре, в который попала, обрадовалась так, что едва не потеряла сознание, — это был знакомый, человек, с которым она общалась, пусть и всего пару минут, но он должен был помочь, выручить, как советский человек советского человека, ведь в прежнем мире Галины Петровны зло всегда было абсолютно анонимным, а люди, которые хоть раз в жизни поговорили друг с другом, автоматически превращались в товарищей, которые сам погибай, а того, кого приручил, выручай. И потом старичок был ВЗРОСЛЫЙ, старший, он вообще не мог причинить ей вреда — ни по каким законам, ни по советским, ни по человеческим, ни по биологическим, — он обязан был вывести ее из этого зачарованного замка, позвонить в милицию, всколыхнуть общественность, ударить в набат! Но старичок вместо этого вдруг принялся целовать ее огромным, горячим, слюнявым ртом, а когда она начала, крича, вырываться, испуганно пробормотал про какое-то недоразумение и, выпустив ее из рук, снова назвал страшный пароль, который уже произносил человек, — Лазарь Иосифович Линдт. Старичок повторил это дважды, прежде чем Галина Петровна поняла, что он просто представляется.

Она опомнилась, оценила обстановку и нашла единственно верное решение буквально за несколько секунд — скорость, сделавшая бы честь и самому Линдту, который вместо рыдающей перепуганной девчонки вдруг обнаружил в собственной квартире чуточку заторможенную, но необыкновенно приветливую красавицу, конечно, слегка смущенную, но очевидно заинтересованную в продолжении знакомства. Это было

настоящее чудо. Страх за Николеньку впервые включил мозги Галины Петровны на полную катушку, так что хватило на много месяцев вкрадчивого кружения, осторожного, совершенно птичьего обмана, где-то у нас уже была такая птица, отводившая от гнезда, только, в отличие от хитрой скворчихи, Галина Петровна была ранена по-настоящему и по-настоящему готова на все, лишь бы не пострадал Николенька, ее Николенька. Господи, лишь бы с ним не случилось ничего, лишь бы с ним, на себя ей было теперь совершенно наплевать.

Никто ни о чем не догадался, ни один человек, даже Линдт, даже мама. Родители вообще отrekliсь от нее сразу, бросили беспомощную, изломанную, умирать, Галина Петровна, вернувшаяся от Линдта, поняла это с первой секунды — по притихшим, вороватым взглядам, по тому, что никто, собственно, не спросил, отчего она так поздно и где была, а ведь Галина Петровна, выходя из черной «Волги», прекрасно видела, как мама быстро отдернула кухонную занавеску, красную в белую клеточку, очень веселенькую, но немного кривую, потому что именно на этой занавеске мать несколько лет назад учила ее строчить на ножном, ужасно дефицитном трофейном «зингере», и Галочка все не могла взять в толк, уложить в маленькой прелестной голове сложную совокупность движений, при которых ноги плавно качали педаль, а руки в совершенно ином, независимом направлении двигали ткань, которую с аппетитным и опасным стрекотанием дырявила быстрая и ослепительная иголка. А потом все вдруг наладилось, встало на свои места, включая блестящую круглую шпульку, и мама с удовольствием сказала — молодец, доча, вот выйдешь замуж, будешь всю семью обшивать, погоди, я тебя еще крючком научу плести, будешь домой салфеточки выплетать, а можно и скатерть, если терпения хватит. И Галочка верила, что хватит, потому что мама никогда ей не врала. Взрослые вообще не врут. Особенно собственным детям. И никогда их не предают. К сожалению, это, как и плетенная крючком скатерть, тоже оказалось неправдой.

Галина Петровна торопливо поднялась по лестнице, открыла своим ключом дверь и сразу почувствовала, что напрасно надеялась и спешила. Человечек уже побывал здесь — это было ясно по тому, как прятали родители глаза, по яркому аромату валериановых капель, который так и остался испуганно стоять в углу, на кухне, где кто-то — должно быть, отец — шевеля губами, отсчитывал в стопочку: тридцать одна, тридцать две, тридцать три, на, мать, выпей и не реви. Ничего плохого не случилось. Как-никак уважаемый человек, заслуженный, а что в возрасте, так не суп же из него нам всем варить... Галина Петровна сдернула шубку и, не сказав ни

слова, ушла к себе. Больше она с родителями не разговаривала — никогда.

На следующий день на работу Галина Петровна не пошла, и больше никогда уже, кстати, не работала, это было уже бог весть какое по счету никогда в ее новой жизни. А вечером приехал Линдт, сухой, нарядный, ароматный, с букетом чайных роз — почти в собственный рост — для будущей тещи, и с целой алкогольной обоймой для будущего тестя, и смущенный Петр Алексеевич Баталов впервые открыл для себя пробку-капельницу и стерильный безжизненный вкус импортной водки, от которой наутро совершенно не трещала голова, несмотря на то что напробовано было, стыдно сказать — и отличной выдержки шотландский виски, ароматом и вкусом неотличимый от лошадиной мочи, и ликер в круглой невиданной бутылке, похожий на разбавленную спиртом советскую сгущенку, да не стесняйся, мать, опрокинь еще рюмашку, это ж сладенькое. Хихикающая от смущения Елизавета Васильевна опрокидывала и, быстро-быстро тряся перед крепко ошпаренным ртом рукой, бежала на кухню — присмотреть за наспех замешанным и засунутым в духовку пирогом.

Галина Петровна сидела за столом, не поднимая глаз, и только иногда легко, едва заметно улыбалась, и никто не подозревал, что улыбка эта — результат совершенно механического, почти произвольного напряжения мышц, как у лягушки, распятой на лабораторном столе и раз за разом пропускающей через себя электрические разряды. Линдт преподнес ей бархатную коробочку, в непроницаемом нутре которой обнаружилось прелестное золотое колечко, очень простое, очень маленькое, с единственным сапфиром — некрупным, но зато такой старинной и чистой воды, что сразу было ясно, что стоит колечко — целое состояние. Галина Петровна примерила его на средний палец — было чуть тесновато, и мать шепотом подсказала: на безымянный. Галина Петровна всхлипнула и выскочила из-за стола. Линдт проводил ее жадными, жалкими глазами и, откашлявшись, сказал все, что было положено сказать родителям будущей жены, — и про руку, и про сердце, и про счастье вашей дочери.

Учитывая возраст и положение жениха, шумихи решено было избежать, поэтому ровно через неделю Галина Петровна по всеобщему молчаливому одобрению просто переехала к Линдту. Маленький деревянный чемодан со смешным девичьим барахлишком нес за ней Николаич, мигом ставший в родительском доме таким же незаменимым и своим, как и в доме самого Линдта.

Наутро, выйдя из спальни, растрепанная, с остановившимися глазами, Галина Петровна увидела на столе свой паспорт — новый, скрипучий, красный, с чуть смазанным штампом о законной регистрации брака и

свеженькой фамилией. Галина Петровна Линдт — прочитала она на первой странице и вдруг засмеялась. Они все у нее отняли. Имя, и свадьбу, и фату, и праздничный винегрет, и первый шажок первенца, и последний вздох любимого, совпавший с ее собственным последним вздохом. Всё. Всю ее жизнь. У Галины Петровны больше ничего не было.

Первые несколько недель своего неожиданного и подневольного супружества Галина Петровна провела в странном, болезненном отупении, и хотя вся ее последующая жизнь с Линдтом мало чем отличалась от этих дней — и по числу супружеских ласк, и по нежности с его стороны, и по отвращению — с ее, именно медовый месяц оказался самым невыносимым. Нечесаная, в измятой ночной сорочке, она часами слонялась по гулкой и практически пустой квартире (обжить пять ненужных комнат Линдту было недосуг, а ей самой — уж тем более), время от времени утыкаясь то в окно, то в книжную грудку, то в стол, будто механическая игрушка, у которой кончился завод. Вздрагивала от каждого шороха, как настоящая клиническая невротичка. Ждала.

Линдт, который все сильнее и сильнее увязал в молодой жене, откровенно манкировал и работой, и научными изысканиями и норовил поехать в институт попозже, заскочить хоть в обеденный перерыв и вернуться домой как можно раньше, поэтому основным занятием Галины Петровны было прислушиваться к входной двери — не щелкнет ли язычок английского замка, нет, слава богу, показалось. На этот раз пронесло. Но Линдт все равно приезжал — как она ни надеялась, веселый, ужасный, живой, он был сразу всюду — раскладывал на столе вкусности, шуршал пакетами, кряхтя, сбрасывал в прихожей махонькие, страшные, как у гнома, ботиночки, так же кряхтя, лез сразу двумя руками под ее сорочку, трогал — сначала медленно, сосредоточенно, потом все больше и больше входя в раж. Галину Петровну от отвращения мгновенно всю прошибало испариной, и от гладкого аромата ее пота он шалел еще больше. Дотерпеть до спальни Линдту удавалось нечасто, так что квартира была словно в пятнах мерзкой слизи, и, даже оставшись ненадолго одна, Галина Петровна не могла найти себе места среди этих невидимых следов — вот тут было, и вот тут, и вот тут он меня тоже. И в спальне, конечно. Огромная кровать. Каждый день. Утром и вечером. Иногда даже ночью, и это было хуже всего, потому что она не успевала подготовиться, собраться, как попадала в анфиладу кошмаров, которые переходили один в другой, и она не могла не то что проснуться — даже закричать. От любого прикосновения Линдта Галина Петровна на мгновение цепенела, как гусеница, а потом, как гусеница же, обмякала, но вместо того, чтобы умереть, становилась

особенно податливой, шелковой, мягкой, и Линдт, простодушно воспринимавший это как стыдливое согласие, принимался усердствовать еще больше. Ни для одной женщины он так не старался. Ни в жизни, ни в постели. Ни для одной — никогда. Он думал — этого вполне достаточно, чтобы счастливы были оба. Галина Петровна ведь слова ни разу не сказала, ни разу не попыталась его оттолкнуть. Жалкое оправдание, конечно. Когда Линдт это понял, изменить уже было нельзя ничего. Или почти ничего.

Увы, его гениальность не распространялась на простые, едва заметные законы ежедневной человеческой жизни. Он слишком долго жил один и слишком долго наблюдал только за парадной стороной счастливейшего супружества Чалдоновых, чтобы повторить такое же чудо у себя дома. К тому же Галина Петровна не просто боялась мужа и не просто его ненавидела. Она не выносила Линдта так, как некоторые не выносят змей, тараканов или даже вовсе невиннейшие вещи вроде голых полупрозрачных птенцов, высунувших из гнезда скрипучие зияющие жерла. Это была линдтофобия чистой воды. Тягучие головные боли, потеря аппетита, тошнота, потливость, непроизвольные судороги, которые ликующий Линдт принимал за спазмы совершенно иного рода. Страх. Нет, даже так — СТРАХ.

Линдт ничего не замечал. Фейгеле моя, бормотал он, засыпая и сам дивясь неизвестно откуда выплывшему идишу — видимо, все-таки запас самой исступленной нежности закладывается в нас еще во младенчестве, и язык этой нежности всегда — материнский. Фейгеле. Птичка моя. Галина Петровна бесшумно вставала с постели, плелась в ванную комнату и мылась, мылась, мылась, пока кожа на пальцах не становилась белесой, сморщенной, как у утопленницы, горячая вода колыхалась, плыли по ней рыжеватые выющиеся пряди, прикрывая намученные, натерзанные соски, болезненно вспухший от академических усердий срам. Вот именно — срам. Нельзя было подобрать слова точнее.

Когда энская зима чуть тронулась, ослабела, замаслилась по краям, предчувствуя весну, Линдт свозил молодую жену на могилу Маруси. За городом было пронзительно холодно, бритвенный ветер, присвистывая, как шпана сквозь дрянные передние зубы, стегал Галину Петровну по лицу, она куталась в старую свою девичью шубку (нового, от мужа, она не надевала ничего, даже в пакеты не заглядывала), смотрела, как Линдт возится у невидимого под сугробами холмика, утапывая снег и не замечая, что наступает на две другие могилы — какого-то угрюмого деда и ребеночка, от которого даже фотографии не осталось — лишь серый заиндевелый камень, на котором Галина Петровна смогла прочитать только имя Славик и

две даты, строго обрезавшие с двух сторон маленькую жизнь. Родня, наверно, равнодушно подумала Галина Петровна, и глаза у нее были такие же серые и заиндевелые. Линдт отогрел ладонями фарфоровое Марусино лицо, пробормотал, стыдясь и стараясь, чтобы никто не услышал, — вот, милая, наконец-то привел тебе жену. Ты всегда мечтала, помнишь? Маруся смеялась одними глазами, легкие брови, легкие волосы, уложенные просто и высоко, в ушах — крошечные жемчужины. Его жемчужины. Чалдонов сказал — в них и похоронили.

Линдт еще раз погладил уже оттаявший могильный овал. Галина Петровна шмыгнула носом и оглянулась на ворчащую в отдалении «Волгу», в которой кемарил, разомлев в тепле, водитель, способный, как любой опытный персональщик, мгновенно заснуть хоть в эпицентре ядерного взрыва — лишь бы хозяин вышел из машины. Поедем, заторопился Линдт, ты замерзла совсем. Он попробовал дотронуться до ее щеки, Галина Петровна непроизвольно дернулась и торопливо отвернулась. Ничего, бормотал, Линдт, идя за женой по кладбищенской тропинке и стараясь не наступать на ее маленькие, круглые, до слез обаятельные следы. Ничего, все еще наладится, будет день, и будет пища. Маруся всегда так говорила. Но ничего не налаживалось. И щека Галины Петровны под его пальцами была холоднее фарфоровой фотографии мертвой Маруси.

Через несколько месяцев морок слегка рассеялся, и Галина Петровна стала понемногу приспосабливаться, как приспосабливаются люди даже к концлагерям и баракам, к ежедневным — с восьми до одиннадцати — пыткам, к подъему по гудку, к нищенскому авансу, к старости, к тому, что все (вообще — все) закончится тем, чем и должно закончиться, — смертью. Конечно, это была не жизнь, а среда обитания. Но ведь и в тюрьме тоже люди живут. А Галина Петровна, по крайней мере, была сыта, обута и одета. Она все еще по большей части дичилась, молчала и никуда не выходила из дома. С родителями она не говорила даже по телефону, молча отходила в сторону, совала трубку недоумевающему Линдту, который честно отправлял все нехитрые обязанности зятя, пока Галина Петровна не вступила наконец в полную свою силу и не перекрыла родителям даже эту крошечную живительную струйку. Но это было потом, очень потом. Пока же Галина Петровна, медленно, слабо, как после тифа, училась прежде простым и даже привычным вещам — причесываться, ежедневно чистить зубы, вовремя есть, включать иногда радиоточку, чтобы послушать что-нибудь умиротворяющее про удои и накос. Она даже как-то отгладила блузку, с удивлением обнаружив, что костяные пуговички еле застегнулись

на груди.

За окном прыгали совсем уже весенние синие капли и отошавшие за зиму, но полные оглушительного ора воробьи. Апрельское небо едва помещалось в распахнутую форточку, во дворе нерасторопная нянька поспешала за упитанным ведомственным дитятей, который вознамерился собственноручно измерить новенькую, с иголки, лужу. Бумс! Нянька растянулась во всю немалую длину, и дитя, злорадно хохоча, тотчас вбежал в свою лужу, вздымая ледяные волны, словно маленькая кургузая баржа, груженная килограммами радости, свежей рыночной вырезки и теплого молока. Стукнула дверь, и Галина Петровна впервые не вздрогнула, не сжалась, а обернулась, все еще ощущая, как тает на отвыкших губах мягкая, сливочная на вкус улыбка. Но это был не Линдт. Хуже. На пороге, прижимая к груди какую-то папку, стоял Николаич, который с той давней, приснопамятной встречи, как опытный царедворец, ни разу не позволил себе остаться с Галиной Петровной наедине. Оба и словом не перемолвились о том, о чем могли бы, хотя и не хотели поговорить.

Галина Петровна перестала улыбаться и торопливо вышла из комнаты. Николаич проводил ее угрюмым взглядом. Ему, старому бобылю, хватило секунды, чтобы понять то, что Галина Петровна осознала спустя долгие недели, а Линдт и вовсе узнал, как и положено, самый последний. Этот свет, и прежде нежный, а теперь загустевший до зримой, почти медовой плотности. Эти темные сладкие тени под глазами и в углах чуть приподнятых губ. Едва сошедшаяся на груди простенькая блузка, которую распирала изнутри сила невидимая, но явная и похожая на ту, что взламывала летом даже многосантиметровый асфальт, чтобы выпустить на волю шелковистую, упругую, круглую грибную макушку.

Галина Петровна была беременна.

Все лето сорок девятого года Линдт провел в Семипалатинской области, в пыльном коконе повышенной нервозности, секретности и жары. Народу собралась тьма — ждали Берию, Самого, конца света, казней египетских, расстрелов на месте. Никто, включая Курчатова, не верил, что чертова РДС-1 взорвется, — американцам со своей пришлось покоряться немало, потому, на всякий случай, готовились к худшему, хотя, с точки зрения Линдта, худшим был как раз сам ядерный взрыв. Он-то как раз был уверен, что взорвется, на все сто — чистая математика, коллеги, можете даже не сомневаться. Это в физике полно сюрпризов, в математике все точно — единственная вещь, на которую можно положиться вполне.

С 27 августа никто не спал — просто не могли. Сам не приехал, зато все-таки прибыл Берия — очень полный, но с неожиданно легкими, почти изящными манерами, свойственными некоторым особенно удачливым толстякам. Линдту он понравился, вполне, впрочем, ожидаемо — Берия прекрасно слушал, был деловит, умен и обаятелен, как и положено хорошему исполнителю. Он и вел себя как исполнитель — не заносился, проблемы по большей части решал, а не создавал и старательно делал вид, будто он тут так — в сторонке, в тени, а главные здесь вы, товарищи ученые.

— Главные здесь — товарищи конструкторы, — поправил Линдт, — на бумаге все правильно, так что если они не налажали, все пройдет наилучшим образом.

— Думаете, Лазарь Иосифович? — вежливо спросил Берия, в сотый раз вытирая лоб и шею носовым платком, страдал он от казахстанской жары просто невероятно.

— Не думаю, а знаю, разница существенная, — проворчал Линдт. — Пойдемте лучше прогуляемся, а, товарищ министр? Завтра всего этого уже не будет, а жаль. — Линдт кивнул на Опытное поле, громадное, сотни в три квадратных километров, старательно застроенное железнодорожными мостами, домами, дорогами. Город, созданный только для того, чтобы умереть. Как и любой другой город, впрочем. Смеркалось, ревели обреченные верблюды и еще какое-то несчастное скотье, которое без всякой математики чувствовало, что эта ночь — последняя. Перекрикивались в отдалении люди, бодро пели марширующие солдатики, вкусным мясным дымком тянуло от полевых кухонь.

— А почему вы отказались от научного руководства испытаниями? — вдруг спросил Берия.

— Ой, увольте, Лаврентий Павлович! Бегать, бумажки подписывать, медную проволоку по складам выбивать. Такая скука. Даже Капица, на что дурак — и тот отказался. Пусть лучше Курчатов, он у нас молодой, честолюбивый.

— Вы всего на два года старше, Лазарь Иосифович, — резонно заметил Берия. Пытаясь угнаться за легким Линдтом, он отчаянно пыхтел. — Фу, да не бегите так, у меня сердце выпрыгнет.

— Не выпрыгнет, — пообещал Линдт, сбавляя шаг и принаравливаясь к забавному толстяку. Такой умильный. Что все перед ним так трясутся, честное слово? — Не скажите, два года — большая разница. Я уже над учебником Краевича потел, а он еще мамкину титьку сосал. Пусть теперь отрабатывает.

Оба засмеялись — немножко веселее, чем полагалось в такой ситуации, в такой компании, в таком месте.

На следующее утро, 29 августа 1949 года, в семь часов утра первое испытание советской атомной бомбы успешно состоялось. Маруся была уже три дня мертва, Линдту просто не доложили об этом. Не рискнули отвлекать. Поэтому он прыгал вместе со всеми в бункере, обнимался, радовался, что так здорово жажнуло. Даже, кажется, орал. И ничего не почувствовал — ничего. Ни единой мысли, ни малейшего предчувствия. Арифмометр. Тупая счетная скотина.

Линдт вернулся в Энск только к концу сентября — цветы на Марусиной могиле уже почти стали сочной гнилью, тленом, сеял мелкий ледяной дождь, то и дело срываясь в крупку, сухо секущую по щекам. Чалдонов, сразу постаревший на тысячи лет, сгорбленный, трясся головой, все пытался поправить оплывающий глиняный могильный бочок, и руки его дрожали так же мелко, жалко.

— Оставьте, Сергей Александрович, — не выдержал Линдт, — я сам.

Глина, скользкая, жирная, навеки забившая прелестный Марусин рот.

— И меня чтоб здесь вот, рядом, Лазарь, — с трудом выговорил Чалдонов и не выдержал, снова зарыдал, ужасно растягивая седые, колючие, старые щеки. Умер он только через четыре года — в пятьдесят втором, и Линдт, не оставивший медленно сползавшего в слабоумие старика до последней минуты, никогда даже себе не признался, что презирал и ненавидел его за это. Чалдонов обязан был умереть сразу за ней, вместе с ней, вместо нее. Они оба были обязаны.

Впрочем, у Линдта был шанс — отличный, почти стопроцентный, и, видит Бог, он не собирался от него отказываться. Разговор с Берией накануне Большого Взрыва, показавшийся Линдту таким незначительным, оказывается, не был обычной светской болтовней нервничающего сановника и малахольного ученого. Это стало ясно после первого же звонка из Москвы — в ноябре, спустя несколько месяцев после Марусиной смерти. Звонил какой-то профессор из Академии наук, якобы знакомец, но такой седьмой воды, что Линдт так и не связал его блеющий голосок хоть с каким-нибудь подобием физиономии. Звонок был контрольно-предупредительным, услужливому олуху велено было доложить, что Линдтом недовольны. Он был не идиот и прекрасно знал об этом раньше. Недовольны были не им самим, конечно, — кто бы вообще посмел, а тем, что он упорно не возвращался в Москву, хотя, между прочим... Линдт невежливо бросил трубку.

Вторым позвонил Иоффе. Линдт, в глубине души навсегда оставшийся

тощим беспризорником, а потому мало кого уважавший как в науке, так и в жизни, для Иоффе делал исключение, больше, правда, похожее на грамматическую ошибку. Иоффе был Учитель — не в божественном, а в самом простом, педагогическом смысле этого слова, и это единственный повод написать его с большой буквы. Иоффе не лень было возиться с маленькими и слабыми, сирыми и убогими, и было в этом что-то очень еврейское. И очень Марусино. К тому же Иоффе был отменный теоретик, и Линдт прекрасно помнил несколько счастливейших минут, которые он провел еще в 1922 году над работой Иоффе по реальной прочности кристаллов. Поэтому трубку он не швырнул, а напротив, долго и с удовольствием говорил со стариком, над которым тоже уже сгущались тучи свежееорганизованной борьбы с космополитизмом, которые очень скоро пролились вполне реальным серным огнем. Иоффе сняли с поста директора Физико-технического института АН СССР, который он еще в 1921 году сам, своими руками, вырастил из маленького отдела. Линдта снова не тронули, как не трогали никогда. Видно, надо пару раз прийти на ученый совет без штанов, раз в лицо не узнают, съязвил он, кажется, даже слегка обиженный очередным пристрастным невниманием властей.

Но тогда, в начале зимы сорок девятого, Иоффе звонил не для того, чтобы жаловаться — совсем наоборот, Лазарь Иосифович, я прошу, настоятельно прошу вас вернуться в Москву, и не просто так! Линдт внимательно выслушал оглашенный список должностей и окладов (совершенно неинтересный) и весьма заманчивый перечень запланированных на ближайшее время научных задач. Все это очень и очень соблазнительно, Абрам Федорович, и я польщен, что вы даже взяли на себя труд врать, будто не справитесь без меня. Но, честное слово, зачем мне для всего этого тащиться в Москву? Я прекрасно поработаю и тут — почта, слава богу, у нас еще ходит. Не как при царе, конечно, но справляется. А будет что невероятно срочное — можно ведь и фельдъегеря какого-нибудь снарядить.

Иоффе побряхтел, но, не доверяя телефонным проводам, предупредить об опасности не рискнул. Только попросил на прощание — берегите себя, Лазарь Иосифович, и Линдт послушался, весь вечер вдумчиво собирал старый брезентовый вещмешок: две пары белья, кружка, ложка, шерстяные носки, блокноты, Марусина фотография. Набор вышел привычный — с тем же барахлом, уложенным в тот же вещмешок, он обычно мотался по полигонным испытаниям. Линдт вынул из гардероба брюки поплотнее, взвесил их на руке и вдруг засмеялся. Хуюшки вам. Не дождетесь. Он быстро переоделся в лучший свой, специально под

заседания и награждения сшитый костюм, радуясь тому, как хорошо и прохладно обнимает плечи белоснежная сорочка, как ловко уселся на положенное место узел нарядного галстука. Марусин снимок он переложил во внутренний карман пиджака, туда же отправил документы и пинком загнал ненужный вещмешок под кровать.

В три часа ночи, когда в квартиру позвонили, он открыл дверь уже одетый, в отличном, тоже на заказ сшитом пальто с воротником из седоватой каракульки, почти неотличимой от его собственных, гладких, тоже чуть тронутых инеем завитков. Строгий аромат трофейного одеколона *Kölnisch Juchten* (геометрический флакон зеленого стекла, красная крышка, белая этикетка) стоял в прихожей вместе с Линдтом, будто адъютант его превосходительства, и запахи влажной замши, подкопченного мяса, сладкого талька и еще чего-то неуловимого, щегольского, офицерского, рифмовались с пришедшими, с их скрипучими портупеями, с идеально выбритыми щеками самого Линдта, с его свежим бельем, с самой ситуацией. Не зря «Кельнскую юфть» обожали летчики люфтваффе, не зря Линдт хранил этот бог весть какими кровавыми путями добравшийся до него флакон.

Угрюмый, похожий на бревенчатый сортир майор при виде такого парадного барина от неожиданности козырнул, хотя вообще-то собирался позвонить еще раз, а потом отколотить дверь привычными и к молоту, и к серпу кулаками. За спиной у него маялись не выспавшиеся солдатики.

— Обыск? — учтиво пригласил гостей Линдт, слегка поклонившись.

— Никак нет, — пробурчал майор, недовольный, как ребенок, которому вдруг начали перевирать известную наизусть и оттого особенно любимую сказку. — Приказано доставить.

— Так доставляйте, — распорядился Линдт, натягивая мягкие кожаные перчатки, еще до войны присланные из Лондона сэром Джеймсом Чедвиком, нобелевским лауреатом по физике за 1935 год. И первым легко, почти вприпрыжку, поспешил вниз по лестнице.

За всю долгую ночную дорогу Линдт не проронил ни слова — а зачем? Когда воронок, покрутившись по улицам, выехал за город, сам собой отменился допрос, а когда замигали впереди огоньки на вышках военного аэродрома, отпал и расстрел без суда и следствия, не радовавший Линдта только потому, что в начале декабря под Энском было не сыскать утонувшего в черемухе набоковского оврага, без которого русскому человеку, будь он хоть трижды еврей, и расстрел — не расстрел. В ледяном рычащем и трясущемся самолете говорить тоже было не о чем, да и не с кем. Раз летим — значит, в Москву. Простая логика. Разум делает человека

бесстрашным. Зато чувства отлично убивают.

Линдт вспомнил Марусю, движение, которым она подбирала с шеи легкие волосы, невнятно и весело, сквозь стиснутые в зубах шпильки, выговаривая ему за опоздание и очередные подарки. Ну что вы, Лесик, опять обвешанный пакетами — точно мародер, честное слово! И что-то я не слышала, чтобы по карточкам выдавали семгу. На дворе же двадцать второй год! Семга — давно официально признанный пережиток царского режима. Где вы ее взяли? Украл, Мария Никитична. Не наговаривайте на себя, Лесик, вы хороший мальчик, у вас это на лбу написано. Линдт смущенно развел руками — ничего не поделаешь, действительно украл.

На самом деле семгу он выменял у дурака-нэпмана, толстого нервного лавочника, всучив ему взамен чертеж вечного двигателя, наспех нацарапанный на бумажке. Вот, соберете из любого примуса. Тут ребенок справится. И без заправки будет электричество давать? И не остановится? — усомнился лавочник, смутно догадываясь, что его жестоко обманывают, но не понимая — как именно. До Страшного суда не остановится, а там — как Господь попустит, пообещал Линдт, укладывая в пакет жирную рыбину. Лавочник, все еще сомневаясь, проводил семгу тоскующими глазами. Если поломается, я там домашний адрес написал, приходите — починю, заверил на прощание Линдт. Адрес он оставил и правда домашний, но не свой — а Тихона Ивановича Юдина, профессора психиатрии Московского института дефективного ребенка. Милейший, между прочим, был человек, старый друг Чалдоновых, умница, интеллигент. Таких больше не делают — а зря.

Маруся усмирила шпилькой последний завиток и засмеялась. «Идите, Лесик, я вас поцелую», — сказала она нежно, и Линдт, сорокадевятилетний, двадцатидвухлетний, почувствовал, как бешено колотится в горле огромное, никуда не помещающееся сердце. «Умерла!» — вдруг громко и с упреком сказал Чалдонов, и Линдт, вздрогнув, проснулся. Самолет, завывая, заходил на посадку, в непроглядной черноте на горизонте уже мелькали, наплывая и увеличиваясь, огни. Линдт вытер слезы сухой, неживой ладонью. Это была Москва.

На аэродроме их ждал трофейный «мерседес» — новая забава водителей из ГОНа, гаража особого назначения. Безмолвный вестовой сдал Линдта еще одному такому же молчаливому голему, хлопнули дверцы, замелькали беспросветные, безлюдные улицы, было едва-едва четыре утра, хотя вылетели они из Энска тоже в четыре и провели в воздухе минимум пять часов — изящная физическая шутка, результат разницы во времени, помноженной на скромную скорость тогдашних летательных аппаратов.

Линдт сильно потер заросшие щетиной щеки — все закрыто, не побреешься, напрасно он вообще устроил этот карнавал с переодеваниями. Он не был в Москве с сорок первого года и вдруг понял, что совершенно не соскучился. Без Маруси все потеряло свой смысл.

«Мерседес» остановился во Вспольном переулке у изящного особняка работы какого-то явно недурного архитектора. Линдт покопался в памяти и отшвырнул выплывшее откуда-то имя Эрихсон — а зря. Молодой подтянутый мужчина в прекрасном штатском костюме и с прекрасной, почти уланской выправкой проводил его в кабинет — лампа, стол, книжные шкафы, диван, тяжелые шторы. Линдт опустил в кресло и только сейчас понял, насколько устал.

Дверь тихо открылась, и кто-то вошел.

— Здравствуйте, Лаврентий Павлович, — сказал Линдт, не открывая глаз. — Если пересчитать горючку, которую вы на меня истратили, и все эти... — Линдт покрутил рукой в воздухе, подбирая слово. — ...И все эти вооруженные и молчаливые жопо-часы, то выйдет не одна тысяча государственных рублей. Между тем патент на изобретение телефона был получен Александром Беллом еще в 1876 году, а сама идея передачи человеческого голоса на расстояние...

— Мне многие говорили, Лазарь Иосифович, что вы сумасшедший, — перебил его Берия. — Но даже сумасшедшие чего-нибудь боятся. Поверьте, я знаю, что говорю.

Линдт открыл один глаз, потом второй и зевнул.

— Ужасно спать хочется, — пожаловался он. Берия, свежий, будто не декабрьский рассвет стоял за окном, а июльский полдень, в отглаженной белой рубашке навыпуск, смотрел на него выжидающе. Линдт с огорчением подумал, что его рубашка, к сожалению, уже далека от такого же ослепительного совершенства. И вообще — хорошо бы в душ.

— Конечно, я тоже боюсь, Лаврентий Павлович, — признался он. — И конечно, я не сумасшедший.

— Тогда почему вы отказываетесь вернуться в Москву? Это глупо, в конце концов. Мы готовы создать все условия, тут же все-таки столица — передовой край науки, так сказать.

Линдт пожал плечами.

— Наука — понятие не географическое, — сказал он. — Передовых краев у нее нет. Впрочем, и не передовых тоже. Все ограничено пределами черепной коробки. — Он постучал себя пальцем по лбу и сам засмеялся, настолько вышло звонко. Как у полудурка-второгодника.

— И все-таки — почему?

— У меня в Энске — любимая женщина, — просто объяснил Линдт.

— Вранье! — Берия даже покраснел от гнева и сразу перестал быть уютным. — Вранье! У вас в Энске куча бессмысленного бабья, половину которого подложил под вас лично я!

— Премного благодарствую, — откликнулся Линдт. — У вас отличный вкус, хотя я, признаться, не самый капризный потребитель. Ем, что дают, и не жалею. Но только я ведь не про бабье вам говорю. Я про любимую женщину. Она в Энске. И я от нее не уеду.

— Так возьмите ее с собой в Москву, какие проблемы! — Берия успокоился так же мгновенно, как взорвался.

— Не могу, — тихо ответил Линдт.

— Замужем? — деловито уточнил Берия. — Но это же поправимо.

— Это непоправимо, Лаврентий Павлович, — еще тише сказал Линдт. — Она непоправимо замужем, понимаете? И к тому же умерла.

Линдт встал, лихорадочно обвел глазами кабинет.

— Где тут у вас сортир? — спросил он отрывисто, с ужасом понимая, что сейчас расплчется, разревется, визжа и колотя кулаками ковер, потому что это было несправедливо, черт подери, несправедливо, он отдал этим сволочам всю свою жизнь, досуха выжал свои мозги, придумал им чертову бомбу, да не одну — миллион бомб, снарядов, ракет, он херову тучу людей угробил ради их несчастного коммунизма. И они не могли воскресить Марусю. Не могли, суки. Если б они просто не хотели, он бы заставил. Но они не могли. Никто не мог. Совсем. Почему я не стал врачом? Биологом? Я бы что-нибудь наверняка придумал. В конце концов, если апоптоз клетки запрограммирован биологически, должны быть способы и перезапустить процесс, или...

— По коридору налево, — быстро подсказал Берия. — И не волнуйтесь так, Лазарь Иосифович. Вот увидите, мы что-нибудь придумаем.

Они ничего не придумали, конечно, зато отлично позавтракали, с хорошим кофе и горячими булочками, от которых Берия с явной грустью отказался, похлопав себя по внушительному животу.

— Врачи запретили, — недовольно сказал он. — Вот кто у нас в стране настоящие вредители и палачи!

Линдт засмеялся, не подозревая, что это не шутка — совсем, совсем нет.

К вечеру он тем же самолетом вернулся в Энск, где его не успели даже хватиться. Больше Линдта никто не беспокоил — ни звонками, ни уговорами, напротив — он впервые в полном объеме ощутил, как легко и

приятно катиться в комфортабельном вагоне, который тянет вперед хоть и бездушная, тупая, но такая упоительно могучая машина, как государство. Ему выделили целый институт, проглотив наглое заявление, что административными делами пусть занимаются идиоты, и тут же доставили и самого идиота, профессионального советского директора, патологически, почти нервно вороватого, но зато способного блистательно, из воздуха, добыть любую необходимую институту вещь — будь то туалетная бумага или сложнейший, только что выпущенный где-нибудь в Нью-Йорке или Мюнхене прибор. Хотя с туалетной бумагой было, конечно, не в пример сложнее.

Жизнь налаживалась, неожиданно становясь все буржуазнее, будто Линдт жил не в СССР, а где-нибудь под Стокгольмом, в тихом домике, личным другом короля. Издания, переиздания, новые разработки, премии — чуть ли не последняя из Сталинских досталась Линдту, силком практически врученная пятикомнатная квартира, хотя он просил отдать ему домик Чалдоновых, к чему эти хоромы, все равно я мотаюсь к старику по два раза в день? В верхах щелкнули каблуками, и у Чалдонова мгновенно появилась сиделка, круглосуточная, похожая на гориллу баба,правлявшая свои милосердные функции со сноровкой и сердечностью подключенного к розетке автомата. Чалдонову, погруженному в тихое, совсем обезумившее его горе, было все равно, а Линдт почти откровенно перевел дух — без Маруси Чалдонов, беспомощный, слюнявый, неопрятный, стал ему совершенно невыносим.

Были в новом сановном положении и свои сюрпризы. Вместе с громадной квартирой, которая Линдту откровенно докучала, появился Николаич. Именно появился — как домовый, нет, даже не появился — завелся, словно левенгуковские мыши в старых тряпках. Просто в один прекрасный день Линдт, приехав из своего института, обнаружил, что все потолки в квартире выбелены и среди свежего, влажного аромата известки возится, собирая с пола заляпанные газеты, коренастый паренек в стареньком солдатском х/б — босой, круглоголовый и очень основательный.

— Вы не подумайте, — доложил он Линдту вместо «здравствуйте», — я все, что с фотографиями Иосифа Виссарионыча, заранее отложил в стопочку, чтобы не замарать, так что никаких эксцессов не предвидится. — Слово «эксцесс» он произнес со старательной важностью малыша, совсем недавно выучившего очень длинное и сложное стихотворение. Линдт усмехнулся.

— А что — могут быть эксцессы? — поинтересовался он.

— Не за такое расстреливали, товарищ Линдт, — честно признался паренек, так что сразу стало ясно, что ему приходилось принимать непосредственное участие в этом безобразии, а что поделаешь? Служба есть служба! Он отер руки о крепкую задницу, встал во фрунт и, щелкнув босыми грубыми пятками, отрапортовался — гвардии сержант Самохов Василий Николаевич. Глаза у паренька были твердые, как Марусины соленые огурцы, — и точно того же аппетитного зеленовато-бутылочного цвета. Линдту он понравился сразу.

На самом деле гвардейского в Василии Николаевиче Самохове было немного — разве что наглость да твердолобость, без которой почти недостижим ни один, даже самый завалящий армейский подвиг. К тому же в кадровой армии Николаич не служил и даже толком не воевал, если не считать года, который он промаялся в СМЕРШе — в бериевском, разумеется, СМЕРШе, а не в абакумовском, их многие путали, а ведь был еще и кузнецовский СМЕРШ, тот, что при Управлении контрразведки наркомата военно-морского флота, но во флот Николаич сроду бы не пошел. Ни широченными клешами бы не заманили, ни кортиками, ни сытным, хоть лопни, пайком. Боялся потому что сержант Самохов воды — просто до потных яиц боялся. А еще — пуще воды — боялся он не выбиться в люди.

Родом Николаич был из сельца под названием Елбань — и все, что вы могли вообразить, услышав этот звучный топоним, меркнет перед действительностью, в которой довелось родиться нашему герою — без ума, без таланта, без совести, без стыда, даже без мамки, которая, подарив Николаичу ненужную ему совершенно жизнь, померла, не оставив по себе даже воспоминаний. Не от болезни, нет — от беспробудного пьянства. В Елбани пили все, а те, кто не мог, отсиживались по дворам — село было немаленькое, лютное, со злющими бабами, злющими псами и злющими ветрами, которые круглый год с воем прочесывали улицы, расталкивая зазевавшихся ходяков и подшвыривая в небо мелкую пыльную сечку. Но семейство Самоховых — большое и бестолковое, слыло алкашами и изгоями даже в Елбани, и Николаич за первые пятнадцать лет жизни хлебнул столько, что Диккенсу с Достоевским хватило бы не на одну серию романов со зверскими рожами на дешевых тонких обложках.

Когда-то — может, до смерти мамки, а может, еще раньше — Самоховы, вероятно, знавали лучшие времена, от которых осталась только изба, срубленная неизвестно кем, но крепко. Должно быть, расстарался кто-то из дедов, но семейных летописей Самоховы давно не вели, едва осознавая в самогонном тумане настоящее время да себя самих. Отец

Николаича пил много лет подряд, практически не приходя в сознание, и, вероятно, сильно изумил бы своей печенью любого врача, но охотников изумляться, как и врачей, в Елбани не находилось. Из двенадцати сделанных Самоховым-старшим детей (сплошь чистая порода — одни сыновья) младенчество удалось пережить только семерым, и старшие уже были родному папке достойные соперники и собутыльники. Николаич был младшим. Самым младшим. Тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения.

Он вырос в нищете — не в честной протестантской бедности, где все выбиваются из сил ради трудовой копейки, но все равно находят и мужество, и время, чтобы выскоблить добела пол на кухне и начистить кирпичной крошкой медный кофейник, а именно в нищете — жуткой, грязной, липкой, безнадёжной русской нищете, которая так любит визгливо сетовать на Бога и так же визгливо на Него уповать, выставляя, словно напоказ, драные локти и такую же драную, никчемную душу. За вареную картофелину или пару валенок приходилось воевать с братьевыми до крови, совсем по Дарвину и с дарвиновским же успехом. Но Николаич, переболевший всей дрянью, которой только может переболеть ребенок в аду, золотушный, тощий, с вечной соплей, наплывшей на верхнюю губу, оказался мутантом такой удивительной силы, что выжил. Ну и советская власть помогла маленько — чего уж. Советскую власть Николаич уважал — и было за что. В школе, куда его и записала, и отвела елбанская учительница, давно отвыкшая и сочувствовать, и удивляться, но все еще по инерции выполняющая свой гражданский долг, было тепло и бесплатно давали пожрать. А если поколешь дров или помоешь полы рыжей прокисшей тряпкой, то можно было и заночевать, заручившись разрешением сторожа, набухшего от самодельной браги, но смирного, в отличие от отца, который, ненадолго трезвея, лупил детей с бессмысленной яростью стихийного бедствия.

А еще в школе была фотография товарища Сталина, и, глядя на его пушистые усы, ясный лоб и ласковые глаза с веселыми лучиками внутри, доходяга Васька Самохов чувствовал то же самое, что испытывают утомленные пилигримы, добредшие наконец до желанной святыни. От товарища Сталина был свет, и сила, и ласка, и любовь, которой Николаич сроду не знал в своей жизни, но любовь-то от этого не девалась никуда, и Николаич, будто стрелка на компасе, которая тоже вряд ли хоть что-то слышала про магнитный полюс, весь дрожа, тянулся к этой любви, и верил в нее, и жил фактически только ею. Товарищ Сталин все знал — Николаич в этом не сомневался, и про него, маленького елбанского засранца, тоже

знал и болел за него всем сердцем, так что Николаич чувствовал эту заботу и боль за тысячи километров и даже порой стыдился, что Иосиф Виссарионыч вот снова не спит, думает о нем, а позвонить не может — потому что некому в Елбани звонить, сроду тут не было никакой связи, и даже телеграммы сюда не носят, да и кому телеграфировать? Кто их помнит? Кому они, кроме товарища Сталина, нужны?

Ради товарища Сталина Николаич не брал в рот ни капли спиртного, ради него, кряхтя, обливался по утрам колодезной водой, ради него трудил в школе слабенькую беспамятную голову сына и внука деревенского алкаша, ради него с десяти лет херачил в колхозе — копил трудовни, выручал копеечку, надеясь, что когда-нибудь вырвется из проклятой Елбани и приедет в Москву, чтобы товарищ Сталин увидел, что не напрасно болело его огромное доброе сердце и у Васьки Самохова все хорошо и прекрасно. И портки, и галоши, и пиджак, и аттестат в кармане.

Это была любовь, конечно, в самом высоком и чистом ее проявлении — любовь сына к отцу, нет, даже Сына к Отцу, и любовь человека к Богу, которая самая по себе Бог, и свет, и надежда. Родись Николаич лет на пятьсот раньше, мир получил бы великого молитвенника, может, даже мученика или святого, но никто не спрашивает человека о том, какой крест ему сподручней нести. Поэтому младший Самохов до пятнадцати лет жил в своей Елбани, беспаспортный, бесправный, несовершеннолетний, нищий, одинокий, никем, кроме товарища Сталина, не любимый.

А потом его отчаянные бессловесные молитвы были наконец-то услышаны, и началась война.

Ясное дело, добровольцем Николаича не взяли — сочли малолетним человеческим отбросом, не годным даже на то, чтобы умереть за Родину и за Сталина, и он аккуратно, без злобы и обиды, занес это в копилку перенесенных унижений, чтобы потом когда-нибудь со вкусом и не торопясь разбить ее — и всем, всем, всем отплатить сполна. Ловкий и привыкший к примитивному выживанию, он сумел прибиться сперва к одной из солдатских теплушек, потом к набитому теплыми коровами товарняку и через несколько месяцев бесконечных остановок, задержек и пересадок (двигаться приходилось против течения — навстречу многомиллионному потоку, который хлынул в эвакуацию) сошел на перроне Казанского вокзала в Москве — вшивый, повзрослевший, научившийся отлично побираться и еще лучше воровать, но горящий все тем же неуголимым жертвенным огнем. Он приехал защищать товарища Сталина, о чем и сообщил первому же встречному патрулю. Патруль переглянулся и отправил беспаспортного парнишку с дикими глазами

прямым в НКВД.

Это было первое крупное везение в жизни Николаича.

Во второй раз ему повезло, когда он нашел академика Линдта.

В районном отделе НКВД ходоку из Елбани, прямо скажем, обрадовались несильно. Начальник отдела товарищ Ковальчук, красивый рослый хохол, круглоплечий и круглозастылый, словно статуя греческого юноши, обряженная зачем-то в синие энкавэдэшные галифе и коверкотовую, индпошива, гимнастерку, буквально с ног сбивался и без Николаича с его высокими устремлениями. В НКВД царил трудноописуемый бардак, связанный отнюдь не с войной, а с очередной административной чехардой. 20 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР НКВД и НКГБ были объединены в единый НКВД СССР — это при том, что 3 февраля того же 1941 года тот же Президиум того же Верховного Совета принял Указ той же железобетонной силы о разделении НКВД СССР на НКВД СССР и НКГБ СССР. Берия, уступивший было половину царства Меркулову, вновь стал главным — и в связи с этим по всему ведомству шла параноидальная перестановка, которую только усиливали сводки с фронтов и все новые и новые энциклики взвинченного руководства.

Указ об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Постановление об организации местной противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах РСФСР. Указ об организации борьбы в тылу германских войск — и тыды и тыпы. Это была адская бумажная волокита — причем адская в прямом смысле этого слова, и товарищ Ковальчук только поворачиваться успевал, чтобы угодить всему начальству разом. Уж лучше бы на фронт отправили, сукины дети, чем так — по одной — жилочки вытягивать. Но на фронт Ковальчука, разумеется, не отпускали.

Николаича он расколол за сорок секунд — благо сразу было ясно, что внутри нет ничего ни опасного, ни плохого. Просто малахольный деревенский парень, настрадавшийся на окраине мира, может, даже юродивый, хотя, скорее всего, просто очень голодный. В армию его было нельзя, хотя пацан и многословно клялся, что ему уже восемнадцать (врал, причем безнадежно), а постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» еще блуждало где-то в аппаратных недрах, ожидая 23 января 1942 года.

Проще всего было, конечно, обратиться к другому приказу, совсем свеженькому, от 17 ноября 1941 года, согласно которому Особому совещанию НКВД СССР выдавалась лицензия на убийство номер один —

право выносить меры наказания по делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР. Разумеется, вплоть до расстрела. Товарищ Ковальчук мысленно возложил тощего, даже как будто звенящего Николаича на весы Немезиды и, кряхтя, достал из стола газетный сверток. На-ка, сынку, поешь, пропел он бархатистым тенорком, из которого не могла вытравить певучую украинскую ласковость ни Москва, ни чертова служба. Николаич, заурчав, вцепился зубами в ржаную горбушку, накрытую толстым — в палец — шматом домашнего сала. Житомирское, мамка солила, пояснил Ковальчук. Мамка-то у тебя есть? Николаич, не отрываясь от еды, покрутил головой — мамки у него не было, только рваные портки да тень от длинных девчачьих ресниц на обглоданных голодных скулах. Ковальчук по-бабьи вздохнул — такие же ресницы были у его сыночки, малюсенького смешливого хлопчика, которого еще в тридцать шестом за неделю сожрала скарлатина. Жена сразу после похорон уехала к родителям, на Украину, сказала — не могу, Петро, ни тебя видеть, ни твою проклятую Москву. Как будто его кто-то спрашивал — нравится ему Москва или нет? Как будто он вообще мог выбирать.

Николаич проглотил последнее сальное волоконец, облизал пальцы и быстро, как зверек, огляделся.

— Давайте, я вам полы тут помою, — предложил он. — И окно. — Другого способа сказать спасибо Николаич просто не знал. Не научили. Товарищ Ковальчук посмотрел на затоптанный, зашорканный пол, и лицо его прояснело.

— А и помой! — весело согласился он. — И помой. А я до склада. Только смотри, пацан, утекешь — пристрелю.

Николаич не утек. И стал сыном районного отдела НКВД города Москвы. При полном пайке и дармовом обмундировании. День Победы он встретил уже совсем человеком — в звании сержанта при Главном управлении войск по охране тыла действующей Красной армии ГУВВ НКВД. Образованием сержант Самохов по-прежнему не блистал, но и в дураках не ходил, потому товарища Сталина больше любить и охранять вовсе не стремился. Божественная любовь к отцу всех народов сошла с него на нет вместе с юношескими прыщами и голодной худобой. Николаич раздобыл, заматерел, выслужил отличное жалование и научился всем опасным и искусным подкововерным играм, без которых невозможно существование ни в одной крупной иерархической структуре. Несмотря на свои девятнадцать лет, он слыл отличным оперативником — хитрым, цепким, начисто лишенным даже намека на сантименты. Товарища

Ковальчука, все-таки не успевшего увернуться от одного из Указов, к тому времени уж три года как расстреляли.

Николаич его почти не вспоминал.

Линдт, конечно, понимал, что Самохов Василий Николаевич приставлен к нему не в качестве денщика, но, ради бога, почему нет? Толковый и расторопный соглядатай в сто раз лучше какого-нибудь безрукого, но вдохновенного соратника. Хозяйство академика, оказавшись в сноровистых руках Николаича, покатило вперед без скрипа и толчков, будто отлично налаженная и любовно смазанная телега трудолюбивого хуторянина. К тому же Николаич был забавный и даже по-своему трогательный. Линдт чувствовал с ним странное и неясное ему самому родство, которое объяснялось, может быть, внешним сходством так и не рассказанных друг другу судеб, а может, каким-нибудь биохимическим пустяком — особым сочетанием феромонов или совпадающим уровнем окситоцина. Ведь все чувства, которые мы друг к другу испытываем, если вдуматься — всего-навсего активация гуанин-нуклеотидо-связанных протеинов, своего рода химическая приязнь сигнальных молекул. Больше ничего.

Единственное, что слегка огорчало Линдта, — это отношение Николаича к Галине Петровне. Ну что ты, право слово, Николаич, что она тебе сделала? — уговаривал он, не замечая, что говорит тем же тоном, которым увещевал бы большую вредничающую собаку, и Николаич, тоже совершенно по-собачьи, отворачивал насупленную морду, не достаивая ответом. Ревновал. Ну, не хохлись, хороняка, давай выкладывай, что там у нас? Кроватку добыл? Линдт трепал легкой рукой волкодавий загривок, и Николаич, размякая, кивал — ясное дело, добыл. Самую лучшую, из лиственницы, десятерых в ней вынянчить можно, а все сносу не будет.

Да куда мне десятерых, с этим не знаю, что буду делать. Ты тоже думаешь, что сын будет, а, хороняка? Сын, — уверенно отвечал Николаич. Пузо у нее вона как высоко сидит, ровно глобус проглотила, и кожа чистая. Это только девки материну красоту пьют, а от парней бабы всегда хорошеют. Линдт, едва удерживая на лице перекосившуюся волчью ухмылку, вспоминал горячую, чуть солоноватую кожу на беременном животе жены, то, как она закрывала глаза, подчиняясь его нажиму, живой, сильный, влажный жар у нее внутри, и — словно по контрасту — всегда прохладные соски, бледно-розовые, тонкокожие и такие нежные, что их хотелось собирать, едва прикасаясь губами, будто раннюю, слабую, вот-вот готовую осыпаться малину.

Всепонимающий Николаич вздыхал. Скоро уж вернется домой,

потерпите. Врачи сказали — в аккурат к концу января родит.

И точно — 31 января 1959 года Галина Петровна родила. Сделала она это, вопреки всеобщим переживаниям, легко, по-кошачьи — от первой мягкой схватки до момента, когда акушерка, ловко держа лилового, будто чернослив, младенца под сморщенный, плоский задик, толстым голосом пропела: «Сы-ы-ынок!», прошло минут тридцать, причем десять из них Галина Петровна ковыляла из курилки. Ребенок показался ей страшеньким, но, слава богу, не настолько омерзительным, как Линдт. Правда, через сутки, когда мальчика впервые принесли кормиться, Галина Петровна устроила медперсоналу полноценную истерику — малейшая попытка сына присосаться к груди вызывала у нее настоящие судороги. Врачи метались, пытаясь исключить невесть откуда взявшуюся эпилепсию, но на самом деле Галине Петровне было просто противно. Успокоилась она так же внезапно, как и зашлась, но ребенка кормить оказалась категорически и даже запустила в медсестру банку необыкновенно красивых топлёных сливок. Это был предвестник будущих феерических бурь, о которых в Энске потом ходили страшноватые, как сказки Бажова, и такие же красочные легенды. Сцеживаться, впрочем, Галина Петровна любезно согласилась, и новорожденного, посоветовавшись, решили кормить из бутылочки. Молока у нее оказалось столько, что хватило еще двум недокормышам — внуку директора огромного оборонного предприятия (дочка директора оказалось тугосисей плаксивой дурой) и позднему, драгоценному, выстраданному детенышу какого-то партийного небожителя, который долгие десятилетия вымаливал у своих богов прощения за то, что — по их же приказу — расстреливал несчастных по темницам, пока не получил наконец желанный приплод — крошечную луноликую дочку с китайскими глазками и огромным, не помещающимся во рту языком. Ребеночка-дауненка в роддоме все очень жалели и даже уговаривали сдать его на хер государству как бракованного, но мать девочки, немолодая, некрасивая, немилосердно лишенная не только будущего, но даже капли молока, часами качала свою умственно отсталую кроху с такой исступленной нежностью, что было ясно — зубами за нее загрызет, насмерть. Но не оставит.

К сыну Линдта никто, кроме проворных медсестер, не подходил. Даже имя ему дал Николаич, уже после того, как сгорающий от нетерпения Линдт (ни разрыва, ни шовчика! можно! можно!) отвез Галину Петровну домой и чуть ли не сутки не выпускал из спальни — разве что попить воды да в очередной раз ссeditься. Пусть будет Борик, что ли, — присудил Николаич, неумело качая крикливого увесистого младенца и смутно

припоминая, что у них в Елбани Борьками звали самых качественных и породных козлов.

Так сын Галины Петровны и Лазаря Линдта стал Бориком.

Трудно было представить ребенка, который был бы до такой степени не нужен никому.

Линдт оказался озабочен своим отцовством до смешного мало. Должно быть, добираясь от Авраама, который родил Исаака, который родил Иакова, который родил Иуду (и так далее со всеми занудными остановками во всех неисчислимых родах тринадцати израильских колен), ген иудейского чадолюбия так ослабел, что попал в Линдтову кровь совершенно выдохшимся, как старые никчемные духи. А может, весь его пыл ушел на Галину Петровну, в конце концов, с высоты его шестидесятилетия, она, в свои девятнадцать, была таким же точно ребенком — только гораздо более хрупким и ранимым, чем новорожденный бутуз, который по сто раз в день задристывал пеленки и требовал жрать с таким натужным, лиловым ревом, что ясно было — ломом засранца не зашибешь. Можно даже не пытаться.

Галина Петровна сына не любила — это было совершенно понятно и даже извинительно, но он был живой и беспомощный, и за ним надо было ухаживать, как она ухаживала бы даже за противными крысами в красном уголке. Просто потому что она советский, а значит, моральный человек, а не какой-нибудь проклятый фашист или американец. И Галина Петровна честно поднимала Борика, пеленала, терла ему спинку, чтобы срыгнул, но не испытывала при этом ничего, кроме тупого усталого удивления. Неумелая, как любая молодая первородка, она еще и совершенно не справлялась с бытовой сущностью своего нового положения: бутылочки надо было кипятить, молоко — сцеживать, киснущие в тазу пеленки и марлевые подгузники — стирать, полоскать и проглаживать с двух сторон. Галина Петровна похудела, осунулась, подурнела. По ночам она сбегала в детскую и часами сидела, напряженно прислушиваясь к тихому сопению Борика, — словно любая нормальная мать, вот только мечтала она не о том, чтобы малыш подольше поспал, а о том, чтобы вообще не проснулся. Бесшумным крошечным призраком входил Линдт, синеватый в предутренней темноте, обманчиво ненастоящий. Так не может больше продолжаться, ты себя уворишь. Давай возьмем няньку, в конце концов. Николаич уже сто раз предлагал, говорил, есть у него какая-то баба на примете. Ну, что ты капризничаешь? Галина Петровна упрямо крутила головой — шпионские бабы Николича ей были не нужны, достаточно того,

что он сам бывает у них по сто раз на дню, тихий, страшный, как упырь, деловито распоряжается, суетится и нет-нет да поймает взгляд Галины Петровны и тоненько улыбнется самым краем рта — мол, помнишь уговор, сучка? Галина Петровна помнила.

Ну, полно, не плачь, фейгеле. Линдт подходил ближе, проводил сухими сморщенными пальцами по ее шее, потом по щеке, словно каким-то непостижимым образом слышал, как поднимаются внутри жены тяжелые слезы. Скоро станет полегче, вот увидишь. Пойдем-ка лучше баиньки, пока этот проглот снова не разорался. Галина Петровна покорно кивала, но с места не трогалась, чувствуя, как пальцы мужа, скользнув по ключицам, ползут ниже и ниже — к тяжелой, как кувшин, и такой же переполненной груди. Одними утешениями он никогда не ограничивался. Или не баиньки, а? Раз уж мы оба не спим и минутка выдалась? Линдт бормотал все сильнее и бессвязнее, все сильнее и бессвязнее ходили его руки, кряхтел, будто подраживая отца, спящий Борик, а Галина Петровна, чувствуя, как с аппетитом вливается в бедро оброненная, видно, ею же самой погремушка, смотрела, как дергается рывками медленно светлеющий потолок, и думала, что, наверно, не ребенку и мужу надо желать смерти, не ребенку и мужу, не ребенку и мужу, этим двум чужим и неприятным ей существам, не ребенку и мужу следует исчезнуть из жизни, чтобы все наконец наладилось. А ей самой.

От самоубийства (совершенно реального, потому что Галина Петровна обдумывала его с холодным спокойствием хозяйки, прикидывающей, как половчее отрубить голову избранной на суп курице) ее спасла патронажная сестра Зочка, еженедельно, по зову Минздрава, посещавшая плод Линдтовой страсти, а заодно и мамашу этого самого плода. Зочка была курносая, толстая, смешливая и совершенная дура, к тому же дура необыкновенно деятельная. Небогатые белесые косицы она корзинкой укладывала вокруг набитой всякой суеверной ересью головы и лезла решительно всюду, особенно туда, куда не просят. Дело свое, впрочем, Зочка знала преотлично, и даже самые набалованные младенцы во время ее инспекции не орали, а только сучили толстыми, в перетяжках, ножками и умильно гукали. Состоянием Борики Линдта Зочка была довольна — он прибавлял в весе и росте согласно выпущенной Минздравом инструкции, не норовил раньше времени затянуть родничок и даже гадил меконием образцового аромата и консистенции, но вот Галина Петровна Линдт Зочку беспокоила.

Она все больше отмалчивалась, смотрела в пол пустыми светлыми глазами и двигалась с протяжной задержкой, будто отставала от всего

прочего мира секунд на десять, как шагающий по дну густого торфяного пруда водолаз в тяжелом, накрепко свинченном костюме. Несомненно, следовало предположить послеродовой психоз, но это было и вполнину не так интересно, как сглаз или венец безбрачия, которые преотличным образом уживались в Зоечкиной голове с симптомами желтухи новорожденного и основными пороками развития. Поэтому, улучив минуту, она увела Галину Петровну на кухню и энергично принялась убеждать девятнадцатилетнюю супругу академика в том, что на ее родовое дерево навели порчу-сухотку. Видно, нашептали на вас, страстно митинговала Зоечка, сильно тараща круглые, синие, как фарфоровые шарики, глаза и хватая Галину Петровну то за плечо, то за руку. Люди, они завидующие, ничего не прощают — ни красоты, ни богатства, могли и свечку поставить *вверх ногами* или даже *отчитать за упокой*. Живую!

Зоечка так выразительно подняла брови, что они чуть не уехали на затылок, но Галина Петровна была все такая же снулая, будто вытащенная из воды большая, засыпающая рыба. Зоечка даже немного огорчилась — на свечку вверх ногами живо реагировали даже самые отпетые коммунисты. Так же равнодушна осталась Галина Петровна и к призывам Зоечки перетряхнуть подушки в поисках порчи, и к угрожающим историям об осколках зеркала, которые, будучи подложены в барахло доверчивых граждан, вызывали в их незащищенной жизни жутчайшие энергетические катаклизмы. Крестить младенчика, чтоб не заходилась и лучше спал, она тоже не захотела.

Тогда уязвленная Зоечка вытянула из рукава самый заветный козырь, и Галина Петровна даже встала, гроыхнув табуретом. Губы у нее дрогнули и порозовели, точно у сердечника, получившего наконец живительный вдох из кислородной подушки, коричневой, прорезиненной, запудренной тончайшим вонючим тальком.

— Вы правду говорите? — спросила она, вцепившись в Зоечку обеими руками.

— А какой мне резон врать? — возмутилась Зоечка, которая действительно не получала от своей бессмысленной деятельности никаких дивидендов, кроме морального удовлетворения.

— Честное ленинское дайте, — потребовала Галина Петровна самую страшную из известных ей клятв, залятую, детскую, жуткую, родом из колодезных школьных дворов, запутанных игр и пионерских речевок.

— Честное ленинское, — отчеканила Зоечка и для верности перекрестилась.

Галина Петровна медленно кивнула. В детской надривно заорал

соскучившийся Борик, и тотчас над ним по-шмелиному загудел Николаич, верный ревнитель барского добра, считавший ребенка Линдта чем-то вроде нового имущества, хрупкого, надоедного, но для хозяев, очевидно, дорогого. Галина Петровна прислушалась к этому гудению и впервые на Зоечкиной памяти улыбнулась — детской, ясной, очень доверчивой улыбкой.

— Только мне надо, чтобы никто не знал. Это можно устроить?

Зоечка с пониманием затрясла головой — это запросто, вы только наклонитесь... Галина Петровна послушно подставила ухо Зоечкиному шепоту, щекотному, чуть пузырящемуся от торопливой слюны.

— Никто и не подумает, не сомневайтесь — заключила Зоечка, очень довольная тем, что ее мистическая репутация не пострадала.

Никто и не подумал. Оперативная комбинация была проделана с четкостью, которая сделала бы честь любому чекисту. Через неделю водитель отвез Галину Петровну с Бориком в поликлинику — на плановый осмотр невропатолога — и привычно задремал у входа, благо хозяйка сказала, что канители минимум на час. Галина Петровна быстро вошла в вестибюль, передала увесистого сына шпионски озирающейся Зоечке и, пройдя поликлинику насквозь, вышла через черный вход, у которого стояло загодя вызванное той же Зоечкой такси. Ровно через час, на том же такси, она вернулась, забрала честно осмотренного невропатологом ребенка и постучала костяшками пальцев в переднее стекло линдтовой персональной «Волги». Водитель, всхрипнув, захлопнул пасть и потер закившие со сна глаза. Домой, коротко приказала Галина Петровна таким неожиданно властным тоном, что водитель окончательно проснулся и всю дорогу то и дело посматривал на молодую хозяйку в зеркало заднего вида. Красивая все-таки баба, что ни говори. И жопа гладкая, как у кобылы. Не дурак, академик-то, несмотря что жид. А вот она — дура. Угрожает всю жизнь на старика, и никакие деньжищи не помогут. Галина Петровна поморщилась, словно могла почувствовать эти мысли — липкие, как замусоренная, заброшенная паутина. На дорогу смотрите, велела она сухо, и водитель послушно отвел глаза, смутно догадываясь, что везет на заднем сиденье какого-то нового, совершенно незнакомого ему человека.

На самом деле так оно и было. В апреле 1959 года Галочки Баталовой не стало окончательно. Ее место заняла Галина Петровна Линдт.

Годы спустя Галина Петровна только усмехалась, вспоминая, в каком ужасе прожила первый год своего замужества, как она боялась тогда, как обмирала, ожидая слезки, как верила во всемогущество Николаича,

который казался ей персональным демоном, едва ли не земным воплощением Сатаны. Подумать только, долгие месяцы в его присутствии она даже думать боялась о чем-нибудь важном, всерьез предполагая, что этот услужливый и малограмотный, в сущности, холуй способен каким-то образом проникнуть в ее мысли.

И тогда, в такси, она едва не теряла сознание от страха, уверенная, что обман непременно раскроется, Зоечку с Бориком схватят, разоблачат и что вот-вот вывернут из-за поворота посланные за ней воронки. К тому же Зоечка, видно, напутала что-то с адресом, и немолодой медлительный таксист так долго кружил окраинами Энска, ворча, что, бля, двадцать лет вожу, сроду не слышал про такие ебень, что Галина Петровна уже совсем, было, собралась разворачивать его обратно. Но город вдруг неожиданно закончился. Совсем. Машина запрыгала по проселку, дорога повернула, потом еще раз, и таксист притормозил возле небольшого дома. Вроде тут, — сказал таксист неуверенно. Не признаешь?

Дом был старым и каким-то нездешним: двухэтажный, с просторной застекленной террасой, он прятался в глубине продрогшего обнаженного сада, словно слегка стыдился своей незащищенности. Ни высокого забора, ни крикливой цепной шавки, ни огорода — только тропинка из круглых влажных голышей, голые, страстно переплетенные ветки да скелеты прошлогодних золотых шаров, вполне заменяющие хозяевам изгородь. Дом был совсем одинок — Энск торопливо отступал на восток, увлекая за собой полуразрушенные окрестные деревушки, а с запада неотвратимо надвигался сосновый лес, сейчас, в апреле, особенно строгий и прозрачный, будто выведенный тушью на мокром, туго натянутом, нежном небе.

Таксист заглушил мотор, вылез из машины и закурил. «Иди, дочка, не бойсь, я подожду, — пообещал он. — Отсюда и на оленях не выберешься. Рази ж я не понимаю!» Галина Петровна, похрустывая льдом, торопливо прошла по тропинке к сырому темному крыльцу и, не заметив фарфоровую розетку звонка, постучалась. Сердце колотилось, как будто перед экзаменами, как будто целую жизнь назад. «Если уж и это не поможет», — удавлюсь, решительно подумала она.

«Ну и дура», — сказал кто-то насмешливо, и дверь распахнулась.

На пороге стояла высокая женщина в невиданном халате из плотного шелка, затканного струистыми драконами, похожими на причудливые цветы. Драконы были огненные, с медным отливом, и та же медь горела в густых волосах женщины, гладким валиком уложенных на затылке.

— Что? — испуганно переспросила Галина Петровна.

— Я говорю — дура ты, моя дорогая, каких поискать, — отдельно повторила женщина и засмеялась. Зубы у нее были круглые, белые, гладкие, как у открыточной киноактрисы, и такая же круглая, белая, гладкая шея, по которой витой струйкой сбегала вниз золотая цепочка с тяжелым кулоном, нырнувшим в длинный вырез, к тугой, спелой, наливной груди. Такие же тяжелые — гроздьями — золотые серьги чуть оттягивали крупные нежные мочки. От женщины вкусно пахло чем-то сладким, почти съедобным, и вся она — нарядная, чуть переливающаяся, крупная — была похожа на праздничную новогоднюю елку.

Галина Петровна вдруг увидела себя словно со стороны — в куцем распахнутом стареньком пальтишке, на блузке — предательские пятна от засохшего молока, растрепанная коса наспех прихвачена черной аптечной резинкой — и на мгновение остро захотела и такой же красивый халат, и похожие на виноград сережки, и высокие, идеальной дугой брови над смеющимися глазами.

— А вот теперь все правильно думаешь, — похвалила женщина. — Давай, проходи, а то олеандры мне выстудишь.

Галина Петровна шагнула в просторную прихожую — темную, торжественную, с пухлым пуфом и тяжелыми вешалками, поймала взглядом кокетливую песцовую шубку, огромный воротник из чернобурки на длинном красном пальто и смутилась окончательно.

— Извините, я, наверно, адрес перепутала, пробормотала она. — Мне бы к бабке.

— А я и есть бабка, — спокойно ответила женщина и снова рассмеялась — звонко, молодо, отчетливо и страшно, словно кто-то пробежал молоточком по металлическим клавишам ксилофона.

Странно, но Линдт был единственным, кто не заметил перемены, которая произошла в Галине Петровне. Ни истерики, ни капризы, ни быстро, словно раковая опухоль, прогрессирующая жестокая лень молоденькой жены не могли притупить его обожания, а мнения остальных никто, собственно, и не спрашивал. К двадцати годам Галина Петровна стала настоящей барыней — во всем ладном великолепии этого старинного, чуть потертого на сгибах, бархатного слова. Она обзавелась полноценной дворней, которая ненавидела и обожала хозяйку до примитивного пресмыкания, мысленных поцелуев в рассыпчатое плечико и почти фетишистского преклонения перед барским укладом и тряпьем. Причем дело не ограничивалось привычной номенклатурной домработницей да персональным шофером — от настроения Галины

Петровны, ее сновидений и менструальных циклов зависели десятки людей: скорняки и повара, ювелиры, портные, врачи, аспиранты, профессора — взрослые, семейные, детные, пожившие и похлебавшие на своем веку, прежде чем попасть в услужение к молоденькой девчонке.

Впрочем, девчонкой Галина Петровна больше не была — любой доступ к телу академика Линдта, его телефону, архиву или душе отныне лежал только через нее. По ее велению или хотению публиковались новые статьи, выбирались президиумы и конференции, она назначала и отменяла аудиенции, мотала нервы и деньги — боже, какие деньги! Прежде мертвым грузом лежавший золотой запас Линдта ожил, шевельнулся, словно подтаявший ледник, и поплыл, мелькая круглыми быстрыми нулями. Только на ремонт и обстановку громадной квартиры Галина Петровна истратила почти всю Сталинскую премию академика, но Линдт, едва ли заметивший все эти антикварные вавилоны из мореного дуба и карельской березы, немедленно получил Ленинку, и капитал, будто по мановению черта, снова удвоился.

Все было точно так, как обещала бабка. Чем больше Галина Петровна тратила, тем больше денег у нее становилось, чем больше она занималась собой, тем выносимее становилось страдание ежедневной жизни. Идеально честная сделка. Патронажная медицинская сестра Зочка не соврала — поэтому Галина Петровна впервые опробовала условия договора именно на ней. Когда через неделю после знаменательной поездки в поликлинику Зочка вновь прибыла к Линдтам с плановым визитом (и миллионом взволнованных вопросов), вместо Галины Петровны к ней вышла, тетешка Борика, немолодая усатая нянька — первая в бесконечной череде холопок, которых Галина Петровна научилась нанимать и увольнять с той же бездумной сноровкой, с которой крестьянки перебирают картошку, равнодушно отшвыривая в сторону гнилую или просто мелкую. Зочка отправилась в ту же кучу отбросов — достаточно было одного звонка, чтобы бедняжку изгнали из престижного рая Четвертого управления и навеки сослали в районную поликлинику — прививать от смертельных хворей крикливый пролетарский приплод. Удовольствие, которое Галина Петровна испытала от этого незначительного, в сущности, события, приятно удивило ее саму. Вранье, что месть — это блюдо, которое подают холодным. С пылу с жару оно гораздо лучше утоляет голод. Еще вкуснее, когда мстишь просто так — без смысла и даже без злости, просто забавляясь. Как будто ты Бог.

Бабка тоже так сказала.

Галина Петровна быстро поставила дом на великолепную широкую

ногу: у нее оказался неожиданный талант к хорошим вещам, больше похожий на обратную сторону ее же равнодушия к людям, но в делах декора, как известно, главное не причина и даже не следствие, а результат. Даже откровенный хлам, найденный на барахолке, в руках Галины Петровны словно приобретал смысл, оказываясь редкой антикварной вещицей, к тому же она не ленилась консультироваться и не стеснялась спрашивать — качество редкое, драгоценное, почти невероятное для молодой женщины, которая не знала, чего бы еще захотеть. В дом зачастили какие-то приванивающие Достоевским юродивые старички-коллекционеры, от которых Николаич только за голову хватался, а сама Галина Петровна полюбила часами валяться на диване, пролистывая пухлые каталоги и альбомы по искусству и болтая розовыми, круглыми, безупречно ухоженными пятками. Линдт чуть не плакал от умиления, целуя гладкие ступни, выкрашенные густым алым лаком махонькие ноготки — ну, будто ягодки, честное слово. Маникюрша раз в неделю, два раза в неделю косметичка, каждый день с утра укладка, домашние туфельки на легком каблуке, шелковый халат, затканый драконами. Семь шелковых халатов — по одному на каждый день недели.

Домработница, дубоватая деревенская тетка, покорно откликаясь на Никитичну (по метрике на самом деле была Николаевна, больше того — Наталья Николаевна, этакий легкий, головокружительный, почти ничего не обещающий намек — словно пушистая, пушкинская ветка за полузамалеванным краской сортирным окном), трясущимися руками перебирала белье Галины Петровны: не то сортировала, не то ворожила, не то возносила молитвенную хвалу своим мордовским шишигам, которые поспешествовали и поспешили, и вот теперь она, Дуплищева Наташка, когда-то сопливый и голопузый рахит, невежественная дура, стоит в просторной хозяйской спальне, по самые локти погрузившись в запретное, сладострастное, нежное и кружевное.

О, эти скользкие шелковые комбинации — ледяные снаружи, электрически горячие изнутри, там, где шелк прилипал к бедрам и ласкал длинную гладкую поясницу с выложенной молодыми камешками дорожкой позвонков. Эти полупрозрачные срамные трусишки — даже ношенные, даже с желтоватыми пятнами и белесой слизью на ластовице, даже пропитанные в шагу старческой академической спермой, они пахли тонкой и тайной жизнью юного избалованного тела, и этот почти лепестковый, прерывистый аромат мешался с гладким запахом розового заграничного мыла, которым Галина Петровна распорядилась проложить все бельевые ящики своих бесчисленных гардеробов. А лифчики? Кружевные, на тонких

бретелях, грудь в таких лежит, будто в открытой корзинке, наливная, тугая — не то зажмуриться, не то ущипнуть, не то со всей мочи воткнуть в золотую натянутую кожу булавку с яркой и круглой, как капелька крови, головкой.

Никитична-Николаевна встряхивала головой, отгоняя дурной морок, и выворачивала, и складывала по швам, и застирывала в высокой шипящей пене, целый день, целый день — в спальне один капроновый чулок, другой — в кабинете на подоконнике, отлетевшая перламутровая пуговичка, посуда, вся в слюдяных потоках подстывающего жира, пыль книжная, пыль платяная, пыль половая, пыль поддиванная... И все равно это была не работа, а судорожный, весь низ живота выворачивающий праздник, потому что из каждого небрежно сброшенного платья, из вороха скомканного постельного белья (менять каждый день, гладить с двух сторон, подкрахмаливать, не подсинивать ни в коем случае — вы меня поняли? повторите!) выступала сама Галина Петровна, непостижимая неповоротливому плебейскому разумению и оттого особенно желанная.

Прошел год, и еще один — гладкий, богатый, беспечный, пустой. Линдту дали очередной орден, Борик незаметно вылупился из своих пеленок и превратился в толстого покладистого мальчика, первому зубику и первому шажку которого не радовался никто, кроме няньки, которую, впрочем, скоро уволили, взяв другую, и далее — по капризному списку вечно недовольной хозяйки. Приемы Галины Петровны вошли в моду, она познакомилась со всеми нужными людьми в городе (остальные были либо ненужными, либо не людьми), полюбила сначала бриллианты, потом изумруды, но снова вернулась к бриллиантам — они были, что называется, «ко всему», а к изумрудам подбери еще подходящее настроение или платье.

Но в 1964 году Галина Петровна вдруг затосковала снова — двадцать три года, пять лет замужества, мужу — шестьдесят четыре, ничего не менялось, время стояло на месте, она даже не становилась старше, потому что громадная пропасть между ней и Линдтом не затягивалась, да и не могла затянуться. Он всегда будет старше на сорок один год. До самой смерти. Бабка сказала — терпи, умрет твой академик, все сразу станет по-другому, но терпеть было невыносимо, и сделать ничего было нельзя (да и как бы она сделала это что-то? придушила его ночью подушкой?), а Линдт и не собирался умирать, он даже стареть как будто перестал, крошечный, мерзкий, всласть насосавшийся ее молодой крови.

Поэтому в одно сумрачное весеннее утро Галина Петровна вошла к академику в кабинет и, крепко стягивая на круглой талии пояс шелкового

халата, заявила, что хочет учиться. Отлично, оживился Линдт. Отличная идея. Это ты здорово придумала, фейгеле, — учиться. Я совершенно и обеими руками — за. В конце концов, у нас равноправие полов, так что грех не воспользоваться хотя бы ради интереса. Галина Петровна даже не улыбнулась, и шуточка жалко повисла в воздухе, на глазах становясь дурацкой, плоской, несмешной. Так чему ты хочешь учиться, милая? Линдт героически не обратил внимания на неловкую паузу: в конце концов, семейная жизнь — непростая штука, и Маруся тоже, бывало, пушила Чалдонова самым зверским образом. Жалкое оправдание, конечно, но других у него не было. Я в политехнический вообще-то собиралась поступать, обиженно сказала Галина Петровна. А, — закивал Линдт довольно, — значит, физика и математика, лучшие подружки двоечников. Сейчас мы их с тобой расцелкаем!

Линдт вытянул откуда-то тетрадку, выложил на стол и взгромоздился на стул коленями, как маленький. Он быстро написал что-то на чистой страничке и ловким движением карточного фокусника перекинул тетрадь Галине Петровне — сияющий, непонятно чем довольный. Урод. Галина Петровна проехала глазами по строчкам и задумалась — она уже вполне освоилась с Линдтовыми закорючками, но, к несчастью, начисто забыла все, что вколачивал ей в голову иудейский аспирант. Давай же, милая, — ласково поторопил ее Линдт, будто легонько подтолкнул ребенка к кабинету врача. — Задача совсем простенькая.

Задача и правда была детская — и не только с точки зрения Линдта, на котором тестировали задания для Всесоюзной олимпиады школьников по физике, свеженькой, с иголочки, запущенной только что, в 1962 году. Если Линдт размышлял над задачей, которую предстояло грызть гениальным советским младенцам, больше минуты, ее просто исключали из списка как нерешаемую. Но таких попадалось мало — заставить академика задуматься над физикой школьного образца было непросто. Линдт краем глаза поймал стрелку на настенных часах угрюмого черного дерева. Три с половиной минуты на такую пустяковину. Однако. Кажется, все будет совсем не так, как в восемнадцатом году, когда они с Чалдоновым, едва не вырывая друг у друга тетрадь, взапуски решали задачи — и это было и знакомство, и радость, и клятва, и вера, и обещание всего. Линдт невесело засмеялся — что ж, практически все обещания действительно сбылись, другое дело — как именно. Услышав смешок, Галина Петровна сильно покраснела и вдруг замалевала Линдтовы буквы и значки с такой злобой, что прорвала бумагу.

— Это зачем? — спросила она с горловой клокочущей яростью,

отлично знакомой любому из ее челядинцев. — Я сказала, что хочу учиться, а не в игрушки эти идиотские играть.

Линдт растеряно сполз со стула и попытался взять жену за руку. Галина Петровна вырвалась и вышла, саданув дверью — крепко, плоско, хлестко, словно по лицу.

Диплом о высшем образовании (с присуждением квалификации инженера-проектировщика по специальности «водоснабжение и канализация») Линдту удалось выхлопотать только к осени — пришлось одалживаться всерьез, зато по синим (не надо с отличием, я вас умоляю!) корочкам выходило, что Линдт Галина Петровна, 1941 года рождения, проучилась в энском политехническом ровно пять лет своего замужества, о чем свидетельствовала выписка — ряд подлинных, во все реестры внесенных цифр и букв. Ксива была железная, не придерешься.

— Чересчур балуете жену, Лазарь Иосифович, — укорил Линдта начальник КГБ по Энской области генерал Седлов, без визы которого повернуть аферу с дипломом не решился даже Линдт. Время от времени кусать руку, которая тебя кормит, можно и даже нужно, но вот плевать в нее... Линдт был для этого слишком умен.

— Да она не просила, я сам, — попытался оправдаться он, но вышло уж очень неубедительно.

— Еще хуже, что сам! — прогудел генерал, высокий, похожий на оперного певца красавец со старорежимно выхоленными усами, придававшими ему легкомысленный и даже чуточку комический вид. Совершенно напрасно. Седлов был неглуп (для генерала — почти гениальность) и вполне плотояден. — Бабам воли нельзя давать — они с ней не справляются, — назидательно изрек он и, решив, что с Линдта довольно, сменил тему. — Говорят, жена у вас — красавица невероятная...

Линдт чутко уловил микроскопическую паузу, и генерал немедленно получил любезное приглашение на ближайший же прием, нет-нет, никакого повода, обычные дружеские посиделки для своих.

На посиделки Седлов прибыл с ящиком двадцатилетнего армянского «Наири» и вел себя настоящим гусаром и душкой: то есть чудовищно много, но без малейшего урона для мундира пил, с большим чувством исполнял сообразные внешности классические романсы и поочередно поухаживал за всеми дамами, включая домработницу, которая, будучи застигнута между кухней и наковальней, немедленно жახнула об пол страстно вскрикнувшее блюдо с седлом барашка. Седлов был безупречен и очень скоро действительно стал в доме у Линдтов своим — причем настолько, что через семь лет, в 1971 году, Галина Петровна все-таки не

выдержала и решилась спросить у него о судьбе гражданина Машкова Николая Ивановича.

Глупо думать, будто она забыла Николеньку, — как будто такое вообще можно забыть! Поначалу, запуганная Николаичем, Галина Петровна не смела не то что позвонить Машкову (хотя бы на кафедру) — даже словом обмолвиться, что в жизни ее был когда-то такой человек. Галина Петровна закусывала дрожащий кулачок, чтобы не зарыдать, сглатывала, еще раз сглатывала — может быть, родители ему все рассказали? Да нет, разве они посмеют? Надо просто вести себя хорошо, тогда Николеньку ни за что не тронут — детские страхи, детские уверения, детские мечты сплести веревку из простыней, из собственных волос и сбежать из заколдованного замка. Все закончилось, когда она забеременела, — теперь бежать было некуда, оскверненная, пузатая раскоряка, она больше не была достойна своего сказочного королевича.

Бабка сказала — забудь, не лезь в прошлое, там ничего не изменишь, там одни трупы. Видимо, была приверженцем системной психотерапии.

Но ведь именно трупы порой забыть тяжелее всего.

Николай Иванович Машков, говоришь, зая? Генерал Седлов закатил глаза в поднебесье, запоминая, — как и многие силовики, он давным-давно стал параноиком и не доверял ни бумаге, ни людям, ни себе самому. Профессиональная болезнь. Как варикозное расширение вен у парикмахеров и официантов. Найдём, конечно. И даже доставим, если надо. Тебе живого или мертвого? Галина Петровна засмеялась и легонько шлепнула генерала по губам, прозвенев браслетами маленькую нежную музыку. Ей было тридцать лет — пик здоровья, молодости и красоты, сановное замужество приносило ей столько удовольствий, сколько иному не съесть за целый век, и научило таким уловкам, что она могла бы запросто украсить собой любую разведку. Во всяком случае, так она думала. Никого не доставляй, дорогой. Я просто любопытничаю.

Генерал сочно поцеловал наказавшую его ручку — пальчик за пальчиком, косточку за косточкой — январь, февраль, март, апрель. После того как в самом начале знакомства Галина Петровна попыталась его соблазнить — вполне, впрочем, безуспешно, они крепко сдружились, настолько крепко, что генерал иной раз даже жалел, что повел себя таким Иосифом Прекрасным. Черрртова служба.

— Вы очень красивая женщина, Галина Петровна, но, пожалуйста, застегнитесь, — сказал он тогда так твердо, что Галина Петровна мигом протрезвела.

Вечер был холодный, октябрьский, но в генеральской «Волге» было

тепло, даже душно, водил он сам, только сам — никому не доверял, все уши — лишние, молчи, тебя слушает враг. Старая школа. От ароматного коньячного дыхания Галины Петровны стекла в машине чуть запотели, словно заслезились, смутно и напрасно белела в сумраке салона ее грудь, крупная, круглая, тяжелая грудь молодой женщины, родившей и выкормившей ребенка. И даже, считая тех, роддомовских, не одного. Пусть и не лично — но выкормившей. От розовых нежных сосков бежали, прячась под тонкой кожей, голубоватые жалобные жилки.

— Почему? — спросила она угрюмо и медленно принялась застегивать платье.

— Потому что вы, Галина Петровна, замужем.

— Да все замужем, черт возьми, — и у всех любовники! Почему только мне нельзя?

Галина Петровна закусила губу, чтобы не расплакаться, — унижение оказалось неожиданно сильным.

— Потому что не все замужем за академиком Линдтом.

Генерал прикурил две сигареты, протянул одну Галине Петровне — несмотря на выучку, руки предательски прыгали, в штанах ныл огромный, болезненно набухший желвак. Галина Петровна затянулась так, что сигарета рассыпала трескучие рождественские искры.

— И ты, зая, — генерал Седлов неожиданно перешел на «ты», — и даже я — пустое говно по сравнению с Линдтом. Это, может, и обидная, но правда. Муж твой такие вопросы для правительства решает, что нам с тобой в голову не поместится, потому я тебе его беспокоить не дам. И не проси. Любовников у тебя не будет — это я сам позабочусь, будь спокойна. И вообще — имей в виду, за тобой и раньше присматривали, но, судя по всему, херово. Теперь будут смотреть хорошо. Я сам буду смотреть.

Галина Петровна затянулась еще раз и медленно, со вкусом, воткнула горящую сигарету в обивку «Волги». Завонял, плавясь, дерматин, по обивке поползла ужасная, неровная рана. Генерал засмеялся и открыл окно.

— А и горячая же ты девка, зая! — сказал он с удовольствием. — Давай я тебя машину лучше водить научу, а? Это такая свобода — ты не согласишься! На ста двадцати любой пар сам выходит, вот увидишь.

Галина Петровна сморгнула слезы и тоже засмеялась.

— А давай, — сказала она, тоже переходя на «ты». — Научи. — И насмешливо прибавила: — Зая.

Седлов принес обещанные сведения через неделю, хотя узнал все, что было нужно, через час — невелика оказалась цаца, этот Николай Иванович Машков. Галина Петровна взяла тощую картонную папку, улыбнулась —

как ей казалось, совершенно безопасно.

— Кофейку? — предложила она. — Сама сварю.

— Тогда точно не надо, — засмеялся генерал. — Да не томись, читай, там никакого криминала.

Галина Петровна улыбнулась еще раз, забыв про прежнюю улыбку, так что получилось больше похоже на мучительный оскал. Надо будет на всякий случай присмотреть и за этим полудурком, решил Седлов, быстро, по-молодому, преодолевая один лестничный пролет за другим и звякая мысленными шпорами. Старые связи — как старые раны. Сто лет молчат, а потом раз — и ты уже на том свете.

Генерал еще не покинул подъезд, а Галина Петровна уже знала, что Николенька никуда не делся, не был осужден, сослан, даже не уехал никуда. Он все эти годы преспокойно проживал в городе Энске в двухкомнатной квартирке (2-й Трудовой пер., 14/1, кв. 12), которую получил от государства... Галина Петровна встала, прошла по комнате, снова села. Правильно — в 1959 году. Когда она вышла... Нет, когда ее выдали за Линдта. В том же 1959 году Николай Иванович Машков необыкновенно быстро и удачно (ни одного черного шара) защитил кандидатскую диссертацию и получил соответствующую прибавку к жалованию и место заместителя заведующего кафедрой химии и природных соединений, но уже не в политехе, а в университете, что было еще одним колоссальным скачком вперед, фактически — сменой социального страта. В настоящий момент по указанному адресу с гражданином Машковым проживает его жена — гражданка Машкова Наталья Ивановна, библиотекарь, и две дочери — Анна, восемь лет, и Екатерина, четыре года.

Выходит, он откупился от нее тогда точно так же, как родители, — просто откупился. Галина Петровна закрыла папку и попробовала представить себе жену Николеньки, его дом, девочек — но ничего не увидела, кроме своего неясного отражения в буфетном стекле. Чарки агатовые в серебряной оправе, Россия, XVII век. Серебро, оникс, позолота, резьба. Посуду Петровской эпохи она начала коллекционировать совсем недавно, а места уже катастрофически не хватало. Надо поискать еще одну горку для посуды, хорошо бы с глухой резьбой, подумала Галина Петровна и сама удивилась, до чего же ей не больно.

В столовую заглянул Линдт. Ты занята, фейгеле? Мне тут билеты предлагают на гастроли Большого. «Лебединое озеро», конечно, не шедевр, но, говорят, сама Плисецкая танцует. Хочешь на балет? Галина Петровна кивнула и улыбнулась — неожиданно, почти нежно. Балет — это

прекрасно, сказала она. Всегда ненавидела балет. Хочу, конечно. А потом — в «Центральный», да? Напьемся до упаду!

Линдт просиял, быстро, точно клюнул, поцеловал жену и тотчас, как чертик, скрылся. Галина Петровна проводила мужа глазами и непроизвольно потеряла плечом щеку, вытирая влажный след.

Все, что ей теперь оставалось, — так это ждать, когда он умрет.

Но теперь она, по крайней мере, будет ждать весело.

Так и получилось — девять лет с 1971 по 1979 год стали для Галины Петровны если не самыми счастливыми, то уж точно — самыми безмятежными за всю жизнь. Советский Союз — во всяком случае, Советский Союз Галины Петровны — был богат, уверен в себе и великолепен, как никогда, словно беспечный подгулявший барин, еще не подозревающий, что через пару подворотен шпана сдерет с него отличную, на хорях, шубу и пустит, улюлюкая, бежать по морозу в одних подштанниках, жалкого, униженного, залитого кровавой юшкой из разбитого носа. Но такой исход не мог предположить даже всезнающий Линдт.

Он все чаще не ездил в свой институт, оставался поработать дома, и все чаще это не раздражало Галину Петровну, которая, последовательно пережив вещественную страсть к антикварной посуде, мебели и украшениям, добралась наконец и до книг, а тут лучшего советчика, чем Линдт, в Энске было не сыскать. Они даже завели что-то вроде полуденного ритуала: Галина Петровна приносила в кабинет мужа чай в тяжелом серебряном подстаканнике работы Хлебникова (не того, безумного, что называл себя председателем земного шара, а честного московского купца 1-й гильдии Ивана Петровича Хлебникова, известного на всю Россию своей ювелирной фабрикой на Швивой Горке близ Таганки), и Линдт, с наслаждением отодвинув опостылевшие за жизнь бумаги, принимался за ланч с разговорами, во время которого Галина Петровна незаметно съедала все принесенное мужу печенье.

Ешь, ешь, милая. Я рад, что тебе вкусно. А Голубинского надо брать, конечно, — «Историю русской церкви» и до революции было не достать, а уж сейчас, да в четырех томах! Состояние хорошее? А, лисьи пятна — это пустяки, это поправимо. Знаешь, он был профессор Московской духовной академии, этот Голубинский, очень славный старик и с очень несчастной судьбой. С Победоносцевым воевал всю жизнь. Да еще и ослеп к старости. Но добрый был — просто необыкновенно. Линдт замолкал, вспоминая Марусин голос — теплые колокольчики, не бездушные серебряные, а

лесные, на тонкой нитке стебля, замшевые изнутри, лиловые и розоватые. Ее рассказы про Голубинского, который бывал у Питоврановых дома еще в дочалдоновские ее, девичьи времена.

Господи, подумать только, я сам еще тогда не родился!

Галина Петровна терпеливо переживала, пока Линдт покончит с мысленными лирическими спазмами, — судьба Голубинского не волновала ее совершенно, другое дело — состояние его переплета. Линдт спохватывался, возвращался к прежней теме, и так, болтая, они проводили час, а то и больше, пока Галина Петровна не вспоминала наконец, что ее ждут в парикмахерской или у портнихи. Иной раз она даже сама чмокала мужа на прощание. Это было так похоже на нормальную семью, что не грех и ошибиться.

Галина Петровна стала куда спокойнее, чем прежде: меньше тиранила прислугу, реже устраивала истерики — ужасные, скучные, сухие, как грозы, с криками и битьем посуды — ценную, впрочем, не колотила никогда. Она была почти счастлива — и сама практически перестала замечать это «почти». Жизнь в целом устраивала ее полностью, а с частностями можно было справиться или смириться — как с ускользнувшей в сток любимой сережкой или скоропалительной женитьбой Борики.

Борик, которого родители замечали не чаще, чем какой-нибудь предмет обстановки — господи, откуда у нас эта дурацкая ваза? ах, да, это же Лысиковы подарили, — вопреки всем педагогическим и человеческим законам вырос славным парнем, немного тюфяковатым, но не представляющим для психотерапевта ни малейшего интереса. Еще один пример того, что хороший достаток уродует детскую душу куда меньше беспросветной маргинальной нищеты. Борик был так же замечательно равнодушен к отцу с матерью, как и они к нему, но это было веселое, вежливое равнодушие хорошо воспитанного молодого человека, вынужденного делить кров с едва знакомыми и лишь самую малость докучными людьми. Рыжеватый, толстозадый, смешливый, он не унаследовал ни способностей Линдта, ни красоты Галины Петровны, зато неизвестно у кого взял ловкие умные руки и большую часть времени проводил в своей комнате, склеивая модели парусных судов, прекрасных и хрупких, как засушенные бабочки.

Иногда к Борику приходили товарищи — такие же, как и он, добрые, ленивые, богатые и балованные мальчишки. Они много и азартно спорили о будущем мира и холодной войне, слушали американские пластинки и обменивались ужасными слепыми копиями диссидентских рукописей,

написанных по большей части так скверно, что их следовало бы не только запретить, но и сжечь. Это были милые мальчишеские игры, подростковая прививка свободомыслия, без которой потом было бы слишком трудно влачить незавидную судьбу советских торгпредов и атташе.

Школу Борик закончил без троек — может быть, потому что Галина Петровна вечно забывала, в каком классе он учится. Однако скромного аттестата вполне хватило, чтобы поступить в университет на факультет машиностроения: фамилия Борики и его отчество освежающе действовали на любую приемную комиссию Энска. Линдту даже не пришлось никому звонить — да, впрочем, он, если честно, и не собирался.

В конце второго курса Борик привел в дом худенькую смущенную девицу и сообщил родителям, что намерен немедленно жениться. Галина Петровна взвесила девицу взглядом — дешевое платье, пластмассовые клипсы, ресницы в пол, темный хвостик на макушке.

— Беременная? — спросила она в лоб.

Девушка вскинула, наконец, глаза — рыжие, как у дворняжки. Дворняжка и есть. Подзаборная.

— Нет, — ответила она. И зачем-то прибавила: — Извините.

— Так зачем тогда жениться? — резонно заметила Галина Петровна, с удовольствием чувствуя, что вся она, начиная с чуть приподнятых идеальных бровей, заканчивая лаковыми чулками на стройных икрах, в сотни раз лучше и качественней, чем эта свиристелка, которая даже молодостью своей не могла распорядиться с толком. Ногти обкусанные, кожа на переносице шелушится. Дешевка.

— Слово «любовь», надо думать, ни о чем тебе не говорит, мама? — Борик посмотрел исподлобья, тяжело, и Галина Петровна впервые осознала, что родила мужчину — настоящего, взрослого, растающего к утру жесткой щетиной, с тяжелыми жилами на предплечьях и, судя по всему, с наполненной всем, чем положено, шириной. И от этой мысли почему-то было неприятно.

— Не вякай, — спокойно осадила она сына. — С тобой мы потом поговорим. Жених. — Борик дернул головой, как от пощечины, но Галина Петровна уже снова повернулась к девушке. — А семейное гнездо вы, конечно, тут вить собираетесь? Или у вас свои хоромы? Потому что у нас, сами видите, места мало.

Девушка обвела глазами гостиную и покраснела.

— Я в общежитии живу, — сказала она тихо. — С девочками. Но женатым отдельную комнату дают. — Девушка покраснела еще больше и поправила: — Могут дать. Нам обещали, Боря спрашивал в деканате.

— Боря у нас — парень деловой, — согласилась Галина Петровна ехидно. — Знатный добытчик. Повезло вам, ничего не скажешь.

Борик наконец-то не выдержал, встал и сдернул свою дворняжку со стула — будто пальто с вешалки.

— Пойдем, — сказал он. — Пойдем, нам с тобой тут делать нечего. Она свихнулась на барахле. А отец просто свихнулся. Я же предупреждал.

Девушка послушно пошла к выходу — не спрашивая, не возражая, Борик держал ее за руку, как маленькую, и по тому, как крепко и доверчиво переплелись их пальцы, по тому, как, не сговариваясь, они пошли в ногу, ясно было, что это любовь, конечно, любовь, без всякой корысти, без повода, даже без смысла. Даже Галина Петровна это понимала.

— И не рассчитывай, что я твою шавку пропишу! — крикнула она вслед, но входная дверь уже хлопнула. В добрый час и скатертью дорога.

Линдт заметил отсутствие сына только на третий день.

— Борик уехал, что ли? — спросил он за обедом, принимая тарелку с густой куриной лапшой.

— Нет, женился, — угрюмо ответила Галина Петровна.

— Ну и славно, — равнодушно заметил Линдт, помешивая лапшу ложкой. — Безобразие просто, как горячо! Пища должна иметь температуру, равную температуре человеческого тела, то есть ровно тридцать шесть и шесть десятых градуса по Цельсию! Тогда она нормально усваивается организмом.

Галина Петровна светски улыбнулась и немедленно выключила мозг. Разговоры мужа «об умном» она не выносила.

Борик так и не появился — ни через неделю, ни через две, но Галина Петровна, честно говоря, не особо и беспокоилась. Верный генерал Седлов время от времени доносил обстановку на поле битвы — расписались, получили комнату в общежитии, свадьбу гуляли вскладчину, всем курсом, ну что ты, честное слово, уперлась, зая. Она совсем неплохая девка, не шаболда какая гулящая. Сирота, родители погибли, учится хорошо, нагрузку общественную несет. Помиришься, тебе же спокойней. Я из-за такого говна волноваться даже не собиралась, — злилась Галина Петровна. Все, слышать ничего не желаю про эту прощмандовку. Генерал пожимал плечами — пойми этих женщин. Голову свернешь, пока догадаешься, что у них на уме.

Медовый месяц, растянувшийся на все лето, Борик с молодой женой провел в стройотряде. В сентябре они вернулись, тощие, загорелые, счастливые, заработавшие на строительстве коровников фантастическую сумму в две тысячи рублей. На двоих. Борик съездил к отцу в институт и

вернулся еще с пятью сотнями в кармане. Я отдам, папа, — пообещал Борик. Заработаю и отдам. Маме только ничего не говори. Линдт покачал головой, не то соглашаясь, не то возражая. Он показался Борику совсем-совсем стареньким и каким-то заторможенным.

Деньги пошли на взнос в кооператив. Двух с половиной тысяч хватило в аккурат на маленькую, но зато трехкомнатную. Ордер дали как раз под Новый год, так что праздник вышел шумный, веселый, двойной. Счастливый третьекурсник Борис Лазаревич Линдт, как положено, перенес хохочущую молодую жену через порог новой квартиры, совершенно пустой, но зато своей собственной. Галдели, стреляя в потолок советским шампанским, гости, такие же студенты, аспиранты, молодые веселые советские олухи, дети великой страны, которая неспешно и торжественно вступала в свою великую агонию. «С новым, тысяча девятьсот восьмидесятым годом!» — задумчиво сказал телевизор, взятый только на праздничную ночь, напрокат. Борик бдительно следил за тем, чтобы винегрета и вареной курицы хватило всем желающим. Они вообще-то хотели оливье, но не достали зеленого горошка. И черт с ним, они все равно были невероятно, волшебным, замечательно счастливы.

— А в маленькой комнате что устроите, буржуи? Кабинет? — поинтересовался кто-то из подвыпивших гостей, пытаясь стряхнуть пепел в чайную чашку, но всякий раз попадая на собственные брюки. Борик поймал взгляд жены, смущенный, веселый, рыжий. Она улыбнулась и кивнула — давай, теперь можно.

— В маленькой комнате у нас будет детская, — сказал Борик твердо, и все заорали и запрыгали еще громче — с новыми силами, с новым годом, с новым счастьем. Тут же была пущена по кругу нищая студенческая шапка и снаряжен к таксистам — за теплой водкой — самый трезвый гонец, так что праздник, словно мяч, получивший неожиданный толчок, поскакал дальше, к утру, с новой утроенной силой. Пели Макаревича, Высоцкого, целовались, плясали под кассетник, трясая головами, дрыгаясь, хохоча, и разошлись только часов в шесть утра, почти на рассвете.

Борик закрыл за последним гостем дверь и заглянул в комнату, которую они уже определили под собственную спальню. На раскладушке, бережно прижав руки к еще невидимому животу, тихо спала его жена, его девочка, его солнышко, его счастье. Борик прикрыл ее ноги сползшим пальто, сморгнул, еще раз сморгнул и пошел на кухню мыть посуду. Вода шла холодная, ржавая — сантехники тоже люди, у них тоже Новый год. Если будет мальчик, назовем... Нет, никак не назовем. Никаких мальчиков. Борик требовательно поднял голову к потолку, будто инстинктивно

чувствуя, что Бог именно там. Хочу дочку, — попросил он, впервые в жизни радуясь, что знает, о чем просить. Пожалуйста. Девочку. Девочку Лидочку. Кран фыркнул и выплюнул крученую струю кипятка. Борик улыбнулся и благодарно кивнул, как будто действительно получил ответ.

И в июне 1980 года родилась Лидочка Линдт.

Глава шестая

Лидочка

Глистов у Лидочки, разумеется, не оказалось, и Галина Петровна утратила к девочке всякий интерес. К тому же быстро выяснилось, что пятилетний ребенок — крест не только тяжелый, но еще и удивительно неудобный. Лидочку невозможно было завернуть в папиросную бумагу и убрать куда-нибудь подальше — в шкаф, а возня с некстати порванными колготками и еще более некстати заданными вопросами совсем не входила в планы Галины Петровны. А эти умильные и медоточивые гули-гули, которыми награждали Лидочку все встречные и поперечные? Ах, какая куколка ваша внучечка, ах у нее же совершенно ваши, Галиночка Петровна, глазки!

Во-первых, никакая внучечка Галине Петровне была не нужна, ей, в конце концов, только исполнилось сорок четыре года, а выглядела она — едва на тридцать пять. А во-вторых и в главных — и глазки, и повадки, и этот быстрый поворот головы, и даже, господи, движение, которым Лидочка придвигала к себе тарелку... Галина Петровна, за четыре года вдовства почти позабывшая животное, живое омерзение, которое вызывал в ней муж, с ненавистью следила за тем, как сквозь пухлое, веселое тельце подвижной хорошенькой девочки проступает, будто в кошмарном сне, Лазарь Линдт. Это был его взгляд исподлобья, его улыбка, его руки, фаланги его пальцев, его угловатая косточка на запястье, его манера быстро, будто украдкой, прикасаться к ее бедру, так что Галину Петровну физически простреливало от отвращения — как от удара об угол локтем, самым живым его, беззащитным, электрическим уголком.

А ну не лезь ко мне, платье помнешь!

Лидочка, неуклюже пытавшаяся приласкаться, испуганно сжималась, втягивала голову в плечи, смотрела темными, жалкими глазами, точно так же, как это делал Линдт. Господи, конечно, ребенок был ни в чем не виноват, но сама Галина Петровна, она-то в чем была виновата?

Растить Борика было не в пример проще — но все проще, когда тебе девятнадцать лет. К тому же Борик прекрасно довольствовался сам собой, а Лидочка, еще не успевшая отвыкнуть от родительской любви, про которую Борик никогда и не знал, липла к Галине Петровне совершенно инстинктивно, как звереныш, которого проще всего успокоить не словом, а

теплым боком, родным запахом, согревающим дыханием — всем тем, чего у Галины Петровны не было и что категорически невозможно добыть за деньги. Няньки, все такие же наглые, безмозглые и нерасторопные, как во времена Борикиного детства, были готовы за определенную мзду вытирать Лидочкину попу и следить, чтобы она жевала с закрытым ртом, но любить ее они не желали совершенно. Ее вообще больше никто не любил, и Лидочка постепенно, день за днем, осознавала это все яснее.

Вернее, не осознавала, конечно, — много ли она понимала в свои пять лет? Просто привыкала, как привыкает цветок, переставленный с подоконника, где было и солнце, и прирученный сквознячок, и голубая лейка со сладкой отстоявшейся водой, в какой-то дальний угол, не настолько темный, чтобы можно было позволить себе умереть, но мучительно невозможный по сравнению с прежним обжитым раем. И самым немилосердным было то, что память об этом рае не засыхала, как все остальное, а наоборот — росла и наливалась такой сочной болезненной силой, что Лидочка иной раз начинала рыдать без всякой причины, даже визжать, поднимаясь на высоких нотах почти до нестерпимого звона циркулярной пилы. Совершенно напрасно. Нянька, привыкшая к детским истерикам, просто выходила из комнаты, справедливо полагая, что свои нервы дороже, а до грыжи все равно еще никто не доорался, а Галина Петровна, заставшая как-то раз Лидочку на пике звукового припадка, просто вlepила ей качественную и равнодушную оплеуху. Лидочка лязгнула зубами и замолчала. Раньше ее не били. Никто и никогда.

Тяжелее всего было, что с ней никто не разговаривал — не считая, конечно, самых элементарных коммуникаций: подойди, подай, положи, ложись спать. Отстань. Отвяжись. Не трогай. Мамочка рассказывала много интересного. И папа тоже. Лидочка вспоминала, как уютно было сидеть между родителями на диване, чувствуя щекой нежную мамочкину руку, прохладную, как молоко, и тихонько вытягивать очень интересную пеструю нитку из папиного свитера. Ты думаешь, дадут путевки? — переживала мамочка. Да куда они денутся, весело говорил папа, а не дадут, так я местком в заложники возьму. А кто такие заложники? — немедленно оживилась Лидочка, бросаясь на новое слово, как котенок на шуршащий газетный бантик. Те, которые за воротник закладывают регулярно. Кого закладывают? — пораженная Лидочка замерла, разинув рот и забыв про нитку. Не кого, а что. Водку всякую и прочий алкоголь. Закладывают за воротник. Это значит, пьют много и не по делу. Алкоголики, словом. Значит, в месткоме все алкоголики? — догадалась Лидочка, и мамочка мягко повалилась от смеха на диван. Видишь, даже ребенок все понимает!

Не будет у нас никаких путевок!

Нет будут! Вот увидишь! Папа даже встал но, как жук, пойманный Лидочкой за нитку, тотчас вернулся и с жучиным же жужжанием принялся тормошить брыкающуюся дочку. Ах ты, Барбариска хулиганская! Ты зачем мне свитер распустила? Родного отца по миру голым решила пустить? Лидочка, вереща, забрыкалась, отбиваясь толстыми ножками. Не тормози ее так, она спать не будет, вступилась мамочка и тоже пожалела пострадавший свитер. Смотри, что ты натворила, а? Как только вытянуть сумела! И зачем тебе эта нитка? Красивая, — объяснила Лидочка, пытаюсь отдышаться и нисколько не боясь. Правда красивая, — согласилась мамочка. Видишь, какая цветная? Называется — меланж. И это было еще одно слово, и еще одна история, и они все не кончались и не кончались, пока заложники из месткома не дали наконец папе путевки. И они поехали на Черное море.

Замечтавшаяся Лидочка, еще плохо умеющая отличать воспоминания от реальности, вздрагивала от тихого стука, с которым шлепалась о пол книга, соскользнувшая с ее колен, и мамочка тотчас же исчезала, словно ее никогда и не было. Лидочка вздыхала, сползала вслед за книгой с дивана и устраивалась с ней уже на полу, стараясь не хрустеть страницами. Шуметь у Галины Петровны было нельзя. Еще нельзя было бегать, прыгать, устраивать под столом домик, натянув скатерть так, чтобы образовалось таинственное сумеречное логово, необыкновенно уютное, все в золотых солнечных прожилках, среди которых роились тоже золотые и похожие на мушек пылинки. Лидочка мысленно загибала пальцы: играть в мячик. Скакать. Расковыривать обивку и обои. Пачкать все фломастерами. Выпрашивать пирожок до того, как пришла пора обедать. Тоже нельзя. Это было трудно. Очень трудно.

В сущности, Лидочка жила как породистая болонка. Четыре раза в день ей на полупрозрачном коллекционном фарфоре подавали правильную еду, а после завтрака (чай, овсяная каша с вареньем, теплая булочка, желтое масло, твердый сыр) и перед полдником (молоко, хрустящее печенье, пара яблок или банан) — выводили на прогулку во двор, ведомственный, тихий, отделенный от реального мира кованым забором с чугунными завитками и колючими пиками. На прогулке можно было немного побегать или покачаться на визгливых металлических качелях — под присмотром, разумеется, только уже не одной, а целого десятка нянек, причем каждая ревниво следила за вверенным ей дитятей: чтоб был толще, бойчее и пригляднее остальных. Лузгали семечки, хвастались хозяйским богатством, детскими выходками и капризами — а мой-то, а мой-то ка-ак даст мне этим

ведерком по голове! «Мой-то», круглый, важный, весь в импортном наливчике тут же, неподалеку, и, сопя, пытался выкорчевать куст бурого от осеннего стыда боярышника. Не запрещали детям ничего — во всяком случае, дурного. Хорошего просто не замечали, видимо, потому что его было мало. Перебрав содержимое барских шкафов, неизбежно переходили к холодильникам: захлебываясь, докладывали, чем и когда угощались, что стащили, чем побрезговали. Кухарок и домработниц презирали — черная кость, обслуга, поломойки. Сами до уборки не унижались никогда. Раззадорив себя рассказами о жратве, тащили из авосек пакеты, голосили, призывая каждая свое чадо, — совали в замасленные, разинутые, как у птенцов, рты бутерброды с икрой, нежную сдобу, ломти ароматной буженины. Торопливо заглатывали объедки. Не угощали друг друга никогда. И детям не разрешали. Еще чего! Будто у них самих жрать дома нечего! Закормленные ведомственные отпрыски, впрочем, и сами не торопились вершить добро — в доме водились либо наглые, набалованные, мордастые барчата, либо бессловесные, слабенькие вырожденцы, жалкие, болезненные отпрыски могучих семейств, набалованные еще больше барчуков, но лишенные природой даже элементарных инстинктов и навыков выживания.

Гулять Лидочка не любила.

Сидеть дома — тоже.

Оставались только книжки — они ничего не требовали, не запрещали, и с ними можно было разговаривать. Сколько угодно. Хотя и про себя. Убедившись, что Лидочка быстро преодолела все незначительные детские рубежи, начиная с простодушного Айболита и заканчивая прелестной, лукавой «Русланом и Людмилой», Галина Петровна, поразмыслив, решила, что для собственного спокойствия одну из позиций можно и уступить. Она подвела Лидочку к одному из накрепко запертых книжных шкафов, провернула хрустящий ключ и спрятала его в карман. Вот тут можешь копаться, сколько влезет — милостиво разрешила она и указала на нижнюю полку. Выше — и думать не смей. Лидочка, потрясенная открывшимися ей растрепанными сокровищами, мелко закивала.

Так она унаследовала книги своего дедушки.

Разумеется, это были не все книги из огромной драгоценной библиотеки Лазаря Линдта, а только мелкий букинистический сор, который Галина Петровна не знала, как идентифицировать, но выкинуть не решилась — не в память о покойном супруге, конечно, а просто потому, что боялась прогадать. Мода на книги менялась почти так же непредсказуемо и часто, как на длину юбок и ширину лацканов, и все то охотились за

простодушными изделиями Ивана Дмитриевича Сытина, то вдруг принимались собирать первоиздания футуристов, выкладывая за нелепые, едва ли не из обойной бумаги сшитые брошюры столько же, сколько обычный советский гражданин был готов отдать только за вожделенную румынскую стенку. Поэтому Галина Петровна просто собрала все эти еще в девятнадцатом веке переплетенные годовые подшивки «Нивы», осыпающиеся учебники по арифметике и простодушные книжки «Дамского чтения для сердца и разума» и сослала на одну из полок, мысленно дивясь, зачем придиричивому Линдту вообще понадобился этот не имеющий ценности библиобред.

Лидочка села перед книжным шкафом на паркет, раскинув голые ножки, которые за год жизни с Галиной Петровной навсегда утратили живую, умильную, младенческую пухлость. Ей было шесть лет — совсем взрослая, учитывая все обстоятельства времени и места. Правда можно? — переспросила она прежде, чем протянуть руку, Галина Петровна могла передумать в любой момент, и за дозволенное вчера на завтра можно было получить преотличную трепку. Лидочка это знала. Оно вообще знала много больше, чем положено было человеку ее лет. Да читай, господи, — разрешила Галина Петровна. Не рви только и фломастерами не малой. Лидочка кивнула еще раз и безошибочно вытянула из тесного, чуточку взлохмаченного книжного строя самый потрепанный и даже как будто немного теплый том. Это был «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Молоховец.

Лидочка уселась поудобнее, и книга сама готовно раскрылась ей навстречу — на излюбленном кем-то, зачитанном и даже немного замасленном месте. «Сливочное мороженое готовится следующим образом», — прочитала Лидочка, словно волшебную сказку, и поспешила вслед за уютным неслышным голосом, прячущим внутри себя необидную смешинку: взять сливок самых свежих, негустых, следовательно, и нежирных, а в недостатке их и цельного молока; желтки растереть добела с мелким просеянным сахаром, смешать со сливками, поставить в кастрюле на огонь, мешать, пока не погустеет, но не вскипятить. «Но не вскипятить», — повторила Лидочка, до той поры и не подозревавшая, что мороженое вообще готовят, да еще и таким удивительным — следующим образом. Она думала, что мороженое сразу появляется на свет в заиндевелой бумажке или, на худой конец — в стремительно раскисающем и от того особенно вкусном вафельном стаканчике.

«Пробовать лопаточкой», — предупредил голос, и Лидочка тотчас вернулась обратно. Если с лопатки не будет более чисто стекать, а будет

отставать, наподобие жидкой сметаны, значит, что варить довольно, отставить, остудить, мешая; процедить сквозь сито в форму, которую надобно сперва вытереть хорошенько; накрыть бумагой и крышкой и вертеть на льду. Лидочка, забыв про все на свете, представила себе, как вертится на льду сливочное мороженое — будто Наталья Бестемьянова, крепкая, круглоногая, с пышной шапкой напружиненных, тоже как будто тренированных волос. А голос все объяснял — уютный, невероятно родной — как обтирать крышку формы, как выбивать получившуюся массу лопаточкой, пока мороженое не обратится в густую и сладкую массу наподобие чухонского масла, и слово «чухонское» было таким сказочным, что даже не требовало объяснений, и Лидочка — впервые за много-много месяцев — не вспомнила про мамочку и впервые была совершенно счастлива.

«Чем чаще мороженое будет вымешено веселочкой, тем оно лучше, в этом и состоит весь секрет хорошего мороженого», — закончила наконец-то Маруся и тихонько засмеялась. Это была ее полка, ее книги, которые Линдт унес, когда не стало Чалдонова, когда не стало вообще ничего, кроме памяти, кроме голоса, кроме так и не сумевшего умереть смеха, кроме этой книжки. Самой любимой — может быть, даже на свете. Теперь это была и Лидочкина любимая книжка. Елена Молоховец.

Следующие полгода Лидочка выпускала «Подарок молодым хозяйкам» из рук, только когда купалась или спала, да и то — Молоховец лежала тут же, неподалеку, на тумбочке, под подушку Галина Петровна не разрешила. Это были очень мирные полгода — во всяком случае, для Галины Петровны, потому что Лидочку, целыми днями сидевшую в кресле с потрепанным томом на коленках, было не видно и не слышно. Галина Петровна иногда даже забывала, что в доме живет ребенок — да что там, пожилой капризный фикус, лениво изображавший в углу гостиной зимний сад, и тот требовал больше внимания и забот.

Идиллия закончилась, как и положено, кровавым воскресеньем, причем кровавым в самом прямом смысле этого слова. Был чудеснейший день, звонкий, подмороженный, вечером Галина Петровна планировала отправиться в приятнейшие гости и потому торопилась завершить все свои дневные, земные дела. «Давай, быстро мой руки и обедать», — приказала она Лидочке, как обычно, полуутонувшей в кресле. Лидочка подняла бледное личико, послушно кивнула, и на желтоватую страницу — прямо на рецепт сливочных облаток (выпекать как трубочки, подавать к чаю или кофе) — шлепнулась тяжелая, густая, почти черная капля. Лидочка испуганно размазала ее пальцем, сползла с кресла и, сделав несколько

неуверенных шагов, потеряла сознание, заляпав кровью из носа ковер, собственный свитерок, джемпер Галины Петровны — белоснежный, новый, из чистого кашемира, пятна теперь не выведешь ни за что, и никаких гостей, конечно, никакого приятного вечера, как эта девчонка все-таки умеет все портить! Просто невероятно!

Скорая приехала минут через десять, но Лидочку, к тому моменту вполне пришедшую в себя и даже умытую, все равно повезли в больницу. Врач, услышав про обморок, даже слушать ничего не стала — увозим без разговоров, мало ли что с ребенком, да вы что! Галина Петровна забежала по квартире, собирая Лидочкины вещи и с ужасом понимая, что не знает, где что лежит, чертова нянька, завтра же уволю, развела бардак, ленивая сука! Колготки твои где? — спросила она у Лидочки, и врач посмотрела удивленно, а, плевать, не ее собачье дело, в конце концов, тоже мне — цаца, рылом еще не вышла, чтоб меня критиковать. Галина Петровна уронила сумку, подняла, снова уронила. И только теперь поняла, насколько испугалась.

По случаю воскресенья в детской неврологии имелся только дежурant, худой резкий парень с острыми скулами, уставший за сутки до полной потери вежливости, — случай для Четвертого управления невероятный, лебезить перед пациентами тут было важнее всего, важнее даже результата лечения, да, собственно, лечить было не так важно, куда важнее — угодить. Но у дежуранта на руках было тридцать заполненных коек и бокс, в котором медленно плавился в энцефалитном аду десятилетний мальчишка, совершенно безнадежный, совершенно, и дежурant всю ночь просидел возле его койки, время от времени бессильно проверяя ненужную уже капельницу и мечтая только об одном: чтобы началась наконец агония и мальчишку забрали — в реанимацию, в рай, куда угодно, лишь бы не видеть этот запекшийся рот, запавшие глазницы, эти выкручивающие изможденное детское тело тягучие судороги. Добро пожаловать в педиатрию, сынок. А ведь мог пойти в стоматологию. Мама говорила — умный всегда ищет, где теплее.

Дежурant ловко осмотрел распластанную на кушетке Лидочку, последовательно исключив мышечную ригидность, симптом прилипшей пятки, глазки давай посмотрим, следи за пальцами, вот так, ну-ка, покажи язык, оскалься, хорошо, теперь вставай, ручки разведи. Так, в позе Ромберга устойчива. Молодец. Только бледная, даже не до синевы — хуже, и вялая, как картофельный проросток, будто в подвале росла, а не в богатом сытом доме. Дежурant с ненавистью посмотрел на Галину Петровну, крупную, красивую, закинувшую ногу на ногу, лакированные сапожки

нежно стискивали круглые икры, шпильки тоненькие, высокие — зимой в таких не находишься, разве что пять шагов от машины до подъезда. Барыня. А ребенок как из концлагеря. Вот ведь гадина! Все они гадины — думают только о себе.

Дежурant на мгновение испугался, что сказал это вслух, но нет, смотровая, покачнувшись, вернулась на место, блеснув равнодушным никелем и стеклом. Сейчас бы кофейку — три ложки на стакан, с горкой. И покурить.

— Так что с ней, доктор? — спросила Галина Петровна нетерпеливо, страх за Лидочку, истеричный, стыдный, почти прошел, и теперь ей было только неуютно, и отчаянно хотелось домой, в тепло, в свет, подальше от этого худого парня с совершенно ненормальными глазами.

— Ортостатический коллапс, — сухо сказал дежурant. — Плюс низкая подвижность, эмоциональное напряжение. Масса тела понижена, вы кормите ее вообще хоть иногда? А на улицу выпускаете?

Он наконец-то не выдержал, сорвался, чувствуя, как бухает в ушах разогнавшееся от усталости и злости огромное сердце. Щеки у Галины Петровны пошли яркими, почти абстрактными, как на картинах Хуана Миро, пятнами.

— Вы что себе позволяете? — спросила она тихо и встала. — Да я на вас жалобу напишу. Вы у меня в два счета с работы вылетите.

— И напишите, — вдруг обрадовался дежурant и тоже вскочил. — Напишите, будьте любезны. Только не забудьте вписать, что не смогли ответить ни на один мой вопрос. Чем ребенок болел — не знаете, от чего и когда прививали — ах, я не в курсе, травмы головы — да откуда же мне знать! Вас родительских прав лишить надо, а еще лучше — судить. Гадина! — словечко наконец-то вырвалось наружу, закружилось по смотровой злобной юлой, и дежурant почувствовал внезапное облегчение, будто скинул со спины неподъемный мешок с чем-то живым, слабо шевелящимся, смрадным.

Галина Петровна, опешившая от такой неслыханной наглости, смотрела на него расширившимися глазами и молчала.

В дверь заглянула медсестра.

— В третий бокс срочно, Николай Иванович, — сказала она.

— Началось? — спросил дежурant. Медсестра кивнула. — Реанимацию вызывайте, я через минуту буду.

Медсестра кивнула еще раз и исчезла, только застучали по коридору быстрые подошвы — верный признак того, что все пошло на страшный перекосяк. В отделении бегают, только если кто-нибудь умирает. Живые

могут и подождать. Дежурант с силой потер ладонями лицо, одернул халат и погладил по голове Лидочку, которая все это время стояла возле кушетки, безвольно свесив руки и полуоткрыв рот.

— На всякий случай лору ее покажите, — порекомендовал он спокойно, будто ничего не было. — И отдайте девочку в какую-нибудь спортивную секцию, что ли. А то она ходить у вас разучится. Всего доброго.

— Всего доброго, — машинально повторила Галина Петровна. И Лидочка, растянув рот, вдруг отчаянно и совершенно беззвучно заплакала.

Как ни странно, жаловаться ни на кого Галина Петровна не стала, проглотила пилюлю, оказавшуюся, кстати, вполне целительной: Галине Петровне стало стыдно — как ни крути, а Лидочка действительно была ее внучкой, пусть и надоедливой, едва знакомой, неприятной, но родной. Детали ее хромосомного набора, тень ее собственной крови в маленьких чужих жилах. Конечно, приказать сердцу было невозможно — Галина Петровна это знала, но можно было привыкнуть, смириться, приспособиться, это она тоже знала, и, пожалуй, лучше многих других. В любом случае, так демонстративно забрасывать одинокую шестилетнюю девочку было подло, а Галина Петровна была взбалмошной, разбалованной, одинокой, жестокой, несчастной, но не подлой, нет. Только не подлой. Она отвезла Лидочку к лору, к невропатологу, даже (по великому благу) к частному, полуподпольному и несусветно дорогому гомеопату, и все эскулапы хором подтвердили диагноз и рекомендации яростного дежуранта. Больше двигаться — тогда придет и аппетит, больше общаться — тогда уйдет и эмоциональное напряжение. И никакого запойного чтения!

Галина Петровна вновь заперла книжный шкаф на ключ, но Молоховец Лидочка прижала к груди таким отчаянным, совершенно недетским жестом, что Галина Петровна только махнула рукой, ладно-ладно, пусть, только не больше часа в день, и смотри — я сама буду проверять. Лидочка мотнула головой, благодарно улыбнулась сквозь громадные, готовые пролиться слезы, и Галина Петровна впервые увидела у нее на щеке свою собственную ямочку — будто на одно мгновение оглянулась назад, в давным-давно заросшее пылью и паутиной детство. «А хочешь, в цирк вместе сходим?» — спросила она, сама себе удивляясь, и притянула девочку, впервые если не ласково, то хотя бы без отвращения. Лидочка вдохнула удушливый аромат жасмина и тубероз — огромный, огромный букет, даже корзина, на дне которой ждала терпеливого исследователя переложенная влажной древесной корой крупная, только что с куста, черная смородина — и смешно, помышиному чихнула. Парфюм

BEAUTIFUL 1986 года рождения от Эсте Лаудер — новинок Галина Петровна не пропускала никогда.

В цирк они не пошли, конечно. Но сладость и тепло данного обещания еще долго-долго питали наголодавшееся Лидочкино сердце.

Спортивные секции отпали сразу — Галина Петровна была категорически против всяких девушек с веслом и прочих безобразных кариатид. Девочка должна быть девочкой. Поэтому, чтобы обеспечить недостающую подвижность, Лидочку решено было отдать в танцевальный кружок — разумеется, в самый лучший, в Центральный Дворец пионеров: снобизм Галины Петровны не выносил несоответствия даже в мелочах. На первое занятие она отвезла Лидочку самолично, на «Волге» — не слишком большая жертва, если учесть, что новая (только что из спецателье) шуба настоятельно требовала первой прогулки. Правда, портниха попалась бестолковая — все пыталась пустить по подолу купеческих, жлобских хвостов, но Галина Петровна настояла на своем, и шуба состоялась, не шуба даже — тонкое, легкое пальто из переливчатой черной каракульчи с муаровыми разводами там, где у неродившихся ягнят должны были потом образоваться младенческие тугие завитки. На подкладку пошел самый настоящий шелк невероятного, почти императорского оттенка. Посечется же, засалится, так непрактично! — заклинала портниха, дура, четырежды деревенская дура, потому что стоило Галине Петровне поднять руку к волосам или распахнуть полы, как шуба, замкнутая, непроницаемая, монашески-строгая, вдруг являла миру свою тайную, тревожную, воспаленную изнанку и от этого становилась особенно беззащитной, раненой, невероятной — почти живой.

Огромный воротник из тронутой седоватым морозцем чернобурки, просторные рукава, перебор маленьких пуговиц на высокой, тесно обтянутой груди — Галина Петровна, скрипнув молодым аккуратным снежком, вышла из машины. Пахло близкими сумерками, скорой оттепелью и самую малость — только что разрезанным парниковым огурцом. Кургузые советские мамы, поджидающие у Дворца пионеров свой приплод, завидев диковинную барыню, завистливо поджали губы, и Галина Петровна ощутила себя не то героиней забытого на скамейке библиотечного романа, не то расплывающейся, влажной, прелестной переводной картинкой — такой неясной, что невозможно вспомнить, на каком полустанке памяти она мелькнула за окном в первый раз. Галина Петровна спрятала губы в щекотный мех, вдохнула нежный, чуть подмороженный воздух и вдруг почувствовала себя очень глупой, очень молодой и очень счастливой.

— Пойдем? — весело предложила она Лидочке, и та послушно засеменила рядом — нескладная, в клетчатом стеганом пальтишке и буратиной шапочке с желтым помпоном, похожем на свихнувшийся лохматый лимон. «Надо непременно заказать ей капор с лентами и мутоновую шубку», — мимоходом подумала Галина Петровна, и Лидочка, словно почувствовав эти мысли, смущенно запнулась, уронила варежку и шлепнулась за ней сама — мягко, всем телом, как умеют шлепаться только маленькие дети. Галина Петровна со вздохом остановилась — давай, сама поднимайся, сама — и тут только поняла, что неуловимо мешало ей все это время — не снежные мошки, не ледяной тротуар, в который каблук впились с приятным сахарным хрустом, а высокий парень в куртке из громыхающей советской болоньи, стоящий на крыльце Дворца пионеров. Что-то было в нем знакомое и потому тревожное — красноватые, зазябшие без перчаток лапы, легкая сутулость, растрепанные светлые волосы, дурацкая вязаная шапка предательски торчит из кармана — вот пижон, не иначе как девчонку дожидается. Девчонка появилась тут же, выскочила на крыльцо — румяная, хохочущая, в черном танцевальном трико и короткой атласной юбчонке, едва прикрывающей круглый, совсем не пионерский задок — судя по всему, под местными сводами были рады не только любознательным детишкам. На морозе от девчонки тотчас пошел пар, будто от разгоряченной, взмыленной лошади, и она, с лошадиным же, золотым гоготком, кинулась на шею своему нелепому Ромео, а он торопливо прижал ее к себе, распахнул дешевую куртку, пытаясь закутать свое сокровище целиком, замерзнешь ведь, дурочка, как же я люблю тебя, ты даже не представляешь! Девчонка захохотала еще громче, брыкнув плотными ножками, вынырнула из-под куртки и ловко затащила смущенного парня в фойе, но на крыльце еще несколько секунд сиял плотный, всеми ощутимый свет — живые отпечатки живой человеческой любви. И только когда свет наконец погас, Галина Петровна поняла, что парень был похож на Николеньку. «Он ввел меня в дом пира, и зная его надо мною — любовь», — не своими, невероятно далекими словами подумала она, и сразу издалека, из старательно забытого прошлого, тугой волной пришла страшная, почти обморочная усталость, слизывая краски, растворяя силы, так что и шуба, и радость, и вечер — все исчезло в один миг, осталась только обычная жизнь, привычная, бесконечная и потому едва уже выносимая.

Галина Петровна поняла, что сейчас расплчется или потеряет сознание. Все, дальше сама. Двадцать восьмая комната, второй этаж, с усилием приказала она, подтолкнув уже поднявшуюся и даже вполне

отряхнувшуюся Лидочку к воротам обители золотого детства. Через час няня тебя заберет. Жди на месте, на улице не торчи. Лидочка посмотрела испуганно, шмурыгнула носом, но справилась с собой и поплелась к огромной — в три человеческих роста — двери. Как она загребаёт ногами, господи, ну куда ей танцевать, у нее и слуха-то, поди, никакого, да за что мне это наказание, да расстегну я эту чертову шубу или — чпок! — одна непослушная пуговка отскочила и, цокнув о лобовое стекло, отлетела куда-то под пассажирское сиденье.

Окончательно справиться со ставшим пудовым каракулем удалось только в лифте — домработница, затеявшая по случаю танцевального дебюта пирожки, выскочила из кухни, воздев к небу мучные, осыпающиеся руки.

— Не приняли? — потрясенно выдохнула она, ища округлившимися глазами Лидочку.

— Туда даже даунов безногих принимают, — рывкнула Галина Петровна и раздраженно швырнула шубу на пол — вывернутую, освежеванную, теперь уже окончательно и бесповоротно мертвую. — Скажите, пусть Люся в шесть ее оттуда заберет. И не орите так, ради бога. У меня мигрень.

Домработница хотела было что-то спросить, но Галина Петровна только головой мотнула — отвяжитесь, я сказала! — и перед носом прислуги громко захлопнулась дверь в одну из комнат, еще одна, бог весть какая по счету, закрытая дверь в этой семейной истории.

Галина Петровна и сама не знала, зачем пришла в кабинет Линдта: большой стол, папки с бумагами, кожаный старый очешник, который он очень любил, зачехленная печатная машинка, которую он не терпел, все на тех же, что и прежде, местах — она сама распорядилась, чтобы трогать ничего не смели, так что получился маленький музей, стерильно чистый и совершенно никому не нужный, потому что после того, как Лазарь Линдт умер — прямо здесь, кстати, вот на этом самом слишком просторном даже для агонии диване, в кабинет не заходил практически никто. Уж тем более он сам.

Галина Петровна подошла к столу, провела пальцем по собственному лицу в деревянной рамке, на снимке ей было лет шестнадцать, хорошенькая бестолковая хохотушка, самая любимая фотография Линдта, может, потому, что с ним она никогда так не смеялась, рядом, в такой же рамке, — какая-то седая старушенция, не то родня, не то знакомая, за двадцать три года семейной жизни Галина Петровна так и не удосужилась расспросить, кто именно. Теперь уже поздно. И слава богу.

— Все ведь должно было быть по-другому, — сказала она тихо. — Все, абсолютно все. Разве я такая была? — Линдт молчал, лежал, скукожившись, на огромном диване, подтянув коленки к морщинистому пустому рту, — в той же позе, что и умирал, в той же, что и пребывал до рождения. — Это ты мне всю жизнь покалечил. Всю меня переуродовал.

Галина Петровна почувствовала, как издалека, чуть ли не из детства, приближаются, погромыхая, слезы, а Линдт все лежал, не поворачиваясь, и она вдруг поняла, что он вовсе не молчит, а едва ощутимо, на пределе чувствительности слухового нерва, бормочет что-то напевное, неразборчивое и бессвязное, как во сне, когда каждое отдельное слово, совершенно живое, круглое, словно бусина, нанизывается на другое, такое же понятное, но все они вместе сплетаются в запутанный, сложный, лишенный всякого смысла и оттого особенно страшный клубок.

— Теперь уже недолго, Галина Петровна, — сочувственно сказал врач и, судя по глазам, хотел погладить ее по плечу, но не осмелился. — Вы идите, поспите хоть немного. Сиделку я утром сменю.

Галина Петровна послушно кивнула, но не сдвинулась с места, как будто не могла оторваться от этой медленной, заволаживающей, почти торжественной агонии. Тихо и отчетливо щелкали пластмассовые спицы в руках пожилой молчаливой медсестры, тихо и отчетливо тикали старые напольные часы фирмы Lenzkirch, дубовые, с бронзовым литьем и позолоченными стрелками, и в такт им, коротко и страшно выдыхая, бормотал Линдт. *Амол из гевен а майсе. Ун ди майсе из гор нит фрейлех.* И снова: *амол из гевен а майсе.*

— Что он говорит? — спросила Галина Петровна. — Что он говорит? Вы понимаете?

— Нет, — сказал врач. — Вряд ли это вообще имеет смысл. Мозг, скорее всего, мертв больше, чем наполовину. Идите. Не надо вам на это все смотреть.

Галина Петровна встала и только теперь почувствовала, как страшно затекли от многочасового сидения ноги и спина. Надо поспать. Это правда. Или хотя бы немного полежать. На пороге она вдруг остановилась и спросила со странной интонацией — он точно не поправится? Врач виновато развел руками. Галина Петровна вышла, и из коридора раздались сдавленные лающие звуки.

— Вот бедняжка, — сказал врач равнодушной, как сфинкс, медсестре. Хорошо хоть плакать начала, я уж думал — до реланиума дойдем.

Галина Петровна вытерла мокрые глаза, вдохнула поглубже, чтобы успокоиться, но не выдержала и снова неудержимо, обеими руками

зажимая рот, расхохоталась.

Это началось в 1979 году. Вернее, Галина Петровна впервые заметила в семьдесят девятом — Бог знает, сколько жил с этим сам Линдт, и даже Бог вряд ли знал, насколько ему было страшно. Линдту было уже под восемьдесят, формально он давно числился пенсионером — почетным, заслуженным, черт знает каким еще — но на деле бывал в своем институте, правда, уже не ежедневно, а несколько раз в неделю, но в этих визитах все еще не было ничего формального. По-прежнему ядовито остроумный, по-прежнему соображающий с парадоксальной скоростью, он, как и раньше, курировал кучу проектов, выпасал (вернее — садистски угнетал) бесчисленных аспирантов и молодых ученых и азартно заканчивал очередную монографию.

Они были женаты двадцать лет, но Галина Петровна до сих пор старалась не называть Линдта по имени. Проще пройти несколько десятков метров, чувствуя, как ловко обливает бедра новое бархатное платье, открыть дверь, другую, третью, укоризненно приподнять брови. Линдт стоял в центре спальни — маленький, ссутуленный — в одной белоснежной рубаше, из-под которой, как из-под ночной сорочки, торчали сухие гнутые ножки — детского размера, но в недетских проплешинах и лиловатых жилах. На кровати перед ним лежал, приветливо распахнув объятия, отглаженный костюм чудесного черносливого отлива со скромным рядом лауреатских медалей на правой стороне и увесистой орденской планкой слева.

— В чем дело? Мы опаздываем! — недовольно сказала Галина Петровна.

Линдт вздрогнул, непонимающе разинув рот, взглянул на Галину Петровну — и снова уставился на костюм. Голова у него мелко, едва заметно дрожала, будто изношенный механизм, с усилием пытающийся сняться с места.

— Мы опаздываем! — повторила Галина Петровна.

— Куда? — спросил Линдт растеряно, и Галина Петровна впервые в жизни услышала в его голосе что-то похожее на страх. Она вдруг с тихим отчетливым ужасом поняла, что муж, должно быть, ничего не понимает. Ни того, что лежит перед ним, ни причины ее недовольства. Эта отвисшая старческая челюсть, мутной желтизной залитые невидящие глаза... Очень может быть, что он и ее-то не узнает. Господи, ну, конечно, ему же почти восемьдесят! Надо срочно позвонить Никитским, Ляля говорила, у нее есть знакомый невропатолог. Хотя при чем тут нервы? Линдт, должно быть,

давным-давно выжил из своего великого ума, а она даже не заметила.

— Ты что — не помнишь? — спросила Галина Петровна осторожно, будто разговаривала с буйным сумасшедшим, который мог в любую секунду выхватить стремительную и лиловую на отливе опасную бритву. — Мы приглашены к Андрикову, у него же юбилей. Машина уже полчаса внизу. Или ты плохо себя чувствуешь? Может, останемся дома?

— Ну что за глупости! — вдруг бодро отозвался Линдт и ловко, с удовольствием, впрыгнул в костюмные брюки. — Вот еще — дома. У Андриковых отлично кормят — грех не подхарчиться, раз дают. — Он засмеялся совершенно ненормальным смехом, больше похожим на вой, и Галина Петровна вдруг на секунду дико, до слабости, до испарины испугалась — будто была маленькой девочкой, совсем ребенком, которую безжалостно, даже весело бросал в лесу один-единственный известный ей взрослый.

— Что-то, мать, ты перепудрилась — белая вся, как снеговик, — недовольно присудил Линдт, пытаясь справиться с шириной — и это тоже было совершенно ненормально, никогда он не называл ее так — мать, и никогда не критиковал, даже в мыслях, Галина Петровна это точно знала, вываляйся она хоть в саже, хоть в перьях, хоть в самом дерьме. И с шириной у него никогда никаких проблем не было. Вот уж с чем у Линдта все и всегда было отлично.

Тем не менее вечер у Андриковых прошел безупречно — Линдт блистал даже больше обычного, сыпал парадоксальными остротами и затанцевал дам — да так, что Галина Петровна не один раз мысленно обозвала себя психопаткой и истеричкой. На долгих несколько месяцев все стало прежним, привычным, обжитым, но она отчего-то никак не могла успокоиться и тайком наблюдала за Линдтом с опасливым, напряженным чувством, точно следила за невиданным насекомым, которое двигалось в отдалении по траектории, пока не опасной, но бог знает, что взбредет ему в голову в следующий момент, да и есть ли вообще хоть что-то в этой голове — уродливой, огромной, запятнанной коричневатой старческой «гречкой»?

Но все было как обычно — разве что Линдт стал чаще раздражаться да начал необычно много есть, причем с капризами и выкрутасами, чего раньше никогда не было. Или было? Галина Петровна провожала глазами кусок белужьего балыка, который Линдт обмакивал сначала в хрен, а потом в кизилловый джем, рассуждая о грамотной активации вкусовых рецепторов. Или он всегда так ел? Боже, дура, двадцать лет прожила с ним бок о бок и ничего, ничего не замечала!

Но странности с едой, сперва едва заметные, продолжались — Линдт

стал ронять куски, сам, впрочем, смеясь над своей стариковской немощью, смотри, фейгеле, этак скоро тебе придется меня с ложечки кормить, потом отказал нож, а за ним и ставшая непослушной вилка, и ложечка оказалась совсем нешуточной, правда, с ней Линдт пока управлялся отлично, сгребая и вымешивая в глубокой суповой тарелке все сразу — мясную солянку с маслинами и лимончиком, молодую картошку, предусмотрительно и мелко нарезанную домработницей телячьей отбивную... Все это малоаппетитное месиво подогревалось до температуры в тридцать шесть и шесть десятых градуса и с хлюпаньем и чмоком отправлялось в рот — согласно новейшей теории Линдта, это был наиболее результативный способ усваивать из пищи все содержащиеся в ней полезные вещества.

День, когда Линдт вылил в тарелку — в компанию к венгерскому гуляшу, тушеной капусте и паровой куриной котлетке — стакан сладкого чая, стал для Галины Петровны днем окончательного прозрения. Линдт поболтал ложкой мерзкую жижу, подумал и с хитрой ухмылкой принялся крошить туда же берлинское печенье. Домработница незаметно перекрестилась и ушла на кухню. Галина Петровна сглотнула тошнотворный комок — не омерзения, нет. Страха.

Сомнений больше не было. Лазарь Иосифович Линдт, академик АН СССР, лауреат, член и гонорис кауза всего, чего только можно, окончательно и бесповоротно свихнулся.

Однако это надо было еще доказать. Всегда не терпевший врачей, теперь Линдт и вовсе стал совершенно неуправляемым — ни о каком обследовании и речи быть не могло, ну не психовозку же Галине Петровне было ему вызывать? Она отчаянно, впервые в жизни, пожалела, что сама же с треском выжила из дома Николаича, много лет назад, а ведь Николаич, пожалуй, мог бы хозяина если не заставить, то хотя бы уболтать. Но поздно, поздно — времени прошло столько, что и не разыщешь, генерал Седлов еще лет десять назад сказал как-то мимоходом, что мажордом-то ваш бывший из органов уволился, пьет, говорят, по-черному, но язык за зубами держит крепко. Вот что значит хорошая школа. Николаич, давным-давно удавившийся на пике похмелья в своей однокомнатной одинокой клетушке, молодцевато кивал, гордясь, что не подвел старых товарищей, жизнь свою прожил гнусно, но честно. Как настоящий чекист.

От отчаяния Галина Петровна пригласила в гости психиатра, раздобыла по знакомым целого профессора, толстого, круглого, похожего на жизнерадостное пасхальное яйцо. Профессор с удовольствием принял приглашение и часа два кушал с академиком чай, ловко и незаметно, как кот, загоняя Линдта вопросами в самые разнообразные логические тупики,

но Линдт, как назло, был безукоризнен, хлеба своего не намешивал и все словесные пасы собеседника отбил с легкостью, достойной себя самого. Профессор, запросивший за визит сто рублей, облобызал Галине Петровне ручку и на прощание заверил, что Лазарь Иосифович психически совершенно здоров, и вообще истинный гений имеет право на некоторые странности, тем более возраст почтенный, но для такого почтенного возраста, уж поверьте моему опыту, все более чем в порядке. Галина Петровна демонстративно вытерла руку о подол и выдала профессору пятьдесят рублей вместо обещанной сотни. Чтоб знал, мудака.

Но прошло еще несколько месяцев — и светлые промежутки вроде того, на который попал психиатр, стали реже. Линдт начал плохо спать и часто замирал на полуслове, уставившись всем обвисшим, застывшим лицом куда-то в одном ему ведомое время и пространство. Один раз, глядя в окно, он с удивлением сказал — ну и очередь, мама моя дорогая! Он с хрустом распахнул рамы и весело крикнул — эй, парни, даже не занимайте, картошки все равно всем не хватит! Галина Петровна отдернула тонкий сливочный тюль — двор был совершенно пуст, только шоркал метлой немолодой дворник, да текла вдоль кустов длинная, пушистая, огненно-рыжая кошка.

Это было похоже на медленное погружение. Линдт будто уходил в черную стоячую воду, неторопливо, шаг за шагом, теряя то небольшое человеческое, что в нем вообще было, и никто не останавливал его, не плакал, никто не умолял вернуться. Совсем никто. Поразительно, но он все еще невероятно много работал, ежедневно проводя за письменным столом не меньше четырех часов и иногда тихо, а иногда яростно разговаривая. Однажды, когда академик особенно бурно спорил с каким-то Сергеем Александровичем, понося его черной, совершенно лагерной бранью, Галина Петровна не выдержала и заглянула в кабинет. Линдт разговаривал с часами.

Всякий раз, передавая очередному аспиранту пачку листов, исписанных фирменными закорючками академика, которые теперь стали еще чудовищнее и крупнее, Галина Петровна ждала звонка с испуганными расспросами, откуда она взяла эту ахинею, и звонки, конечно, были, только совсем другие — ах, это просто гениально, совершенно поразительные выкладки, передайте Лазарю Иосифовичу, что из «Physics of Plasmas» прислали благодарственную телеграмму, они просто в восторге от его последней статьи, и, знаете, по секрету хочу вам сказать, уважаемая Галина Петровна, дело, очень может быть, пахнет Нобелевкой!

Галина Петровна положила трубку на рычаг и проводила глазами

мелко семенящего по коридору будущего нобелевского лауреата, сухого, крошечного, кутающегося в засаленный, заляпанный до полной неузнаваемости халат. Прежде чем свернуть к своему кабинету, он подпрыгнул, хлопнул воображаемыми крыльями и залиvisto кукарекнул. Телефон зазвонил снова. Галина Петровна взяла еще теплую трубку и устало сказала: «Пошел на хуй, идиот. И не звони сюда больше — надоел».

Борик вспыхнул и, как ошпаренный, выскочил из телефонной будки. «Пойдем, — сказал он жене, покачивающей коляску, в которой спала туго спеленутая и похожая на очень хорошенькую сардельку новорожденная Лидочка. — Никого нет дома. Я потом позвоню. В другой раз». Но другого раза, разумеется, не случилось. Через несколько недель Лазарь Линдт заболел неизвестно откуда приблудившимся тяжелейшим гриппом. Приехавшая на сорокаградусную температуру скорая предложила госпитализацию, но Галина Петровна отказалась. Хорошо, покладисто сказала шустрая вышколенная докторица. Учитывая положение пациента и его возраст, думаю, мы легко сможем организовать круглосуточный пост и на дому.

Четвертое управление встало на уши в прямом смысле этого слова, и уже дней через десять Линдт пошел на поправку. Точнее неторопливо, словно паводок, стал отступать грипп, оставляя после себя какие-то черепки, обломки, раздувшиеся трупы домашних животных и жуткие запахи сырости, смерти и гнили. Ежедневно посещавший высокопоставленного пациента терапевт (высшей, разумеется, категории) отвел Галину Петровну в сторону и деликатно спросил, не замечала ли она в поведении супруга каких-нибудь странностей.

— Он же гений, — сказала Галина Петровна зло. — Всегда был с приветом. Что вы от меня-то хотите?

— В первую очередь — мужества, — сказал терапевт и долю секунды полюбовался собой со стороны. — Должен сказать, что у Лазаря Иосифовича Линдта, судя по всему, болезнь Альцгеймера.

Линдт умер 25 декабря 1981 года, через два месяца после объявления приговора, и последние три недели провел в беспамятстве, полном никому неясного, невнятного бормотания. Он был еще жив, а в спеццехе центрального «Ритуала» уже заканчивали делать для него огромные колючие венки, складировали в специальные холодильные камеры тысячи нежных, махровых гвоздик, раскладывали, сбиваясь со счета, бархатные подушки для орденов, и стоял в углу, уже совершенно готовый, гроб с бронзовыми ручками — светлый, лакированный, почти радостный, и

слишком большой для того, кому предназначался.

В доме Линдта было шумно, многолюдно, даже оживленно — как перед большим и долгожданным торжеством. Домработница сбивалась с ног, разнося канapé и бутерброды, а Галина Петровна, похудевшая и похорошевшая еще больше, с достоинством принимала одного визитера за другим. Директор Линдтова института деликатно и с тысячью извинений обсуждал с ней сценарий похорон — ведь государственного масштаба мероприятие, создана даже специальная правительственная комиссия, сами понимаете! Галина Петровна понимала и не возражала ни против прощания в Центральном Доме Советской армии, ни против первого секретаря Энского обкома КПСС в почетном карауле. Ей без конца целовали руки, выражали соболезнования, пятились задом, вытирая платочками глаза. Но Линдт все не умирал — лежал в позе эмбриона, бормоча свою тихую невнятицу, словно завис между двумя мирами на невидимых, но все еще прочных нитях, и это продолжалось так долго, так что все, наконец, устали ждать. Все — включая его самого.

25 декабря в четыре часа пополудни Галина Петровна заглянула к Линдту в кабинет — как заглядывала ежечасно, и кивком отпустила сиделку, деликатно грызущую в углу юбилейное печенье. Идите, поешьте горячего, я посижу. Сиделка с благодарным воркованием исчезла, и Галина Петровна осталась в синей сумеречной комнате один на один со скукожившимся, почти исчезнувшим мужем. Амол из гевен а мейлех, — тихо и безостановочно бормотал он. Дер мейлех гхот гегхат а малке... Галина Петровна подошла к окну, чуть отдернула парчовую гардину — шел крупный, бесшумный, торжественный снег, какой бывает только на Рождество, и весь двор, весь город, весь мир были полны этим снегом и светом, бледным, живым, настоящим, какой бывает тоже только один раз в год, на Рождество. Бормотание вдруг стихло, и Галина Петровна испуганно оглянулась. Было почти темно, затхло и тяжело пахло какими-то лекарствами, болью и стариковским измученным телом. Все предметы в кабинете словно зажмурились и вжались в углы. И только с постели глядел на нее прежний Лазарь Линдт, живыми, усталыми, совершенно человеческими глазами.

— Фейгеле, — сказал он ласково. — Это ты. А мне все кажется — мама поет.

И он негромко и очень точно напел на идише старинную, старше его самого, колыбельную: *«Люлинке, майн фейгеле, люлинке, майн кинд»*. Ту самую, что повторял неверным, коснеющим языком долгие три недели.

Галина Петровна и сама не поняла, как оказалась рядом с диваном, на

коленях. «Ты, — пробормотала она потрясенно. — Ты... Разве ты...»

— Голова болит, — пожаловался Линдт и приложил горячую, крупную руку жены к своему огромному лбу. — Я упал, что ли? Ничего не помню.

Он обвел глазами кабинет, попытался приподняться, но не смог. Галина Петровна неожиданно для себя самой всхлипнула — громко, по-деревенски, и закусила запрыгавшую нижнюю губу.

— Что со мной? — спросил Линдт настойчиво, и вдруг глаза его расширились и на мгновение застыли, словно увидели то, что не предназначалось ни ему, никакому другому человеку.

Он понял.

— Вот, значит, что, — сказал он хрипло. — А я думал — упал.

Он испуганно сжал пальцы Галины Петровны, словно маленький, словно она могла помочь, словно хоть что-то можно было поделать, но тотчас справился с собой и отпустил ее руку.

— Ничего, — пробормотал он. — Ничего, фейгеле, не бойся. Если вздуматься, это всего-навсего эксперимент, и даже очень любопытный.

Галина Петровна хотела ответить, хоть что-то сказать, но все заготовленные слова вылетели из головы — а ведь она столько лет ждала, готовилась, тысячи раз представляла себе, как проклянет его перед смертью, как выскажет все, что гнусным комком стояло в горле долгих двадцать три года ее кошмарного замужества. Она уткнулась лбом в край дивана и мучительно, будто ее рвало, зарыдала.

Линдт с трудом поднял руку, погладил жену по теплым, живым волосам.

— Не плачь, фейгеле, — попросил он тихо, ни на что не надеясь, как просил у нее всю жизнь — хлеба, взгляда, любви, сострадания. — Я тебе так за все... благодарен. — Он помолчал, собираясь. — Лучше тебя ничего не было. За целую жизнь.

Галина Петровна подняла мокрое лицо с пламенеющим на лбу диванным отпечатком, и Линдт улыбнулся ей — благодарно, нежно, изо всех сил.

— Мне бы... повернуться, родная, — попросил он, и Галина Петровна вскочила, суется, неловкими руками принялась укладывать мужа поудобнее, в кабинет уже спешила насытившаяся сиделка — ой, да что ж вы, да не надо, Галина Петровна, да я сама. Обе женщины, толкая друг друга боками, повернули иссохшее до темноты тело академика, Галина Петровна подхватила его соскользнувшую, изможденную, пергаментную руку, и на секунду все приобрело библейскую силу и простоту.

Она уложила на подушку седую огромную голову мужа, заглянула ему

в глаза и отшатнулась.

Лазаря Иосифовича Линдта больше не было.

Когда накрытый с головой аккуратный сверток увезли на носилках, Галина Петровна разогнала всех — врачей, прибывших засвидетельствовать смерть, гэбэшников, явившихся оказать почтение, сиделок, хныкающую домработницу, и впервые за много месяцев осталась совершенно одна. Она обошла громадную пятикомнатную квартиру, зачехляя заглядывая во все углы, будто надеялась найти что-то или понять, но не нашла, и вдруг завывала, низко и жутко, как издыхающее животное, как собака, раздавленная равнодушным колесом (все, что ниже разможенной поясницы уже умерло, а душа все никак не вырвется из проломленной грудной клетки в тихий предутренний покой). Она выла, раскачиваясь и сама не понимая, что делает, пока соседи снизу, смирная генеральская чета самого преклонного возраста, не начала гулко колотить по чугунным батареям, выла, пока в десяток кулаков избивали входную дверь и пока в пару топоров ее мучительно калечили и ломали. Потом опять замельтешили какие-то полужнакомые люди, по-ишачьи заголосила под окном скорая, короткими синими всполохами разгоняя боязливые сумеречные души покойников, прибывшие, чтобы поприветствовать новичка. Галину Петровну трясло за плечи, совали к лицу стакан с остро воняющей валерьянкой, а она все выла и выла, пока врач не кольнула ее в полное предплечье сияющим шприцем — будто укусила. И комната тотчас мягко закрутилась вокруг грандиозной люстры с гранеными богемскими висюльками, унося Галину Петровну в одинокое забытие, в котором она все равно продолжала жалобно, жутко, на одной ноте, выть.

Просто больше никто ее не слышал.

Она проснулась часа через два, оттого что покойный Линдт мягко позвал ее на ухо молодым, ласковым шепотом: «Фейгеле». Галина Петровна целую минуту лежала, зажмурившись, вся влажная от ужаса, с черствым от снотворного, горьким ртом, пока не поняла, что это всего лишь сон, просто сон, даже не кошмар. Потому что все кошмары ее жизни уже закончились, ушли вместе с Линдтом, который сейчас, должно быть, уже стоял где-то в предбаннике небесной канцелярии: приглаживал седые львиные космы, продувал забитую перхотью карманную расческу, скалясь и предвкушая завершение увлекательнейшего спора — а вот по этому вопросу, любезнейший, я буду вынужден опровергнуть вас даже сейчас. Галина Петровна старательно представила себе металлический стол ведомственного морга, крошечное, ссохшееся от старости и страсти тельце

покойного мужа и безучастного патологоанатома — почему-то с большими кухонными ножницами, которыми домработница обычно разделявала к обеду курицу, ловко рассекая зазубренными браншами бледную бескровную плоть.

И только тогда наконец решилась открыть глаза.

Она лежала в тихой, полутемной гостиной на огромном кожаном диване, который был так потрясен невиданным прежде вниманием хозяйки, что не осмеливался даже шевельнуться. Какое-то время Галина Петровна бездумно рассматривала люстру, неподвижную, темную, растопырившую бронзовые лапы, точно гигантский затаившийся паук, готовый вот-вот рвануть вниз, к парализованной ужасом добыче. Завтра же сменю эту пакость, подумала она, и слово «завтра» отдалось в голове грустным, неясным звоном — словно где-то далеко, может быть, в детстве, уронил горн маленький и бесконечно уставший от подвигов пионер, похожий не то на замученную игрушку, у которой наконец-то кончился завод, не то на рано повзрослевшего ангела.

Галина Петровна неловко попыталась сесть — мир от снотворного стал мягким и путаным, словно полуспустившийся со спиц недовязанный шарф, — и только теперь заметила, что в гостиной не одна. У стола, в лужице света, едва просочившейся из-под абажура маленькой лампы, свесив непослушную голову на крупные лапы, дремал фельдшер, можно даже сказать — фельдшеренок лет двадцати, оставленный, видимо, для того, чтобы сановная вдовица не натворила на радостях еще каких-нибудь дел. Запястья у фельдшеренка были широкие, как у породистого щенка, а на носке, прямо у большого пальца, сияла умильная, как пупок новорожденного, дырка. Воспитанный парень. Разулся. Не рискнул осквернять грязными ботинками барские паркеты.

— Эй! — сказала Галина Петровна негромко.

Фельдшеренок дернулся, вскинул голову и то ли от неожиданности, то ли от молодости улыбнулся — глуповато и радостно, точно так же, как улыбался спросонок Борик, когда был маленьким. А ведь он младше Борьки. И мать у него, должно быть, моложе меня. Фельдшеренок крепко потер глаза и встревожено спросил Галину Петровну — вы в порядке?

— В полном, — ответила Галина Петровна и распахнула халат, мягко осветив комнату голубоватым голым телом. — Иди-ка сюда.

Фельдшеренок сглотнул и растерянно оглянулся, словно кто-то — старший и опытный — мог подсказать ему, что делать.

— Иди, иди, не бойся, — насмешливо повторила Галина Петровна, чувствуя, как заливает лицо и грудь дикая, глупая радость, что все наконец-

то случилось, все кончилось, она наконец-то дождалась.

Все действительно кончилось — через пять минут, включая радость, и, закрывая за растерянным, отчаянно смущенным парнем дверь, Галина Петровна не испытывала ничего, кроме острого желания вымыться, такого же, как с Линдтом, только в тысячу раз хуже.

За первые полгода своего вдовства она сменила не меньше десятка любовников — молодых и не очень, наглых, самоуверенных и тихих, всего на свете робевших, — но ни с одним из них не случилось ничего, кроме влажной, омерзительной, телесной возни, в которой не было и тени той любви и нежности, которой, оказывается, была полна каждая минута ее жизни с Линдтом. С ним все было по-другому. Абсолютно все.

И теперь, когда сказка, которую она считала такой страшной, закончилась, Галина Петровна вдруг обнаружила, что балованная, юная, любимая девочка, которой она привыкла ощущать себя целых двадцать три года, превратилась в тыкву — обычную сорокалетнюю вдовицу, конечно, без материальных проблем, зато с намечающимся вторым подбородком. Желających переспать и подхарчиться было навалом, но никто не говорил ночью, не просыпаясь: «Солнышко мое», никто не помнил, что яблоки она любит твердые, чтоб хрустели, а груши, наоборот, переспелые, и никто не умилялся, когда, перепачканная этими грушами, она облизывала липкие пальцы, словно маленькая. Да и маленькой ее больше никто не считал.

Галина Петровна разогнала любовников и рассорилась даже с теми немногими приятельницами, что могли выносить ее выходки и бриллианты. Сын, говорите? Да этот свиненок умудрился не прийти на похороны к родному отцу! Она сменила гардероб, мебель в спальне, купила новую машину и поняла, что ей, собственно, незачем выходить из дому.

Это было чудовищно. Но это и была свобода.

До двадцать восьмой комнаты на втором этаже Лидочка добралась без приключений. В полуоткрытую дверь виден был циклопической величины зал с зеркальной стеной, в которой отражался зеркальной же натертости паркет, странным образом отражающий в себе зеркальную стену. В каждом направлении череда отражений упиралась в опасную бесконечность, и в центре каждой бесконечности желтым сальным пятном расплывалась все уменьшающаяся люстра. Очень простая задачка, отозвался Лазарь Линдт. Если принять во внимание скорость света и предположить, что расстояние между зеркальными поверхностями — два метра, то при продолжительности опыта в одну минуту можно увидеть девять миллиардов отражений люстры. Лидочка, полуоткрыв рот, начала считать.

Важное условие, продолжил Линдт, и снова невозможно было понять — шутит он или давно уже умер, — наблюдатель должен быть совершенно прозрачным, чтобы не загораживать собой ряд отражений.

— Новенькая? — резко спросили из-за спины, так что Лидочка вздрогнула и сбилась со счета. — Как фамилия?

— Линдт. Лидия Линдт, — призналась Лидочка, не оборачиваясь и стараясь говорить четче, как учила Галина Петровна — у тебя фамилия, которой стоит гордиться, так что привыкай внятно произносить все согласные: Ли-ди-я-Ли-н-д-т.

— Внучка Лазаря Иосифовича? — Голос за спиной заметно потеплел. — А ты почему спиной со мной разговариваешь?

Лидочка перевела дух, обернулась — ничего страшного, никого страшного, просто жилистая пожилая девушка с обглоданными куриными костями вместо ключиц и бутылочными, странно вывернутыми икрами.

— Анна Николаевна, художественный руководитель танцевального кружка «Колокольчики», — церемонно представилась девушка и с заметным беспокойством спросила: — Ты танцевать любишь?

Лидочка растерялась, не зная, что сказать, — она вообще никогда не танцевала, разве что водила с мамочкой кратковременные хороводы вокруг новогодней елки, пока папа не начинал смеяться и не говорил, что прекратите, девчонки, у меня сейчас голова закружится, давайте лучше вплотную займемся тортом! А у Галины Петровны никаких елок не было, и никто не ходил хороводом, не пел и не танцевал. У нее и разговаривать-то громко было нельзя.

— Ладно, — сжалась Анна Николаевна и крепко взяла Лидочку за руку. — Сейчас все узнаем. Идем.

И огромная дверь в двадцать восьмую комнату распахнулась.

Через год с небольшим семилетняя Лидочка протанцевала в «Колокольчиках» все что можно — и мазурку, и русскую плясовую, и откровенно переперченный чардаш. У нее обнаружился и абсолютный слух (ничего удивительного, я в детстве отлично пела, ревниво пожала плечами Галина Петровна), и редкостная телесная одаренность, та счастливая мышечная ловкость, что позволяет смертному человеческому телу двигаться по законам иного измерения, а может быть, даже иного времени. Анна Николаевна души не чаяла в смышленной девчушке, которой, в отличие от прочих неуклюжих недорослей, ничего не надо было показывать дважды — Лидочка никогда не сбивалась с ритма, не путала ряды и любое, самое сложное па повторяла с той обманчивой легкостью, которая и предполагает наличие больших способностей, а может, даже и

таланта.

Бледность и обмороки были забыты — двигательной активности у Лидочки теперь было столько, что хоть другим отсыпай. Она вытянулась и похудела еще больше, но теперь в ее худобе не было ничего болезненного, даже наоборот — ловкая, тоненькая, пышноволосая и глазастая, Лидочка обещала со временем стать настоящей красавицей, причем обещание грозило сбыться буквально через несколько лет. Она стала еще больше походить на Линдта, но в женской ипостаси, только все, что Галина Петровна считала в покойном муже уродливым, в Лидочке странным образом стало прелестным, и это раздражало еще больше, почти нестерпимо. Они почти не общались — настолько, насколько это вообще возможно, пребывая в одной квартире. Впрочем, официальные обязанности бабушки Галина Петровна исполняла исправно: Лидочка ела (наконец-то с аппетитом) то же самое, что и она сама, — то есть самое лучшее и свежее, была отлично, дорого и со вкусом одета во все импортное, жила в отдельной, своей собственной комнате и, слава богу, была совершенно здорова. Остальное не имело значения, по крайней мере для Галины Петровны. Мнения Лидочки никто не спрашивал, как никто, собственно, больше и не спрашивал, любит ли она танцевать. Она не любила. И тем не менее исправно, без прогулов, трижды в неделю посещала свои «Колокольчики».

Всего за несколько месяцев передвинувшись из задних рядов, в которых козлятами скакали неопытные новички, она попала на переднюю, почти фронтową линию танца, от которой не отрывали взглядов ни взыскующие зрители, ни придирчивые педагоги. Анна Николаевна даже поставила специально для Лидочки сольный танец — цыганочку, и в том, как смуглая хорошенькая маленькая девочка томно изгибается, поводит худенькими плечами и выше головы вскидывает облако крахмаленных пестрых юбок, было что-то глубоко ненормальное, даже трагичное, вот только никто этого не замечал. Совсем никто. «Улыбайся, — шипела из-за кулис Анна Николаевна, — умоляю — улыбайся», но Лидочка только крепче сводила тонкие темные брови, быстро, мрачно и совсем по-цыгански взглядывая на простодушно рукоплещущую публику. Она и в училище потом долго не улыбалась, когда танцевала, но в училище за это били, да и не только за это, конечно. Еще один прыжок, изогнутая маленькая ножка почти касается затылка, звенят слишком тяжелые мониста, звенит слишком громкая, совершенно пьяная музыка. Всё. Наконец-то всё. «На поклон, Лида, и бисируем, бисируем, пока просят», — Анна Николаевна, изживающая с Лидочкой все свои бесчисленные

комплексы неудавшейся танцовщицы, снова пытается вытолкать взмокшую девочку на сцену. «Я опаздываю», — упирается Лидочка, но снова оказывается в квадрате деревянного света, снова прыгает, призывно крутит бедрами и запястьями, отсчитывая такт и мрачно глядя в зрительный зал. Она действительно опаздывает, кружок по домоводству начинается в шесть, ее заберут в шесть тридцать, сейчас почти четверть седьмого, у нее уже отобрали целых пятнадцать и без того украденных минут!

Наконец Лидочку отпускают, и она, не переодевшись, подобрав сценические юбки, бежит по огромной лестнице, словно киношная Золушка, только танцевальные туфельки с крепким ремешком так просто не потеряешь, так просто не найдешь ни принца, ни свою судьбу. Домоводство всегда проводят в пятой комнате, старый замок в ней давным-давно выломан, и дырку заткнули обычной грязной тряпкой. Лидочка садится прямо на пол и тихонько вытягивает тряпку. «Мыть полы следует не реже одного-двух раз в неделю, не обходя ни одного уголка, — доносится до нее толстый, уютный голос тетечки Алечки, прививающей скучающим девицам основы будущего семейного счастья. — Вымытый пол скорее просыхает при открытой форточке». Лидочка закрывает глаза и улыбается, представляя себе распахнутую форточку, солнце, плавающее в ведре, влажный след на только что протертых темных досках. Дом! Ее собственный дом. Наконец-то.

Еще пять минут, и придется встать, вернуться в раздевалку, переодеться, выйти к няне, которая, слава богу, всегда опаздывает, но эти пять минут — только Лидочкины, больше ничьи. Эти пять минут она дома. «Ты чего на полу расселась, девочка, простудишься!» — недовольно говорит какая-то незнакомая дама из тех, кому есть дело решительно до всего. Лидочка покорно поднимается. Она растет послушным и жизнерадостным ребенком — качества, которые идут рука об руку гораздо чаще, чем мы думаем. «Пищу и продукты рекомендуется хранить в закрытом виде, а для отходов иметь специальное ведро с крышкой», — назидательно говорит ей вслед тетечка Алечка, и не подозревая о том, что самая верная ее ученица три раза в неделю сидит за дверью и ни одно из занятий так и не сумела дослушать до конца. Можно сказать, что Лидочка ходит на танцы только ради домоводства.

Она попробовала было заикнуться о том, что есть еще один кружок, но Галина Петровна даже не дослушала. А уроки я за тебя буду делать? Лидочка виновато опускает голову — ей уже восемь лет, она год как ходит в школу — разумеется, в самую лучшую в Энске, с уклоном разом во все стороны, и английский, и математика, и музыка, одни сплошные серые

тройки, надо же, внука самого Лазаря Иосифовича, а не можешь решить такой простенький пример! Школу Лидочка тоже не любит. С самого первого в своей жизни первого сентября, на которое все пришли с родителями, с бабушками, дедушками, фотоаппаратами и даже с кинокамерами. А Лидочку, бледную от волнения, оснащенную громадным букетом влажных розовых гладиолусов, привела няня, сдавшая ее с рук на руки учительнице и тут же смывшаяся по своим делам. А ты чо одна, детдомовская, что ли? — поинтересовался у Лидочки щекастый мальчишка с ласковыми наглыми глазами будущего мерзавца, и кличка Сиротка Хася, холодная и липкая, как катышек жеваной бумаги, надолго впечаталась в Лидочкину жизнь, и без того лишенную обязательных детских радостей. Она терпела, сколько могла, но как-то ночью не выдержала, встала и, шлепая босыми пятками, отправилась на поиски справедливости.

Галина Петровна нашлась на кухне. Простоволосая, ненакрашенная, она сидела за кухонным столом и быстро-быстро заполняла какие-то квитанции, время от времени крепко затягиваясь сигаретой и снова пристраивая ее на край переполненной пепельницы.

— Ты чего не спишь, поздно уже, — недовольно сказала она, разогнав ладонью слоистый дым, и Лидочка с удивлением увидела на носу Галины Петровны очки — совсем пожилые, человеческие, в черной оправе. Как будто у настоящей, взавправдашной бабушки.

— Я сирота? — спросила Лидочка. Галина Петровна промолчала. — Мама ведь умерла, да? — подсказала ей Лидочка, и Галина Петровна подтвердила. Да. Умерла.

— А где папа? — не сдавалась Лидочка.

— Уехал твой папа. Ты сто раз уже спрашивала. Сколько можно?

— Он меня бросил? — Лидочка почувствовала, как глубоко в носу шевельнулись близкие слезы — щекотные, будто пузырьки от газировки.

— Иди сюда, — позвала ее Галина Петровна. — Вот, смотри. — Она отодвинула в сторону квитанции и вынула из-под них серую картонную книжцу. — Это твоя сберкнижка. Видишь? Написано — Лидия Борисовна Линдт. Каждый месяц папа переводит тебе сто рублей. На эту самую сберкнижку. И как только тебе исполнится восемнадцать лет, ты сможешь сама распоряжаться этими деньгами. А ты говоришь — бросил.

Лидочка невнимательно посмотрела на сберкнижку. Сто рублей не значили для нее ничего, даже еще больше. Она хотела знать главное.

— А почему он не приезжает? — спросила она. — Он меня больше не любит, да?

Галина Петровна сняла очки и потерла красную, похожую на рану

вмятину на переносице. Глаза у нее вдруг стали мокрые и беззащитные.

— Иди спать, ладно? Завтра я все-все тебе расскажу.

Но назавтра Галина Петровна, накрашенная, неприступная, в высокой причёске, была так непохожа на себя ночную, тихую, в очках, что Лидочка не рискнула больше задавать вопросы, и все стало по-прежнему, как всегда, — школа, танцевальный кружок, ворованное домоводство, снова танцы.

Лидочка закончила второй класс, потом третий — важная, между прочим, веха не только для нее, но и для страны, шел 1989 год, и огромное государство сползало под откос, набирая скорость, так что самых умных и чувствительных уже начинало потряхивать и мутить от грядущих перемен. Анна Николаевна поставила для Лидочки еще один сольный танец — невнятную композицию собственного сочинения, исполняя которую Лидочке приходилось надолго застыть в нелепых и неудобных позах, но Анна Николаевна была очень довольна, так довольна, что даже напросилась на встречу с Галиной Петровной и долго, путано объясняла ей про высокое призвание и мир танца.

— Что вы от меня-то хотите? — раздраженно спросила Галина Петровна.

— Девочку просто необходимо отдать в хореографическое училище, у нее талант, большой талант, — с надрывом сказала Анна Николаевна и прижала к плоской груди руки, тоже плоские и громадные, словно ласты какого-то доископаемого морского зверя.

— Талант, говорите? — протянула Галина Петровна и неприятно усмехнулась. Только этого мне еще не хватало.

Анна Николаевна посмотрела умоляюще, как собака.

— Вы не понимаете, — сказала она. — Вы не понимаете. Балет — это целая жизнь.

— Ненавижу балет, — повторила Галина Петровна уже сказанные когда-то слова, и история, покорная Гегелю, сделала очередной виток, преодолев стадию трагедии и фарса и поднявшись наконец-то до уровня иронии.

Только что закончившая третий класс девятилетняя Лидочка с легкостью преодолела чудовищный — в полторы сотни человек на место — конкурс и поступила в знаменитое на всю страну энское хореографическое училище. Она была на год младше положенного — в балет брали только с десяти, но для невероятно перспективной девочки было сделано исключение — впервые без всякого Линдта и блата. Анна Николаевна, ликовавшая так, будто в училище приняли ее саму (напрасные

радости, саму ее из училища только отчислили, давно-давно, целую грустную жизнь назад), в качестве награды повела Лидочку на первый в ее жизни балетный спектакль.

Давали «Жизель», Лидочку мутило от волнения, слишком тесного воротничка нового платья и укусного дыхания Анны Николаевны, которая, низко пригибаясь к Лидочкиному уху и блестя в темноте совершенно сумасшедшими глазами, шептала что-то про великое служение и про то, что все в жизни Лидочки теперь станет другим. Это была чистая правда. Картонная дверь на сцене распахнулась, и из левой декорации выпорхнула вся перевитая пружинными жилами балеринка с оскаленным напряженным лицом человека, которому приходится держать на плечах запредельную, непосильную ношу. Публика вяло заплескала ладонями, и балеринка, придерживая кисейную юбочку, запрыгала, вскидывая тощие мускулистые ноги и с отчетливым страшным стуком приземляясь на деревянный пол. Из восьмого ряда было прекрасно видно, как натянуты сухожилия у нее на шее и в паху, как дрожат от усердия огромные, как у куклы, накладные ресницы.

Лидочка, всхлипнув, закусила губу. Расписание занятий, которое Анна Николаевна аккуратно переписала для нее, не оставляло ни малейшей надежды на то, что в ближайшие восемь лет у Лидочки найдется время на домоводство, пусть даже украденное, подслушанное, высиженное под закрытой дверью, которая к тому же оставалась в противоположном конце города. Я знала, знала, что ты все поймешь, запричитала Анна Николаевна и тоже заплакала, неудобно прижимая Лидочку к своему костистому остову. Обе оплакивали свое, несбывшееся, невозможное, и в такт им неслышно плакала внутри себя усталая Жизель, все-таки сбившаяся на баллоте, в три тысячи двадцать первый раз, корова безмозглая, бездарная, бездарная, ни на что не годная кляча!

От дома Галины Петровны до училища было сорок пять минут езды, уроки начинались в восемь и заканчивались иной раз ближе к ночи. Это было понятно, ведь кроме общеобразовательных предметов будущий специалист с квалификацией «артист балета» обязан был овладеть игрой на фортепиано и специальными дисциплинами. Классический танец, дуэтно-классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современная хореография, актерское мастерство, гимнастика, грим. Галина Петровна пару месяцев потерпела безобразие с подъемом в шесть утра и обязательными упражнениями дома, в выходные, после чего отправилась к директору хореографического училища на прием. Что-что, а скандалы закатывать она умела. Несмотря на отсутствие мест в общежитии и

наличие жилплощади и прописки в Энске ученица первого класса Лидия Борисовна Линдт была принята на полный пансион в интернат для иногородних учащихся, находившийся в пятидесяти метрах от здания училища. Пятиразовое питание, круглосуточное дежурство педагогов-воспитателей, медицинская часть с физиокабинетом и изолятором. Полное оснащение физиокабинета новейшей аппаратурой плюс ремонт санузлов Галина Петровна, не так давно при помощи генерала Седлова открывшая второй антикварный салон, брала на себя.

— По-моему, — сказала она сухо, — это честная сделка. К тому же через выходные я планирую забирать девочку к себе. И вы сможете пользоваться ее койко-местом, сколько захотите.

Лидочка вошла в узкую, как гроб, комнату — две кровати, коврик с истоптанными мишками, окно, все в трещинах и культурных пластах масляной краски. С тоской втянула нежилой общажный дух — снова не дом. Опять. У окна маялась бесцветная девочка, даже не девочка — девченьш, мышинные волосы стянуты в жидкую балетную шишку, личико — в гримасу настороженной вежливости. Глаза огромные, как у истощенного совенка. Бухенвальд.

— Тебя как зовут?

— Лида.

— А меня Люся.

Через полгода все в училище так и звали их — ЛюЛи. Пришли ЛюЛи. Лида и Люся. Линдт и Жукова. Задавала с прилипалой. Принцесса и горошина. ЛюЛи, русский скатать дадите? Лидочка смотрит на Люсю, Люся на Лидочку. Потом обе согласно кивают круглыми, гладкими, балетными головами — ниточки проборов, узлы по-взрослому убранных волос над тощими детскими шейками, острые лопатки, фартучки, лошадиные сухожилия, сочленения натруженных позвонков. Дадим! Люсина тетрадка отправляется в плавание по чужим партам, Лидочка списала все еще в комнате — с русским она не дружит, с математикой тоже. Зато она дружит с Люсей Жуковой и Еленой Молоховец.

Вечерами, когда они наконец собираются все вместе — втроем, им больше никто не нужен. Люся лежит прямо на полу, распластав маленькие бедра, одна коленка засунута под чугунную батарею, на другой, слегка балансируя, стоит Лидочка с огромным томом Молоховец в руках. Упражнение называется «лягушка».

— Одну телячью печенку нарезать тонкими ломтиками, одну осьмую фунта шпика, одну луковицу мелко нарезать, сложить в кастрюлю,

прибавить английского перца, лаврового листа, соли, поставить под крышкой на сильный огонь, смотреть, чтобы не пригорело, — нараспев читает Лидочка, и в паузах слышно, как Люсин ангел-хранитель тихонько сглатывает голодную слюну. — Когда печенка будет готова, то есть подрумянится, слить жир, выложить на стол, мелко изрубить, истолочь все вместе в ступке, прибавить ложку вымытого масла, четверть французской булки, намоченной и выжатой, перетолочь еще раз, протереть сквозь сито, влить рюмку мадеры...

— Долго еще? — стонет Люся, волосы у нее на висках слиплись от слез, натянувшиеся жилы в паху беззвучно поскрипывают, Люся даже не замечает, что плачет, она смотрит в потолок со дна своей боли — у нее плохая выворотность, надо работать, приходится работать, в балете все больно, чего ни коснись. Все — одна сплошная боль.

— Не перебивай! — сердится Лидочка. — Еще десять минут. Я скажу. Значит, прибавить рюмку мадеры, одну ложку хорошего рома, всыпать мускатного ореха, соли, нафаршировать испеченные слоеные пирожки в виде рога изобилия, вставить в печь минут на пять...

Люся обессилено закрывает глаза, пытаясь представить себе пирожки в виде рога изобилия или хотя бы просто пирожки, как у бабушки, — жареные, жирные, все в коричнево-золотых ожоговых волдырях. С капустой. Или с яблоками. Или — Люсины любимые — с грибами и крупно нарубленными крутыми яйцами. Можно не бабушкины, можно и обычные, столовские, резиновые, из алюминиевого бачка с размашистой надписью «Общепит». Куснешь такой пирожок за тугой бок, и голодное небо обдает тепловатым пустым вздохом — опять на кухне пожалели начинки, паразиты.

Впрочем, на кухне хореографического училища жалели как раз не начинку, а балетных, которые, отводя глаза, тащили полупустые засаленные пластмассовые подносы — мимо, читатель, мимо. Сдобные тетки-раздатчицы напрасно погружали половники в гигантские кастрюли с соблазнительно дымящимися белками, жирами и углеводами — несмотря на просчитанный диетологами рацион и адские нагрузки, будущие балеринки истерично, до голодных обмороков, боялись поправиться хоть на грамм и навеки лишиться расположения своего всемогущего бога.

Обязательное взвешивание раз в полгода было судным днем: когда солнце, луна и плафоны меркли и спадали с колеблющегося потолка, и сам потолок свертывался, как свиток. Бледные — бледнее самого бледного коня, оглушенные ангелами и трубным кишечным гласом, балетные толпились в коридоре перед медицинским кабинетом, прижимали к стене

дрожащие лопатки, из последних сил втягивали несуществующие животы. Норма минус сто пятнадцать — это значило, что при росте в сто сорок сантиметров девочка не имела права весить больше двадцати семи килограммов. Лучше — двадцать пять. Совсем хорошо — двадцать три. В старших классах минус сто пятнадцать превращались в полноценные минус сто двадцать. Полтора метра роста и тридцать пять кило? Да кто тебя поднимет, жирная корова? Вместо того чтобы жрать, пойдешь лучше покури!

Курильщики начинали лет с тринадцати — и курили, с благословения и поощрения педагогов, отчаянно, самозабвенно, жадно. Заглатывали спасительный сытный дым — это за маму, это за папу, это за Галину Сергеевну Уланову, шарили ревнивыми завистливыми глазами по бедрам и ребрам товарок — вон у Таньки какая жопа жуткая, ее уже со средней палки выкинули, прямая дорога под рояль, хоть бы ее, боженька, отчислили, хоть бы ее, ну, пожалуйста, лишь бы не меня! Танька, раздавленная своей неотвратимо наступающей женственностью, белесыми от отчаяния глазами смотрела на страшный медицинский кабинет. Она сама понимала, что обречена, да что там жопа — у нее, подумать только, гадость какая, чур, пронеси и помилуй, чур! — даже наметилась некая грудь, слабая выпуклость, жалкая попытка природы отвоевать у балета хоть миллиметровую полоску живительного жира.

Перед взвешиванием или экзаменом измученные пубертатки сидели на гречке и кефире: за три месяца так можно было согнать до пятнадцати килограммов и навеки попрощаться с поджелудочной, самый лучший друг балетных — фурсемида, самая модная операция — удаление желчного пузыря, чаще рвутся только связки, но зато без желчного пузыря ты будешь еще легче, Сильфида, еще кружевней и воздушней. Неделя до взвешивания — никакой клетчатки, два последних дня — целительный голод, если угораздило что-то съесть, два пальца немедленно отправляются в сопротивляющуюся глотку, калории и надежды с хриплым ревом и брызгами извергаются в унитазное жерло.

Да, девочки, главное — ничего не пить, никакой жидкости, сушим мышцы, сгоняем балласт, клизма утром, клизма вечером, обморок, снова унитаз. Наутро перед Голгофой — крошечный квадратик шоколадки, чтоб не рухнуть прямо под ноги невозмутимому доктору. Вес в норме, а вот рост — никуда не годится, еще пара сантиметров, милочка, и ты отчислена. В недетских, нечеловеческих почти глазах милочки пляшут фанатичные сполохи не то жертвенного, не то палаческого костра: к следующему взвешиванию она готова, если надо, отрезать себе полголовы, да хоть всю

голову — что угодно, кроме круто и кругло изогнутых стоп, — ломаем подъем, ломаем подъем, клуши, не жалею себя. И они не жалеют.

Отбракованную Таньку с ее небалетной жопой утешают в коридоре обмирающие от облегчения — не я, не меня! — счастливые, стрекочащие товарки. Танька даже не плачет — она бы умерла, если бы смогла остановить сердце одним усилием воли, но до таких высот характер прокачивают только в старших классах, а Таньку отсеяли раньше, много раньше, и потому она просто кусает маленькие кулаки — изо всех сил, так, что остаются белые ровные зубные отпечатки, медленно наливающиеся сперва красноватым, потом сливовым, густым, торжественным огнем. Ее желчный пузырь спасен, ее жизнь закончена, но даже двадцать лет спустя, увидев по телевизору выплывающую на сцену четверку изможденно кивающих оперенными головками лебедей, она будет чувствовать внутри вой и свист черного ветра, срывающего афишу, на которой так и не напечатали ее имя. Пульт щелкает, оборвав белый акт «Лебединого» на полуноте, Танька выходит из комнаты — постаревшая, поседевшая, безнадежно мертвая со своих четырнадцати лет. «Ма, ты куда?» — кричит ей вслед младший сын (слава богу — сыновья оба, дочку все равно отдала бы в хореографическое, своими руками принесла бы — и бросила на алтарь), но Танька не отвечает. Ее спина до сих пор прямее некуда, лопатки накрепко стянуты в узел железными мышцами, не умеющими расслабляться. Такая правильная, навеки поставленная спина у балетных называется — апломб. Другого апломба у них не бывает.

К слову сказать, хореографическое училище в Энске было знатное — спасибо войне, которая в свое время занесла сюда ленинградский балет практически в полном составе. В довесок к зябким балеринкам из Кировского в эвакуацию в Энск прислали и лучшее в СССР хореографическое училище — то, что нынче носит имя Агриппины Яковлевны Вагановой. Конечно, тогда, в сорок первом, Ваганова была еще не мемориальной доской, а живой властной теткой, но все растащенные по энциклопедиям титулы уже были при ней — выдающаяся русская балерина, педагог, балетмейстер, хранитель вековых традиций императорского русского балета, народная артистка РСФСР и бла, и бла, и бла. Важно было другое — возвращаясь из эвакуации в Питер, балетные оставили в Энске не только добрую память, но и половину педагогического состава, а также целый класс свеженабранных, худеньких и одержимых балетом военных детишек — основу будущего Энского театра и будущего хореографического училища, быстро прославившегося на весь Советский Союз жестокой муштрой и идеальной постановкой корпуса. Как сразу

видно энскую школу, стонали балетоманы, лакомясь летящими по сцене балеринками — глиссада, глиссада, препарасьон — ах! Какой баллон, помилуйте! Какой баллон!

Есть вещи, о которых лучше не думать. Может быть, даже вовсе не знать.

Попробуйте попасть с улицы в казарму, лагерный барак, в пыточный подвал или на заседание тоталитарной секты. Вас просто не пустят — как не пустят любопытствующего обывателя в хореографическое училище, потому что простым смертным, живущим легкой, суетной, повседневной жизнью, никогда не понять торжественного ужаса, которым пронизана суть по-настоящему закрытых сообществ. Идеальный параллелепипед казармы или барака. Залитый светом и потом танцевальный класс. Сложнейшие ритуалы, сладостная муштра, нужные лишь для того, чтобы окончательно выключить разум — никогда не думать, ни о чем не беспокоиться, ничего не решать, подчиниться всеобщему движению, раствориться, перестать быть собой, чтобы воплотиться на высшем уровне — в блаженном и множественном числе. Боль, унижение, зверская дедовщина, голод, счастье абсолютного подчинения. Снова боль.

А теперь вообразите себе оловянных от усердия солдатиков, фанатично влюбленных в свою муштру. Заключенных, которые задолго до ежедневного допроса начинают готовить истерзанное тело к пыткам, добровольно вытягиваясь на дыбе и методично выламывая себе то один, то другой сустав. Выслушайте, навтыжку стоя на пуантах, лекцию о собственной бездарности, узнайте, что вы безнадежный, ни на что не годный урод — не висим на палке, не опускаться, не опускаться, держим пятку, пятку, кому говорят! Получите стеком по икрам, ладонью — по щекам, попадите в ритм, втяните разом живот и задницу, осознайте всё, что ощущают детишки, прелестной и шумной стайкой сбегающие по ступеням училища, взвесьте то, что они добровольно вышвырнули из своей жизни, — пирожные, сказки по вечерам, дружбу, первую любовь, жареную картошку с домашними котлетами, доверие к взрослым, к ровесникам, к самому себе. Положите на другую чашу весов всего-навсего возможность выбежать на сцену, чтобы отвесить публике жеманный и натянутый поклон.

Сделайте свой выбор.

Никогда не пожалейте о нем.

Теперь вы знаете, что такое балет.

В хореографическом училище Лидочка, привыкшая в обычной школе к

незаметным тройкам, почти сразу же выбилась в признанные королевы. Еще при поступлении, на первом отборочном туре, она поразила выдавшую все комиссию практически идеальными данными. Честно говоря, правила отбора больше всего напоминали описание породных признаков выставочных собак или лошадей, и отбраковка шла жесткая, даже жестокая. «Отрицательными признаками являются: непропорциональная большая голова, голова угловатой формы, крупная нижняя челюсть, большой подбородок, выступающие наружу углы челюсти, неправильной или уродливой формы нос, уши, деформация передних зубов, нарушенный (неправильный) прикус. Противопоказан прием детей с короткой и широкой шеей. Дети с чрезмерно длинной шеей, с выступающим кадыком также несценичны». И так далее — на десятке сухих машинописных страниц, способных порадовать разве что помешанного на евгенике нациста.

Но Лидочка оказалась совершенством: отношение роста стоя к росту сидя, длина шеи, тонкость щиколоток и запястий — все в ней было словно создано для балета, который не терпит несовершенства даже в мелочах. Лидочка великолепно гнулась во все стороны, с легкостью поднимала ножку вперед, назад и вбок, демонстрируя великолепный шаг, бойко оттарабанила полечку, не завалив и не испортив ни одной легкой нотки. Музыкальность, танцевальность, ритмичность, физическое здоровье — все было на высоте.

Единственное, что слегка смутило педагогов, так это то, что худенькая смуглая девочка в сверкающих белых трусиках даже не пыталась им понравиться. Все прочие лебезили, елозили на пузе, скалили маленькие шакальи мордочки, изображая умильные улыбки. Рабски заглядывали в глаза, заранее готовые ради балета на все, даже больше — на все, что другим угодно. А Лидочка только смотрела угрюмо в сторону и, кажется, даже не особенно радовалась своему несомненному успеху. Видимо, просто дура, решила комиссия, сблизив увенчанные хореографическими лаврами головы и посоветовавшись. Дура — это в балете было очень кстати. Дура — это было хорошо.

К четырнадцати годам Лидочка окончательно приобрела статус лучшей ученицы училища и научилась механически реагировать на любую, даже самую сильную, боль улыбкой. Улыбаться было положено — балерина обязана держать лицо, делать публике красиво, чтобы даже самый подслеповатый провинциал из третьего балконного ряда осознал всю сладостную и счастливую полноту соприкосновения с прекрасным. Примерно в том же возрасте стало ясно, что Лидочка кроме несомненной и

даже пугающей телесной одаренности обладает еще одним редчайшим талантом — она оказалось идеальной жертвой.

О природе виктимности много и бестолково рассуждают и психологи, и психиатры, и криминалисты, горюдя, как это водится, много нелепицы и чепухи и сваливая в одну кучу и короткие юбки, и легкие нравы, и скверное воспитание, и урожденную слабость характера. Все это было совершенно неприменимо к Лидочке, волевой и вышколенной, как выставочный пудель, которому любой имеет право задрать купированный под корень хвост и пощупать анальные железы. У Лидочки были стальные мышцы и такие же нервы, она не носила жалких, вызывающих жалкое желание прозрачных или коротких тряпок и, оказавшись на улице, не бросала по сторонам призывных взглядов дуреющей от собственных гормонов пубертатки. Она и глаза-то едва поднимала, предпочитая разглядывать заплеванный асфальт, быстро и гладко укладывающийся под маленькие, но уже профессионально вывернутые ступни. И тем не менее, если в округе находился хоть один ненормальный, пьяный или просто убитый горем человек, его немедленно притягивала к Лидочке странная, угрюмая, не преодолимая ни для него самого, ни тем более для Лидочки сила. Унылые, жалкие, липкие, они выборматывали свои невыносимые истории, агрессивно требовали внимания, сочувствия, побирались: деньги в кошельке Лидочки не задерживались никогда, хотя она и сама не подозревала, что подает не из сострадания, а из страха.

Конечно, отчасти виктимность Лидочки состояла из своеобразного сочетания внешней привлекательности и внутренней мягкости, своего рода неосознанный отказ от эволюции, когда вместо того, чтобы убегать или убивать, живое существо добровольно выбирает гибель. Но и это было не самое главное — на самом деле четырнадцатилетняя внучка Лазаря Линдта обладала врожденной и редкой способностью видеть обратную сторону мира, ту мрачную жизненную изнанку, которую обычно замечают только священники да врачи, да и то после многих и долгих лет работы. Правда, священники и врачи обычно способны хоть что-то сделать для несчастных, с которыми без конца сталкивает их жизнь, а Лидочка была вынуждена просто смотреть. Просто смотреть. Не отталкивая, не прикрывая глаза, не сопротивляясь. Помочь она никому не могла, но она ВИДЕЛА чужую боль, видела, не морщась, не жмурясь и даже не пытаясь отодвинуться. Как и положено идеальной жертве, Лидочка считала себя обязанной делать все, что было неприятно и даже отвратительно ей самой, но необходимо окружающим. Этому ее научил балет. Это и был балет. Балет Лидочки Линдт. Ее индивидуальное предназначение.

Особенно тяжело было видеть стариков, на которых, кажется, никто, кроме Лидочки, и не обращал внимания — энских стариков 1996 года, обнищавших, почти обезумевших, одиноких, когда-то выстроивших великую страну и вот теперь копошащихся на ее обломках, словно Иов на гноище. Повинуясь своему болезненному дару, Лидочка не замечала ни в изобилии заполнивших Энск сияющих витрин, ни шустрых иномарок, ни пестрого иностранного тряпья, украшающего горожан, которых юный российский капитализм вдруг разом превратил в орду предприимчивых, обманчиво приветливых и на все способных сволочей. Вокруг расцветал мир молодых, здоровых и наглых, но Лидочка, тоже здоровая и молодая, выше всяких потребностей обеспеченная богатой при любой власти Галиной Петровной, замечала только морщины и лохмотья. Старенькое, выстроенное еще в семидесятые годы демисезонное пальтишко старухи, копающейся в мусорном баке, старик в колом торчащих орденских планках, гоняющий по черствой, трясущейся ладони мелочь, выгадывающий на что-то — нет, не хватает, эх... А ну отвали, дед, чего торчишь на дороге! Лидочка совала в дедов карман ничего не менявшую купюру и бессильно провожала глазами сутулую, жалкую, беспомощную спину. Заплывшие белесой мутью смиренные глаза, провалы беззубых ртов, непослушными пальцами подобранные петли, кривоватые стыдливые заплатки — страшная, самая страшная на свете, старческая, никому не нужная нищета. Боже мой, как Лидочка боялась этих стариков, как боялась самой старости — неотвратимой, ужасной, ужаснее самой смерти, которая в этом униженном дряхлом бессилии казалась долгожданным и выстраданным облегчением! Это был странный и труднообъяснимый страх — ведь никаких стариков, кроме абсолютно чужих ей, уличных, убогих, Лидочка не знала. Галина Петровна, товарки по училищу, педагоги, даже мамочка и папа, даже мамочкины мама и папа, и Лазарь Иосифович Линдт на фотографии в кабинете, угольно-черный, фосфорно-белый, — все вокруг нее были молодыми, крепкими, бессмертными, все, даже давно мертвые, были как будто бы навсегда. Но страх от этого не уходил, наоборот, становился крепче, острее, невыносимый страх старости, от которой, как от занятий классическим танцем, не было спасения.

Может быть, робко размышляла Лидочка, может быть, если бы у нее был дом... Свой дом, полный тепла и детей. Может быть, тогда было хоть немного легче? Отгородиться от старости, сделать ее обитаемой, нянчить внуков, кряхтя, выносить мусор, помогать, до последней секунды быть нужной хоть кому-нибудь. Хоть что-нибудь делать. Хоть кого-нибудь обнимать. Она любила ходить в сквер неподалеку от училища —

украшенную песочницей и деревянной горкой обитель беспечного материнства. Степенные мамы, выгуливающие гомонящую малышню, суетливые голуби, Лидочка часами сидела на скамейке, насыщая зрение и слух и примеряя на себя то чью-то наливную неторопливую беременность, то хорошенького карапуза, то мысленно заимствуя у какой-нибудь зазевавшейся мамы манеру подзывать к себе ребенка, чтобы, не прекращая трескотни с другой мамашей, быстро и ловко вытереть ему совершенно сухой носик или одернуть курточку — просто для того, чтобы показать всем и себе, что это ее, ее собственность, ее родное, хоть и смертельно надоедое дитя. Лидочка тоже хотела иметь хоть что-нибудь свое. Это было спасение. Она точно знала. Нет, она верила — это было гораздо сильнее.

Даже старики в сквере были не такие страшные — мирные дедушки и бабушки, окруженные спасительной любовью, но все закончилось, как всегда в Лидочкиной жизни, — бесповоротно, безжалостно, в один миг. Какой-то дед, чужой, некрасивый, ненужный, в три приема, с трудом присел к ней на скамейку и так долго и мучительно доставал что-то из кармана, что Лидочка дернулась было помочь, но — он уже сам, слава богу, уже сам. Вытянул какую-то бумагу, распрямил корявыми пальцами, обломанные ногти, затхлый запах неухоженной, нелюбимой, старой плоти. Дед прочитал бумагу — видимо, официальную (мелькнула какая-то лиловая печать, равнодушная размашистая подпись, компьютерные, ровные, зернышко к зернышку, буквы) — и долго-долго сидел, нахохлившись, как больной голубь, только из-под красных сморщенных век текли беззвучные мутные слезы. Потом он вздохнул, крепко вытер ладонями лицо и горько, самому себе сказал — вот оно, что детки родные делают. Старик ушел уже, а Лидочка все смотрела ему вслед, гадая, что сделали бедолаге родные детки? Отобрали квартиру? Сослали в дом престарелых? Уехали навсегда в Америку? Может быть, просто умерли — бессовестно, скоропостижно, оставив его совсем, совсем одного?

В сквер она больше не ходила — боялась еще раз увидеть старика, боялась признаться сама себе, что дети и внуки, о которых она так отчаянно и подробно мечтала, на самом деле совсем не обязаны любить ее в ответ. Смешные круглые малышата, играющие на площадке, не были гарантией ни от одинокой старости, ни от смерти. Они были не пенсионный фонд, не многолетний пополняемый вклад с хорошими процентами. Просто дети — сами по себе, ни для чего. Это была правда, но примириться с ней означало вообще потерять все. К этому Лидочка была не готова. В 1997 году ей и так пришлось потерять слишком многое.

Люсю Жукову отчислили в конце учебного года — даже не дали перейти в следующий, последний класс, хоть недолго почувствовать себя выпускницей. Нет, выкинули прочь, не дождавшись даже экзаменов, а потому что нечего, милочка, полтора месяца валяться в лазарете с пневмонией, если хочешь танцевать. Балерины не болеют, а если и болеют, то не пропускают занятия, а если и пропускают, то занимаются самостоятельно, ах, доктора запретили любую нагрузку?! Ваши проблемы, дорогая. В училище, вычеркивая из списка живых, всегда переходили на «вы». Люся, бледная, как опарыш, подурневшая от отчаяния и все еще одолевавшей ее пневмонийной слабости, даже не пыталась сопротивляться. Зачем? Никого не волновало, что воспаление легких она заработала в ледяном от сквозняков классе, часами отрабатывая никак не удававшийся *Grand Pas de chat*, большой прыжок кошки. Ноги выбрасываются выше чем на 90 градусов, руки открываются из третьей позиции, корпус прогибается назад — бум-с. Опять двойка.

Лидочка, честно отбывавшая с лучшей подругой кошачью повинность, честно ходившая к ней в лазарет — почитать Молоховец, просто посидеть, утешительно болтая ногами, на казенном байковом одеяле, бегала к педагогам, умоляла, обещала взять Люсю на поруки (да хоть на поноги!), но все было напрасно. Директор, к которой Лидочка, как взрослая, записалась на прием, тоже была неумолима — бездарности в училище не нужны. А ты, Линдт, чем тратить время на всякий балласт, шла бы лучше и репетировала. Или ты не понимаешь, какая ответственность на тебя возложена? Лидочка понимала. Сразу после перехода в выпускной класс ей, семнадцатилетней, предстояло станцевать первую в ее жизни Жизель в Энском театре, на настоящей, взрослой сцене — неслыханная, редкая возможность, которой удостаиваются только будущие примы. Жизель — это была честь. Иди и работай, резюмировала директор, и Лидочка, послушная и стойкая, как оловянный солдатик, развернулась и пошла.

Люсю увезла домой мама, толстая деревенская тетка откуда-то с Южного Урала, из жуткого ржавого города-завода, где у людей с самого рождения и до смерти не было большей радости, чем нажраться до полного забытья. «Ты только не реви. Закончишь школу нормальную, я тебя в бухгалтерию пристрою, — разливалась она, увязывая Люсины вещички и зыряка по комнате глазами, чтобы не забыть чего важного, годного в хозяйстве. — Чем ногами-то голыми дрыгать! Срам ведь, а не ремесло». Люся, прямо, как палка, сидевшая на краешке стула, не редела, а только машинально, по привычке, выламывала никому больше не нужные стопы. Лидочка подсела рядом, потерлась носом о худенькое подружкино плечо,

как делала всегда, когда хотела приласкаться, — сколько было выплакано вместе, сколько выдано друг другу смешных, детских и оттого особенно страшных тайн, сколько они смеялись под сурдинку после отбоя, сколько мечтали, сколько раз засыпали вместе, в одной кровати, тощие, зябкие, маленькие, только друг у друга находившие капельку сострадания и тепла. Я к тебе на все каникулы буду приезжать. И писать — каждый, каждый день! — пообещала Лидочка страстно и горько, будто давала обет. Люся вздрогнула, словно ее разбудили, и взглянула на Лидочку сухими, как будто даже горячими глазами. «Иди в жопу со своими письмами, дура! — закричала она вдруг так громко, что тетка уронила глухо охнувший узел. — Ненавижу тебя, всегда ненавидела! Дура! Гадина! Уродка кривоногая! Вонючка!» Тетка перекрестилась, плюнула и угрюмо присудила — не трать нерву, доча. Оно того не стоит. Наплюй, да поехали домой.

После Люсиного отъезда Лидочка осталась совсем одна. В память о лучшей подруге она получила только единоличное пользование общажной комнатой (дань королеве плюс очередной финансовый транш Галины Петровны) да новую привычку при каждом удобном случае принимать душ, обжигающий, хриплый, долгий. Но слово «вонючка», как и неуловимый, невидимый, никем, кроме Лидочки, не ощутимый запах пота, осталось — в балете все воняли. Абсолютно все.

Летние каникулы перед последним классом показались Лидочке особенно долгими. Она осталась в общежитии — с молчаливого одобрения Галины Петровны, с которой они виделись все реже и, как ни странно, благодаря этому почти полностью примирились друг с другом. Лидочка аккуратно, через выходные, приезжала в квартиру Линдта с визитом и всякий раз находила в своей комнате какой-нибудь приятный пустяк — новую пушистую кофточку в хрустящем льдистом пакете, плеер, похожий на обласканный морем портативный булжжик или даже дефицитнейшие, из Нью-Йорка выписанные пуанты Grishko — товарно-денежные отношения всегда давались Галине Петровне лучше всего. Раз в месяц она снабжала Лидочку карманными деньгами (отчета не требовала никогда) и показывала аккуратную выписку из банка, свидетельствующую о безупречном состоянии Лидочкиных счетов. Банк с недавних пор был собственностью Галины Петровны, и потому ежемесячные сто рублей от папы конвертировались в условные единицы — такие же условные, как поздравительные телеграммы от отца, ставшие совсем редкими, такими же редкими, как и вопросы о нем.

К семнадцати годам Лидочка смирилась со своим абсолютным сиротством.

Впрочем, она умела быть благодарной: Галина Петровна не знала с Лидочкой никаких забот и — при желании — могла бы даже ею гордиться. Но желания, похоже, не было — Галина Петровна, увлеченная бизнесом так же болезненно и страстно, как когда-то букинистическими изданиями и антиквариатом, не приходила в училище даже на отчетные концерты, на которых Лидочка всегда солировала с тем ровным, равнодушным, великолепным блеском, который и отличает подлинный бриллиант от простодушного граненого хрусталя.

Бесконечные летние недели Лидочка проводила в бесконечных репетициях и бесконечном шатании по городу: за эти каникулы она впервые узнала Энск в мельчайших подробностях, вон за тем углом есть скамейка, на которой можно отдохнуть, а там, среди обломанных засанных кустов пузыреплодника, томится в ссылке маленький гипсовый бюст Ленина, размалеванный и покалеченный подростками до полной неузнаваемости и оттого ставший совершенно человеческим, живым. Сначала Лидочка бродила по улицам совершенно бесцельно, а потом подсмотрела на окраине красивый старенький палисадник, дерзко, не по-северному, выкрашенный лимонной краской, мысленно приладила к нему мощеную дорожку совсем из другого района и огромный багровый клен, увиденный и вовсе на фотографии в журнале.

Игра оказалась поразительно интересной — и Лидочка стала гулять осознанно. Теперь она собирала и выдумывала себе идеальный дом.

Важно было абсолютно все — цвет, свет, фактура камня, форма крыши, даже запахи. Особенно запахи! В поисках нужного для прихожей аромата (мастика, дерево и немножко ванили) Лидочка как-то забрела в рощицу похожих на обломанные макароны позднесоветских новостроек и вдруг остановилась посреди двора. Жалобно и ржavo поскрипывала покосившаяся детская каруселька, и березы, хоть и разрослись, но все те же — левая кривая, мамочка говорила — загогулиной. Лидочка присела на скамейку, нашарила на груди несуществующий ключ на давно выкинутой ленточке и быстро, как в детстве, пробормотала затверженное, оказывается, навеки — Усиевича, 14, кв. 128. Это был ее старый двор. Дом, в котором осталась квартира мамочки и папы. Просто поверить невозможно, что она сама не додумалась сюда прийти.

Лидочка вошла в подъезд, помнивший ее пятилетней, туп-туп, маленькие ножки, лифт часто отключали, ступеньки казались нескончаемыми и высоченными, незабывтый наплыв краски на перилах, незабывтый, забываемый запах и свет. Шестой этаж ведь, устанешь. Давай на закорки возьму? Папа с готовностью присел, подставил шею, но

Лидочка, не соблазнившись возможностью потаскать его за уши (лево руля! А теперь — право руля!), упрямо заспешила вверх — сама. Мамочка всегда говорила — ты все должна делать сама. Как в воду глядела. В воду Черного моря.

Лидочка остановилась перед дверью — когда-то она едва дотягивалась даже до ручки, а теперь, пожалуйста, вот она; и кнопка звонка, до которой папа поднимал ее, хохочущую, дрыгающую ножками, оказывается, тоже совсем невысоко. Лидочка подняла руку, собираясь позвонить, но рядом гроыхнул механическими мослами лифт, и она быстро-быстро, через ступеньку, побежала вниз.

Она вернулась на следующий день, сама не зная — зачем, а потом и на следующий и через следующий — тоже. Подолгу сидела на лестничной клетке на подоконнике, подобрав колени и ни о чем не думая, просто ощущая, что пусть не сами родители, но хотя бы их квартира здесь, рядом. Это было приятное, даже уютное чувство, которое нередко испытывают на кладбище люди, давно смилившиеся с потерей, какой бы громадной она ни была, — точно так же, должно быть, смиряются с ампутацией или безнадежным бесплодием, начиная находить в отсутствии ноги или детей какое-то тихое, мало кому понятное удовольствие. Но Галина Петровна не ходила на кладбище сама и не водила туда Лидочку, поэтому ощущение для Лидочки было новым и таким странным, что она даже не удивилась, когда в один прекрасный день дверь родительской квартиры вдруг тихонько приоткрылась и, отчетливо скрипнув, тут же закрылась опять. Почудилось, успокоила Лидочка саму себя, но спустя несколько минут напряженного взаимного ожидания дверь приотворилась снова, и в проеме, вместо призраков прошлого, показались две озадаченные детские мордашки — мальчишеская и девчонская.

— Вы кто, тетя? — спросил мальчик, судя по голосу и носу — лет десяти, не больше. Лидочка спрыгнула с подоконника, не зная, что сказать.

— Я... я... — сказала она растерянно. — Я тут живу. То есть — жила. Очень давно.

Мальчик и девочка переглянулись, и девочка уверенно присудила:

— Тут мы живем, тетя. А ты уходи. А то мы милицию вызовем.

— Вот ведь дура, — огорчился мальчик и, судя по возне за дверью, влепил девочке подзатыльник. — Старшим надо «вы» говорить. И потом, какая она тебе тетя? Тетя у нас — Аля. Она в Бийске живет. Мы к ней летом ездили.

Последняя фраза явно приглашала к диалогу, и Лидочке пришлось признаться, что в Бийске она не была и тети (ни Али, ни какой-нибудь еще)

у нее нету. Мальчик — как и положено мужчине — ощутив свое превосходство, немедленно подобрел и стал снисходительным. Он приоткрыл дверь пошире и, звякнув спасительной цепочкой, похвастался:

— А еще у нас папа кандидат в науке! И мама тоже собирается. Вот!

— А у меня мама умерла, — неожиданно призналась в ответ Лидочка и, странное дело, впервые в жизни не почувствовала почти никакой боли. Это был просто факт. Факт ее биографии. Дети снова переглянулись.

— А папа? — очень серьезно спросила девочка.

— Папа...

Лидочка на мгновение задумалась, но поняла, что не объяснит историю с открытками и телеграммами даже себе.

— Папы тоже нету, — сказала она. — Очень давно. Я их с мамой почти не помню.

Мальчик захлопнул дверь резко, будто ударил Лидочку по лицу, и это было правильно, конечно. Нашла о чем разговаривать с малышами, идиотка. Лидочка привычно, в многотысячный раз, приняла всю вину за произошедшее на себя и, отряхнув джинсы, побрела вниз по лестнице. Погостила в прошлом — и хватит. Пора репетировать, заниматься, разминать мышцы, сотни раз повторять одно и то же движение. Парадокс ведь в том, что можно стать великим ученым, потрясающим композитором, большим писателем. Но стать великой балериной нельзя. Ей можно только быть, ежедневно изнуряя себя теми же экзерсисами, что проделывают и самые неловкие и нелепые начинашки. Вот только Лидочка совершенно не хотела ни становиться, ни быть балериной. Ни великой, ни обыкновенной. Она хотела иметь дом. Дом и детей. И больше ничего.

Мальчик нагнал ее только на третьем этаже — темноволосый, худенький, с очень прямыми плечами будущего офицера.

— Вот, — сказал он, задыхаясь, и протянул Лидочке половину батона. — Возьмите. Вы, наверно, голодная, раз мама... — Он хотел сказать — «умерла», но не смог, и виновато прибавил: — У нас еще картошка есть, но она сырая.

Лидочка взяла батон и понюхала ароматный нежный мякиш.

— Спасибо, — сказала она. — Правда — спасибо. А картошка розовая или желтая?

— Не знаю, — удивился мальчик. — А какая разница?

— Очень большая, — сказала Лидочка. — Если розовая, можно приготовить со сметаной сразу двумя манерами. А если желтая, то хорошо на клецки. Ты картофельные клецки ел?

Картошка оказалась и не розовая, и не желтая — просто дрянная, вся в

глазках и бледных проростках, к тому же ни сметаны, ни муки, ни даже яиц в доме не оказалось, зато обнаружилось немного морковки и сколько угодно просроченных пряностей в старомодных бумажных пакетиках.

— Ничего не получится, да? — огорченно спросила девочка, оказавшаяся очень бойкой и очень некрасивой. Но у них, конечно, все получилось.

Царевы, вернувшиеся из своего НИИ к шести вечера, обнаружили дома почти настоящую итальянскую брускетту с розмарином, отличный чай, отварную картошку удивительного оранжевого цвета, на вкус напоминавшую настоящее пирожное, и Лидочку, за пару часов бесповоротно влюбившую в себя десятилетнего Ромку и шестилетнюю Вероничку.

— Это что-то невообразимое! — промышчал Царев, засунув в рот сразу целую картофелину и размахивая руками от восторга. — Как вы это сделали, Лида?

— Это очень просто, — ответила Лидочка смущенно, — варить надо в мундире, а в воду непременно добавить одну морковку, одну луковицу, пару горошин душистого перца и...

Царева торопливо схватила за ручку: сколько горошин? А солить когда? То есть совсем? Вообще? Нет, Володя, нет, что ты, как маленький! Оставь детям хоть немного!

На следующий день Лидочка пришла к Царевым с двумя огромными сумками, набитыми продуктами, которым позавидовала бы сама Молоховец. До конца каникул в выученном наизусть «Подарке молодым хозяйкам» почти не осталось не опробованных на практике рецептов. Руки у Лидочки оказались такими же талантливыми, как и ноги, — и повариха в ней все уверенней затмевала балерину. Царевы, безалаберные и нищие, как и положено мученикам науки, потолстели, порозовели и даже слегка замаслились, словно дрожжевые блины. Но сама Лидочка, втайне мечтавшая о спасительном отчислении, не прибавила ни грамма — у нее был линдтовский бешеный метаболизм, запросто сжигавший в прожорливой клеточной топке хоть сотню пельменей разом. В перерывах между кулинарными изысканиями они с Вероничкой и Ромкой усердно учились плести макраме и вышивать, пользуясь добродушными и путаными рекомендациями из старых «Работниц». Старшие Царевы не могли нарадоваться — впрочем, они, закаленные советским воспитанием и природным оптимизмом, радовались всему, что их не убивало. А убить их, дружных, жизнерадостных, неприхотливых, было непросто, как непросто убить любых по-настоящему, истинно, всем сердцем верующих людей.

Царевы всю жизнь верили в советскую власть. Не в настоящую, конечно, — а в идеальную, книжную, правильную советскую власть, которая, предварительно откачав все способности, должна была, по идее, воздать каждому по труду. Царевы выполняли свою часть контракта честно, не жалея ни рук, ни мозгов, поэтому унижительные очереди и дефицит всего, начиная с детских колготок и заканчивая подпиской на Достоевского, приводили их в желчное раздражение. Настоящую, ежедневную, всамделишную советскую власть они презирали — как презираешь крепко пьющую и молодящуюся мамашу, невозможную, жалкую, но все-таки родную. Разумеется, это была еще одна разновидность любви.

Царевым казалось, что если советский народ приложит какие-то дополнительные усилия — похоронит Ленина, забудет Сталина или выпустит назад Солженицына, — то все волшебным образом изменится, заиграет кристальными лучами всеобщего счастья. Они хотели улучшить, но не развалить, оставить хорошее старое, прибавив к нему лучшее новое. Они верили в то, что советская власть вполне совместима с демократией, обилие танков — с избытком туалетной бумаги, а уж свобода слова — извините, у нас это даже в Конституции записано! Царевы честно глотали все диссидентские рукописи и запрещенные книжки, которые могли достать, еще честнее удивлялись — за что же эти книжки запретили, слушали кашляющие и хрипящие голоса — Америки, Стокгольма, Лондона, шепотком и под водочку критиковали партию и правительство, но при этом — по сути — оставались совершенно советскими людьми.

Они были чудесные — эти Царевы, честные, работающие, добрые и совершенно обыкновенные. Таких Царевых были миллионы, и они были лучшим из всего, что удалось сделать советской власти за все годы своего существования, все остальное, включая ракеты, станки и балет, ломалось, устаревало морально, разваливалось на части, не оправдывало возложенных ожиданий, а люди оставались все такими же — людьми. Когда грянула наконец перестройка, Царевы радовались, как все, как дети, прыгающие у двери, за которой праздник и елка, они, словно нарकोши на игле, сидели на «Огоньке» Коротича, таскались по митингам и баррикадам, голосовали, молились на Ельцина, рукоплескали Сахарову и даже вечером, ложась спать и прижавшись друг к другу, подолгу страстным шепотом диспутировали о том, что вот завтра, уже завтра...

Назавтра оказалось, что советская власть, которую Царевы так неистово хотели изменить, была единственной по-настоящему счастливой и стабильной вещью в их жизни. Безмятежное детство и бесплатное образование, синяя кварцевая лампа в новенькой поликлинике и кино про

Чапаева на утреннем сеансе. Стройотрядовские песни, пирожные за двадцать две копейки и портвейн за два двадцать (пустую бутылку можно было сдать за 17 копеек!), аванс и получка, тринадцатая зарплата, вера в равенство и братство, шелковым ковром разворачивающаяся впереди счастливая жизнь, полная замечательных вех и привычных ритуалов, без которых и невозможно никакое человеческое счастье. Демонстрация на Первое мая, от которой все отлынивали, но после которой так дивно пилося и елось у кого-нибудь в шумных гостях, поход к Вечному огню — на Девятое, Парад Победы, вечером по телевизору — Кобзон и концерт, прекрасно сочетающиеся с «битлами» и «роллингами», живущими в магнитофоне, подпольный «Раковый корпус» и макулатурный Дрюон, добытые с равными усилиями и с равным удовольствием прочитанные. Сильная армия, добрая милиция, холодные руки, горячее сердце, трезвая голова. Жаль, что все это рухнуло. Жаль, что мы никогда, никогда больше не будем молодыми.

В конце концов, советская власть дала Царевым друг друга — они познакомились еще в институте и уже к концу первого курса поженились, молодые инженеры, молодые споры, молодой неуклюжий секс, общага, свадьба, аспирантура, каждое лето сплав на байдарках, комарье, вкуснейший, весь в хвоинках и кругляшах золотого жира, чай в банке из-под тушенки, двое детей. Они были совершенно счастливы вместе, эти Царевы — Еленочка Романовна, кругленькая, аппетитная хохотушка, и Владимир Сергеевич, худой, веселый, шерстяной, как йети, но с громадными ранними залысинами над подвижным морщинистым лбом. Только у нерадивых и беспутных мамаш случаются такие удачные дети. Советская власть была нерадивая. Даже когда она бросила Царевых, бессовестно, не оборачиваясь, навсегда, они не перестали быть хорошими людьми. И не перестали верить в то, что это правильно.

Лидочку они приняли с тем же веселым радушием, с которым принимали все, что посылала им жизнь или притаскивали дети, — провинциальную родню, припозднившихся гостей, ветрянку или голубя с перебитой лапкой. Поначалу она решила держать свои визиты к Царевым в тайне — не из скрытности, а просто потому, что большая часть ее жизни была Галине Петровне очевидно неинтересна. Однако открытий произошло слишком много и слишком много возникло вопросов, и Лидочка, добровольно пропустив прогулку с Ромкой и Вероничкой, отправилась к вдовствующей императрице с незапланированным визитом.

— Беременна? Заболела? — быстро спросила Галина Петровна, подкрашивая перед зеркалом губы: последнее время она все время

торопилась, жить было некогда, жить было интересно, бизнес требовал стремительных решений, стремительные решения — больших денег, одно тянуло за собой другое, как в детской игрушке с деревянным мужичком и деревянным медведиком, которые поочередно тюкали ненастоящими топориками по маленькой наковальне.

Лидочка оказалась здорова и не беременна. Уже, как говорится, слава богу. Чего тебе еще? Деньги нужны? Возьми вот там, на столе.

— Я хотела спросить про квартиру, — тихо сказала Лидочка, привыкшая не повышать у Галины Петровны голос.

— Про какую квартиру?

— Ну, про ту, где мы с мамой и папой жили. Пока они, пока я... — Лидочка замялась, словно калека, не знающий, как правильно назвать собственное увечье. По-честному, в лоб, или так, чтобы другим было выносимо слышать.

— Целехонька, стоит, где стояла, — ответила Галина Петровна, вдевая в круглую, ни на миг не постаревшую мочку сережку с опасным игольчатым бриллиантом очень редкого, коньячного цвета. — А почему ты спрашиваешь?

Лидочка снова замялась — в присутствии Галины Петровны она всегда ощущала себя особенно глупой и нескладной, это было то самое место, где влюбленность и страх соприкасаются так тесно, что их почти невозможно отличить друг от друга.

— Я была там, ну, просто в гости заглянула, и...

— А, с жильцами познакомилась. Как их, бишь? Не помню. Круглые идиоты. Но деньги пока платят исправно. Они нахамили тебе, что ли? Так и скажи. Новых найдем.

Лидочка затрясла головой:

— Нет. Не нахамили. А квартира эта, она чья?

Галина Петровна засмеялась:

— Да ты никак поумнела, наконец? Похвально. Твоя эта квартира, твоя. Не беспокойся. Приватизирована, на твое имя записана, деньги, которые за нее платят, все на твой счет переводятся, восемнадцать лет стукнет — и воспользуешься. А заодно и переедешь. Или ты намерена всю жизнь у меня на шее сидеть? Так мне это даром не нужно.

Лидочка кивнула — шея Галины Петровны, все еще красивая, украшенная ниткой отборного таитянского жемчуга, тоже не казалась ей слишком удобным местом проживания. Аудиенция была закончена, просить о финансовом послаблении Царевым не имело смысла. В отместку Лидочка перестала бывать у бабушки даже через выходные — напрасные

усилия, которых никто не заметил. Галина Петровна прекрасно знала, что дурные вести доходят быстро, так что случись что действительно неприятное, ей сообщат немедленно, а если все в порядке, то и переживать нечего. Не хочет — пусть не ходит. Лидочка и не хотела. Ей было хорошо у Царевых — и, как это ни парадоксально, именно потому, что они, безалаберные и веселые, выжили из дома всех призраков. Никто и ничто в старой квартире больше не напоминало Лидочке о родителях. Это было удивительно — и легко.

Но главным оказалось другое — дети. Ромка и Вероничка. Они сорили и ссорились, задавали невозможные вопросы и не слушались, рассыпали муку, пачкали одежду, разбивали коленки, слушали разинув рот и перебивали через слово. С ними было непросто, но без них оказалось невозможно совсем. Всякий раз, когда Лидочка появлялась на пороге, некрасивая мордашка Веронички и тонкое, как будто в насмешку над сестрой, невероятно правильное лицо Ромки вспыхивали такой бескорыстной брызжащей радостью, что Лидочка не могла поверить, что причина этой радости — она сама.

С началом нового учебного года все, включая погоду, испортилось и усложнилось. Лидочка вновь была занята с утра и до упада, да плюс репетиции «Жизели», пустая общажная комната и энская осень, ледяная, волглая, полная затяжных гайморитов и озлобленных прохожих. Ромку и Вероничку тоже заточили в школу — и жизнь от понедельника до пятницы потеряла бы всякий смысл, если бы не мечта о доме, занимавшая все Лидочкины мысленные и нравственные силы. Выходные она по-прежнему проводила у Царевых. И даже не заметила, что не видела Галину Петровну уже минимум два месяца.

Перед классикой Лидочка замешкалась в коридорном училищном аду. Если закрыть глаза — обычный школьный гвалт, бесконечно детский, горластый и радостный, но Лидочку, застывшую у подоконника (за стеклом — кисленькое небо да увечный клен, оборванный и промокший, как городская побирушка, сентябрь в Энске — безнадежнее иного среднеполосного ноября), Лидочку, натянувшую на плечи теплую репетиционную кофту, не обмануть. Она знает: стоит обернуться, и гвалт исчезнет, растворится в жестоком балетном безмолвии — вон у стены прямо на полу на поперечном шпагате сидит ушастая второклашка — по одной вытягивая маленькие жилы, — а сама сжала в лапках учебник геометрии, шевелит беззвучными губами: отчислить могут не только за плохой шаг.

А вон мучается со своей выворотностью нескладная Ксюша, голенастая, мосластая, ее вышвырнут до того, как станет ясно, что вертлужную впадину не переделать никакими пытками, — вышвырнут просто потому, что она вырастет до негрузоподъемных размеров: никакой танцовщик не отработает с такой дылдой даже самую простенькую поддержку. Лидочкина вертлужная впадина безупречна — Лидочкин тазобедренный сустав выворачивается, будто под кожей у нее не человеческие связки, а гуттаперчевый каркас лесного эльфа. Нет, Лидочке тоже больно, как и всем смертникам балета, но ее боль, по крайней мере, имеет видимый результат. Феноменальные физические данные — качают головами преподаватели, драгоценная редкость, будущая прима, несомненно! Лидочку никогда не отчислят. Никогда не отпустят на свободу.

У нее Божий дар.

Она в жизни не просила Бога ничего ей подарить.

Лидочка смотрит, как ветер то грубо дергает застекольный клен за руку, то отпускает ему подзатыльник — будто читает мораль непослушному подростку, зажав его между непреклонных колен. Отвечай полным ответом! Клен уворачивается от очередного тычка, затравленно смотрит в сторону в поисках подходящей для побега подворотни — никуда ты не удерешь, сочувственно шепчет Лидочка, а сама машинально напрягает под шерстяными гетрами то одну, то другую икроножную мышцу — разогревается перед уроком классического танца. Сколько таких уроков ей еще осталось?

Лидочка честно попыталась сосчитать — но ближе к сотне сбилась, ускорила мысленный шаг и, наконец, побежала, одной рукой стягивая на груди репетиционную кофту, а другой отводя от лица тугие ветки еще не придуманных, не продуманных, бледнолистых кустов.

Дом никуда не делся, стоял на пригорке и на этот раз был из красно-коричневого вкусно пропеченного кирпича. Лидочка прикинула, похозяйски прикусив нижнюю губу, и кирпич послушно посветлел, а потом и вовсе превратился в крупно напильный ракушечник, ноздреватый и радостный, как рафинад. Лидочка подошла к двери — светлой? темной? светлой? — ладно пусть будет темный орех, и два изогнутых фонаря в чугунных шапочках, и дверной звонок, вылупивший на гостей приветливую, глуповатую, перламутровую кнопку.

Прихожую — пока непонятно даже, большую или маленькую — Лидочка проскочила, зажмурившись (потом-потом, теперь уже непременно придумаю в следующий раз!), и открыла глаза только на кухне, обожаемой, огромной, практически обставленной, любовно вылизанной до

сверкающих, трубных, медных мелочей. Лидочка торопливо пересчитала глиняные чашки — в прошлый раз так и забыла все на столе! — три, четыре, шесть, рядом глиняный же кувшин грубого терракотового цвета, почти уродливый, совершенно прекрасный, хранящий на неровных боках отпечатки пальцев безвестного гончара. Молоко в такой посуде всегда будет холодным, даже в самую лютую жару.

Все на кухне, слава богу, осталось прежним. Солнечные вздыхающие занавески. Огромная плита. Под ногами налитанный летом деревянный пол, шероховатый, деревенский, — а вон из той щелки под плинтусом ночами будет вылезать мышонок, легкий, призрачный, как тень домового, и Лидочка никогда не забудет оставить ему у ножки стола маленький, но правильно сервированный ужин — пару ломтиков сыра и хлебную корку на нежной бумажной салфетке. В доме непременно должны жить мыши, без их тихого сухарного хруста будут плохо спать и дети, и кошки — целая стая пестрых кошек, независимых, бесшумных, давно перепутавших в один беспородный клубок все нити позабытого кровного родства.

И еще обязательно будет собака — большущая, дворовая, и за ужином, в дождь или в снегопад, все будут уговаривать друг друга, что ей очень тепло и уютно в набитой сеном просторной конуре. А потом, когда во всех комнатах по очереди погаснут ночники и лампы, Лидочка поставит в буфет последнюю, до скрипа вытертую тарелку и пойдет к двери, чтобы втихомолку пустить собаку в дом. И улыбнется, услышав в потемках смущенный и радостный стук хвоста, — кто-то уже побеспокоился раньше нее, когда в доме много зверей, сердце у детей растет быстрее, чем они сами, но, ах, дети, дети, куда же вы торопитесь! Опять к весне покупать всем новую обувь, опять радостные ссоры над картонными коробками, негодующий визг младших и шорох мягкой мятой бумаги, мешающийся с крепким запахом еще не разношенной кожи и черных резиновых каблучков. Лидочка видела каждую загогулину на подметке, чувствовала войлочное тепло каждой стельки, но лица детей туманились, расплывались, дети были — сплошные птичьи голоса, близкий ласковый клекот, а муж и вовсе оставался невидимым, и как ни спешила Лидочка по комнатам, но догнать все равно удавалось только теплое движение растревоженного воздуха. Словно кто-то раздвинул невидимую портьеру и мазнул Лидочку по лицу тяжелым струящимся потоком, сотканным из запаха, из запаха... Лидочка терялась, не зная, как будет пахнуть муж, не понимая, как его можно окликнуть. «Милый?» — спрашивала она, растерянно стоя на пороге пустой комнаты, плывущей, зыбкой, а впереди струилась еще целая анфилада таких же неясных пространств — словно кто-то уронил на дно

ручья нитку колеблющихся, струящихся бус. Дом, такой прочный и настоящий, начинал туманиться, теряя телесные очертания, и Лидочка, виновато зажмурившись, возвращалась на кухню, о которой мечтала больше и чаще всего — как будто о смысле и свете своей будущей жизни.

На кухне она переводила дух и, накрывая стол к чаю (чайные ложечки в правом верхнем ящике, розетки для варенья — в буфете, по левую руку), тихонько обещала себе больше не спешить, не гоняться за призраками, не торопить их показаться во плоти. Торопиться вообще нельзя, сила — в умении отдаваться частностям, а жизнь — жизнь состоит из мелочей. И только собрав эти мелочи в один непрерывный узор, только гладко замкнув каждую деталь с другой, можно было надеяться на то, что дом — когда-нибудь — из бесконечно долгой выдумки превратится в самую настоящую правду.

Именно поэтому так важно было не ошибаться в деталях. Лидочка, например, совершенно точно знала, что к чаю непременно будет подавать домашнюю выпечку — заварное петишу, миндальные лепешечки или, на худой конец, мазурек, тот, который Молоховец называла просто — «очень вкусный». Лидочка, давно выучившая заветный том наизусть, быстро, как молитву, пробормотала рецепт — полфунта масла тереть добела, не переставая мешать, класть полфунта сахара, шесть желтков, четверть чашки горького и четверть чашки сладкого толченого миндаля, шесть сбитых белков и полфунта фунта муки, влить в плоскую бумажную форму, намазанную маслом, и в печь.

«Не снимать мазурка с бумаги, пока не остынет, — строго предостерегла Лидочку Маруся и тут же, смягчив тон, посоветовала: — Сверху можно оглазировать, или украсить по желанию, или посыпать коринкой, сахаром, миндалем». Лидочка послушно кивнула — она понятия не имела, чем отличается горький миндаль от сладкого, да это было и неважно — важен был только теплый тестяной аромат, пропитавший кухню, и детская возня у стола — яростная и веселая — за право первому выхватить мазурек из-под полотенца. Но дети снова были размытые — похожие то на Ромку, то на Вероничку, то на чужих — очень славных, но все-таки чужих малышей, и Лидочка, вздохнув, поняла, что сегодня что-то не ладится и, значит, пора собираться назад, в реальную жизнь, которая, по сравнению с этим домом, с каждым днем все больше казалась Лидочке совершенно ненастоящей.

«А вот ты у меня настоящая, — сказала она собаке, — понимаешь, а, Найда?» И Найда еще раз согласно стукнула по полу плотным шерстяным хвостом и смущенно заулыбалась. Лидочка наклонилась, чтобы почесать

собаку за мягким горячим ухом, и получила такой увесистый тычок под ребра, что вылетела из своей мечты, не успев напоследок ни выпить чаю, ни пройтись по комнатам, ни проверить, хорош ли будет на застекленной веранде большой розовый абажур из старомодного шелка с невозможной, трогательной, изумительно мещанской бахромой.

Училище никуда не делось. И даже до звонка оставалась еще пара дрожащих от напряжения минут — чтобы понять это, Лидочка, как любая раба ежедневной рутины, давно не нуждалась ни в каких часах. То есть бежать и толкаться было совершенно незачем. И тем не менее тощенькая нескладная первоклашка не просто со всего размаха пихнула Лидочку в бок, она еще и крепко наступила ей на ногу — на ногу! — на драгоценную ступню лучшей ученицы школы, маленькую, твердую, изувеченную, словно у Русалочки, которую злой сказочник-импотент заставил годами ступать по остриям ножей. Без всякой любви — просто ради собственного бессильного удовольствия.

Балетные могли пихаться на переменах, скакать козлами, играть в обычные детские догонялки и даже драться, но ноги — ноги это было святое. Рабочий инструмент, посягнуть на который могла лишь обезумевшая от ревности соперница, но тут уже в ход шли натертые чем-нибудь скользким пылы (чтоб ты, ведьма, шею себе свернула) да насыпанное в пуанты толченое стекло — совсем не анекдотичное, а вполне реальные электрические лампочки, растертые до тончайшей пудровой пыли. Один диагональный проход по сцене — и живые человеческие пальцы превращаются в окровавленные мокрые подушечки для невидимых булавок. Лидочке хватило одного раза, чтобы навсегда обзавестись привычкой ощупывать балетные туфли изнутри — мгновенным, почти медицинским, пальпирующим движением. Так же машинально и осторожно она стала проверять всю свою обувь: домашние тапочки, туфли на зачаточном (чтобы не трудить измученную ногу) каблучке, похожие на нескладных щенят унты.

Лидочка крепко взяла проштрафившуюся первоклашку за горячее прозрачное ухо и несильно, но ощутимо дернула. Впрочем, это было совершенно напрасно, потому что первоклашка ничего не заметила — ни отдавленной принцессиной ноги, ни принцессиного же наказующего жеста. Она вообще была как маленький зомби: мягкая, безвольная и вся сосредоточенная на одной, невидимой прочим, но дико болезненной точке. Лидочка машинально проследила за первоклашкиным взглядом, и ледяная иголка, которая когда-то проколола насквозь судьбу Галины Петровны, с тихим шероховатым усилием прошла сквозь полотно Лидочкиной жизни,

прочно соединив две вышивки, которыми некому было любоваться.

По коридору, покачивая спортивной сумкой, шел бог. Он был весь из меда, золота и молока. Из темного меда, теплого золота и топленого молока. Как ульмский торт, потрясенно подумала Лидочка, и первоклашка, прижавшись к ее боку пылающей щекой, плачущим голосом пробормотала — смотрите, смотрите, это он...

— Кто — он? — спросила Лидочка, остро чувствуя, как невероятным, плавным, округлым движением переворачивается привычный мир, который она считала хоть и ненавистным, но несокрушимым и который, оказывается, все это время был мучительно и нелепо поставлен с ног на голову.

— Витковский, — ответила первоклашка. — Алексей Витковский, его к нам из Москвы перевели.

Лидочка кивнула головой, как будто поняла, и, отстранив замороженную девочку, пошла вслед за получившим имя богом, не замечая, как вокруг нее падают беззвучные неторопливые обломки и лопаются какие-то невидимые стяжки и швы. Она сделала несколько шагов, незапоминающихся, но очень важных, потому что впервые за долгие годы в училище она делала что-то в этих стенах — просто двигалась — по своей, а не чужой воле. Но тут до отказа отмотавшийся поводок натянулся, и Лидочка остановилась. Никакое крушение мира — включая апокалипсис и первую любовь — не могло послужить оправданием, если речь шла об опоздании на урок классического танца.

Лидочка устало, как кобыла, мотнула головой и повернула назад.

Она не терпела опозданий, Нинель Даниловна, Большая Нинель, миллион лет назад легендарная энская прима, божественная Одетта, дьявольская Одилия, а теперь просто грузная злая старуха с железными пальцами и такой же железной глоткой. Надо было видеть, каким хрупким, невероятным, юным и прекрасным жестом она поправляла красный от хны пучок волос на своем жирном бугристом затылке, каким точным, огненным ударом вбивала на место нерадивые лопатки и коленки своих навек перепуганных учениц. Ровные ряды вытянувшихся судорожных шеек, побелевшие пальцы, вцепившиеся в палку, округлившиеся, дрожащие от напряжения глаза. Дранные шерстяные кофты, толстые гетры со спущенными петлями нищей кучей валяются в углу — жалкий шик, училищная мода, репетиционная одежда должна быть рваной, это был едва заметный, никому не интересный глоток свободы, крошечное право на самоопределение. Зэки с той же целью вскрывают себе вены заточенными ложками. Лучше бы они попробовали экзерсисы у палки или разминку в

партере.

— Гран батман жете! — рявкнула Нинель, и марионетки покорно вздернули нижние конечности. — Пятая позиция, правая впереди — два жете вперед, пике, закрыть. Два жете в сторону, пике, закрыть назад. Два жете назад, пике, закрыть. Два баленсуара медленных и два быстрых, закрыть назад и — ан дедан. Линдт! — вдруг заорала Нинель, так что даже ко всему привычные семиклашки вздрогнули. — Подбери жопу, куда она у тебя уехала?! И что это за спина? Не спина, а корыто!

Аккомпаниаторша, маленькая, похожая на сморщенную куклу старушка, которую все считали механической, остановилась, воздев руки над клавиатурой и глядя перед собой равнодушными пустыми глазами. Лидочка дернулась от крепкого удара и, не переставая улыбаться, послушно распрямила и без того до предела натянутую спину. Между лопаток на голой коже заполыхал отчетливый яркий отпечаток педагогической длани. Девочки воровато и радостно переглянулись — Нинель не лупила лучшую ученицу школы с четвертого класса, и позорное возвращение Лидочки в стан таких же, как все, сулило много чудесных перемен.

— Еще раз — гран батман жете! И ра-а-аз! Стопой бросаем ногу, идиотки, стопой — не бедром! Боже, на кого я трачу свои нервы? Да вас всех еще в пеленках надо было передавить!

На этот раз Лидочкина ножка взлетела, как и положено, выше всех прочих. Но это было неважно. Все было неважно. После занятия Нинель подозвала Лидочку. Ты здорова? — спросила она и неловкой, не приспособленной к ласке рукой пощупала лаковый от пота Лидочкин лоб. Лидочка кивнула — да, здорова. Но это была неправда — мир перед ее глазами безостановочно плыл и качался, переливаясь золотом и медом, медом и молоком.

Бедная Лидочка, выросшая в мире великой, абсолютной нелюбви, сначала действительно решила, что заболела. Эта лихорадочная тревога, это поселившееся внизу живота дикое, вращающееся волнение, эта неумеренная болтливость, странная подвижность, когда никак не пристроишь обеспокоенные руки — разве это была не болезнь? Ледяные мокрые ладони, горящие щеки, бессонница, неврастеничный хохоток, на дне которого отчетливо колотится колокольчик близких слез, — училищный врач, румяный и толстопузый, как пушкинский критик, бездушными сноровистыми пальцами ощупал каждое Лидочкино сочленение — словно цыган, приценивающийся к подходящей кляче. Прописал валерьянку. «Вы, Лидия Борисовна, вполне себе здоровы. Ну,

насколько вообще можно назвать здоровой вашу балетную немочь. А так переживать из-за какого-то выступления — вы Жизель, говорят, танцуете? Поздравляю, большая честь для выпускницы — так вот, переживать из-за такого, простите, в сущности, говна никакого здоровья не хватит. Попейте капельки на ночь, все и рассосется».

Лидочка попила, но не рассосалось.

Конечно, вечерами тинктура валерианового корня и многолетняя мышечная усталость сваливали ее на общежитскую постель, казенную и бездушную настолько, что ее сторонились даже небрезгливые ночные феи, справедливо полагавшие, что для нормальных сновидений нужна хоть самая микроскопическая капля домашнего тепла. Но несколько часов пролежав ничком на дне непроницаемого морока, ближе к рассвету Лидочка вздрагивала, словно кто-то встряхивал ее за плечо взрослой, беспокойной рукой. Дешевенький будильник с квадратным китайским личиком всякий раз показывал три часа ночи и несколько ничего не значащих минут — время полного мирового покоя, когда размыкают объятия наголодавшиеся любовники, успокаиваются уличные убийцы и даже самые безнадежные больные откладывают агонию до утра.

Лидочка садилась в постели, натягивала на плечи заклеенное печатями байковое одеяло и до самого утра смотрела прямо перед собой, ничего не видя, не чувствуя холода и улыбаясь слабой, едва светящейся в темноте улыбкой.

Алексей Витковский.

Она обмирала от того, как ломкое, ледяное, цесаревичево имя Алексей одним мягким движением спекшихся от волнения губ превращалось в былинное, мягкое Алеша. Алешенька. Как будто целуешь в теплую загорелую спинку круглую изюмную булочку.

А-ле-шень-ка.

Он был такой красивый, что Лидочка не могла смотреть на него больше нескольких секунд — как на солнце. Сразу начинала кружиться голова, и мир шел темными, огненными, долго остывающими пятнами. Приходилось довольствоваться малым — темными кольцами волос на смуглой молодой шее, родинкой на скуле, манерой слегка приподнимать брови, будто удивляясь. Брови были шелковые, с искрой, как шкурка норки, а вот глаза — синие или черные? Лидочка не знала. Не смела узнать. Один раз Витковский прошел коридором так близко, что она ощутила его тепло — такое же невозможное и желанное, как существование Бога. Лидочка запнулась, собираясь наконец хоть что-то сказать, но в очередной раз, не поднимая ресниц, шагнула мимо — надменная спина, вскинутый

подбородок, королевская осанка, способная обмануть только того, кто никогда не учился в хореографическом училище.

На самом деле Лидочка, и без того бесконечно неуверенная в себе, влюбившись, совсем потерялась. Посоветоваться, даже просто поговорить было не с кем — изгнанная из рая Люся Жукова так и не ответила ни на одно из Лидочкиных писем, отвлекать Царевых-старших от усердного выживания было совестно, а дети — они были просто дети. Давали немножко сил, отнимали взамен очень много времени. Оставалась Галина Петровна, но говорить с ней о любви? С тем же успехом Лидочка могла искать участия у ящика с канифолью, в котором балетные, выбегая на сцену, буцали пуанты, чтобы окончательно не соскользнуть в иное измерение и не свихнуть себе шею.

Особенно тяжело переносила Лидочка бесконечный восторженный галдеж в классах и раздевалках — в новенького красавца-старшеклассника, как положено, влюбились сразу все, от первоклашек до выпускниц. Это было жадное, глупое, истерическое обожание, которое всегда процветает в закрытых сообществах — в гимназиях, в казармах, даже в бараках. Обсуждение рубашек прекрасного принца (ах! сегодня он в розовой!) и его происхождения (говорю вам, девчонки, у него папа — дипломат!) казалось Лидочке унижительной пародией на ее собственные чувства. Право мечтать о Витковском и толковать его взгляды, улыбки и даже жесты принадлежало ей — больше никому. Но, несмотря на все попытки сохранить хотя бы видимость независимости, Лидочка то и дело ловила себя на том, что питается теми же жалкими крохами с общего стола, что и все остальные, — пришивая ленточки к пуантам, закалывая волосы, стоя под душем среди таких же, как она, мокрых и голых скелетиков, Лидочка жадно впитывала в себя каждое слово, каждую дурацкую историю — лишь бы речь шла об Алексее Витковском.

Только очень наивные люди могут предположить, что в балете в ходу исключительно платонические чувства и высокие переживания. Вольность нравов, которая царит в хореографических училищах, извиняется только тем, что большинство учащихся просто не знают, что на свете бывает что-то еще. Обтягивающие балетные трико, привычные переодевания на виду у всех, задранные голые ноги и руки, совместное мытье, бесконечное пестование тел, а не душ — все это не оставляет места ни воображению, ни романтическим мечтам. Плоть для любого балетного — это просто плоть, рабочий инструмент, которым изредка можно воспользоваться для дружеского перепихона, но не больше. На большее просто не хватало сил. В старших классах девочки много сплетничали о любовниках, которых

заводили взрослые балерины, но упирали все больше на материальную сторону дела. Например, какой-то счастливице кавалер подарил сразу две пары кожаных сапожек — черные и цвета лосося, и это и было высшим триумфом в отношениях между мужчиной и женщиной. Других отношений между мужчиной и женщиной никто не знал. И Лидочка тоже.

Конечно, были еще пестики и тычинки, собачки и кошечки, парочки, обжимающиеся по скамейкам, Ритка Комова, бросившая училище по молодому шалому залету, плывущая под партами страница, вырванная из какой-то медицинской книжки, с черно-белым рисунком и устрашающей надписью — пенис в разрезе... Посмотри и передай дальше. Лидочка посмотрела и передала. На этом ее сексуальное воспитание завершилось.

Правда, когда начались занятия по дуэтному танцу, выяснилось, что отношения можно иметь еще и с партнером. Вдвоем было проще сражаться за место в репертуаре, вдвоем было удобнее репетировать, в конце концов, партнер был свой, и можно было не тратить время на объяснения, почему нельзя заводить детей и как размять забитую мышцу. Те, кому по страхолюдности не светили сапоги цвета лосося, и самые упертые фанатички выбирали партнеров. Но человеческого в таких парах тоже не было ничего или почти ничего. Это были браки по производственной необходимости. После того как два худых взмокших подростка несколько часов подряд отрабатывали подъем на руку партнера или подбрасывание ученицы в позе рыбки с поворотом, о романтических чувствах можно было не беспокоиться. Травмы, падения, дурные запахи, пот, слюна, сорванное дыхание, скользкие чужие руки, равнодушно ощупывающие твоё тело, — после этого оказаться в одной постели можно было только по великой пьяни. Или от великой тоски.

Лидочка поняла это, как только обзавелась собственным партнером — Леней Беляевым, бледным, упрямым мальчиком, помешанном на балете и собственной заднице. Он часами изнурял себя упражнениями, добиваясь какого-то особого ягодичного изгиба, и, даже поднимая Лидочку на вытянутой, мелко дрожащей от напряжения руке, исхитрялся скосить глаза так, чтобы видеть в зеркальных стенах собственный зад. Его прикосновения, холодные и липковатые, как манная каша, не вызывали у Лидочки ничего — даже отвращения. Роняет редко — и на том спасибо.

С Витковским все было по-другому. Его Лидочка ощущала всем телом даже на расстоянии — и это было чудесное, яркое, нервное чувство, больше всего похожее на боль от ожога.

Это было настоящее. Это была любовь.

К исходу осени Лидочка похудела так, что стало заметно даже в

хореографическом училище, но никто и не подумал волноваться — все списали на «Жизель», премьеру которой назначили наконец-то на конец января, так что Лидочке кроме основных занятий и репетиций назначили еще и дополнительные занятия в мужском классе. Уланова, небось, не дура была, когда с мужиками репетировала, потому — прыгай, Линдт, прыгай, распорядилась Большая Нинель. Без великого баллона нет великой балерины. Лидочка послушно прыгала, едва замечая гравитацию и легко обставляя самых прыгучих и длинноногих парней. Еще час после занятий. Еще. Пустой зал, перекидное жете, перекидное, перекидное! Ап! Ап! Ап! Она, страшно стукнув пуантами, прыгнула последний раз и без сил повисла на станке, расслабляя натруженные гудящие мышцы и чувствуя, как стекает между лопатками струйка прохладного пота.

— Круто, — сказал кто-то позади с неподдельным восхищением. — В жизни не видал, чтоб девчонки так прыгали.

Лидочка обернулась.

В дверях стоял Витковский, темноволосый, легкий, в распахнутой на груди рубашке — в белой, девочки. Сегодня — в белой.

— Тебя ведь Лида зовут, да?

Лидочка кивнула.

— Слушай, а у вас тут кофе пьют? В Энске вашем?

Лидочка кивнула еще раз, и Витковский засмеялся.

— Мне говорили, что ты немая, — сказал он весело. — Но я думал — врут. Слушай, покажи мне хоть одну приличную кофейню, а? С Москвы капучино не пил, прям не поверишь — ломки уже начинаются. Покажешь?

Лидочка кивнула в третий раз, и теперь они засмеялись оба, как дети, подталкивая друг друга взглядами, неудержимо, взахлеб.

Через неделю о том, что Витковский и Линдт начали встречаться, знали все.

Лидочке даже не завидовали — просто смирились, что кесаревне в очередной раз досталось кесарево. Как будто она мало пахала вместе со всеми, наравне со всеми, больше их всех. Как будто не было этой бесконечной осени, чуть было не сожравшей ее без остатка, вместе с ее любовью, никем не замеченной, неоплаченной, немой. Сама Лидочка, в отличие от прочих, так и не решалась поверить собственному счастью, словно во сне, когда летишь — летишь ведь! — но совершенно точно знаешь, что это неправда. Просто не может быть правдой. Не имеет права.

Они много гуляли вместе — по тем же улицам и перекресткам, по которым бродила когда-то молоденькая Галочка Баталова, держа за руку

своего прекрасного сказочного принца, так что, хорошенько приглядевшись, все еще можно было увидеть то там, то тут слабо светящиеся отпечатки их бестолковых следов, но Лидочка, без остатка поглощенная Витковским, ничего, ничего не замечала. Глаза у него оказались синие. Синие-синие, невероятного, почти ненатурального оттенка, похожего на тот, что возникает в стакане с водой, в котором только что быстро прополоскали запачканную ультрамарином колонковую кисточку. Пронзительный энский холод то и дело загонял Лидочку с Витковским то в одну кафешку, то в другую, и в искусственной полутьме, освещенные общим огоньком на двоих раскуренной сигареты, они подолгу разговаривали, вернее, разговаривал Витковский — к тихой радости Лидочки, о себе, только о себе.

Она питалась этими рассказами, как дети питаются впервые услышанной сказкой, совсем еще новенькой, по-настоящему волшебной, в которой за каждым поворотом сюжета, за каждой паузой, которую рассказчик делал, чтобы перевести дыхание, вставал дивный, неизведанный мир, впечатывающийся, кажется, сразу в самое сердце. Оказывается, рассказы про папу-дипломата, как и положено легендам, не столько приукрашали, сколько искажали чудесную действительность.

Витковский и впрямь перевелся в Энск из Москвы — случай в училище не то чтобы неслыханный, но и не уникальный. Три самых авторитетных хореографических школы страны — питерская Вагановка, московский МГАХ и Энск — ревниво следили за успехами друг друга и время от времени обменивались то скандалами, то педагогами, то учениками. Но выпускники вроде Алексея Витковского все-таки обычно стремились в Москву, а не из Москвы — поближе к заветному Большому театру, этой Мекке балетного мира, славной своими мизерными окладами, зверскими обрядами и классическим репертуаром, в котором десятилетиями не менялось ничего — ни примы, ни па, ни аплодисменты, ни свиные рыла государственных деятелей в царской ложе.

Однако Алексей Витковский бросил все эти заманчивые своды и перспективы и прибыл заканчивать свое балетно-хореографическое образование именно в Энск — в училище говорили, что вслед за отцом, крупным функционером, которого правящая в ту пору партия под названием «Наш дом — Россия» кинула грудью на дальние рубежи Родины, чтобы укрепить веру провинциального электората в «рыночные реформы и здоровый консерватизм». В реальности отец Витковского, сильно пьющий холерик и бывший секретарь одного из московских райкомов, так задолбал всех своими запоями и выкрутасами, что его попросту сослали с глаз долой

и куда подальше.

Витковский, ничуть не стесняясь, рассказывал об этом с простодушной прямоот набалованного ребенка, уверенного, что ему простят любой скверный проступок, пусть даже совершенный родителями и потому особенно непоправимый.

А мама? Лидочка вскидывала огромные, переливающиеся сочувствием глаза. Витковский беспечно пожимал крепкими плечами — матери он не помнил, не то бросила их, не то умерла, пьяные истории отца отличались одна от другой, неизменными оставались лишь хриплые ненатуральные рыдания да лужицы остро воняющей блевотины, отмечающие путь партийного функционера к собственной спальне. Он был, кстати, неплохим отцом и, несмотря на ненависть ко всему балетному, предпочел добровольно отправиться не в солнечный Краснодар, а туда, где его сын мог продолжить свое идиотское образование.

— Ты, наверно, очень скучаешь? — тихо спрашивала Лидочка, имея в виду таинственно исчезнувшую мать любимого и переживая его сиротство в тысячу раз острее своего, давнего и привычного, как вывих, и Витковский невпопад соглашался — да, без Москвы погано, тут у вас, уж прости, такая жопа мира, что хоть даvisь. Он одним глотком допивал кофейную бурду, замаравшую дно чашки, и щегольским щелчком подзывал скучающего официанта.

— Отогрелась? — спрашивал он у Лидочки. — Еще что-нибудь хочешь, нет? Ну, тогда я в сортир, и погнались дальше.

Официант, волоча ноги, добирался наконец до их столика и, насмешливо ухмыляясь, наблюдал, как Лидочка с нежным, жадным обожанием глядя в удаляющуюся спину Витковского, слепой неловкой рукой лезет в сумочку за кошельком. Она всегда платила за них двоих в кафешках — и ни разу этого не заметила, как ни разу не заметила ни нагловатого, развязного тона, ни того, что Витковский, в сущности, ни разу не спросил ее ни о чем, что было бы связано с ней самой или с их совместным будущим, да он даже не дотронулся до нее ни разу, хотя Лидочка, с замирающим обнаженным сердцем, каждую минуту ждала поцелуя.

Они выходили на черную, ледяную улицу, едва освещенную тоже ледяным и ломким, почти леденцовым, фонарным светом.

— Ладно, старуха, — говорил Витковский, по-киношному поднимая воротник тоже киношного стеганого плаща на клетчатой яркой подкладке. — Пора и по домам. Ну, бывай!

— До завтра, — тихо говорила Лидочка, любуясь серебристой

снежной пылью, едва касающейся его темных волос, и не думая о том, что ей сейчас предстоит одинокое возвращение в общежитие по извилистым, насквозь промороженным ночным улицам, — она действительно ничего не замечала: ни оплаченных счетов, ни того, что, в сущности, каждый день провожает Витковского домой, ни того, что он никак ее не называет — разве что старухой, ни еще тысячи ужасных, безжалостных мелочей, которые однозначно разорвали бы ей сердце, не будь оно временно одарено высокой и божественной слепотой, которую принято называть любовью.

Новый 1998 год Энск отметил невиданными погодными аномалиями. В конце декабря вдруг приключилась полноценная оттепель — с самыми настоящими болтливыми ручьями, неторопливой солнечной каплей и многоголосым гомоном обалдевших от радости воробьев. Но уже в первых числах января эти же воробьи десятками валялись на заледенелых тротуарах — мерзлые, хрупкие, скованные неторопливой, ночной, музыкальной смертью. Дворники, заточенные в циклопические тулупы, собирали невесомые тельца и бросали в мусорные баки, и Лидочке казалось, что, если тихонько потрясти маленького пернатого покойника над ухом, непременно услышишь, как звенят внутри обломки замерзших чирикающих трелей.

До «Жизели» оставалось всего несколько недель, если точнее — две с половиной, премьеру перенесли с 25 января на 1 февраля, и Лидочка, услышав долгожданную дату, только ахнула и, прижав ладонями полыхнувшие щеки, выбежала вон, оборвав репетицию на половине такта. «Нервы», — извинительно буркнула Большая Нинель, подбирая с пола оброненную Лидочкой шпильку, и принц Альберт, долговязый взрослый танцовщик из энского театра оперы и балета, напружинив ознобные перекачанные лыдки, недовольно отошел к окну.

— У всех нервы, — капризно протянул он, — у всех. Только я один должен пахать, как папа Карло. А жалованье, между прочим, с октября не выдавали!

— Мало денег — иди в грузчики, — отрезала Нинель, помнившая принца еще лопухим учеником с прыщавым лбом и скверной выворотностью. — Тебя, мудака, может, только потому и запомнят, что ты с Лидкой эту премьеру станцевал... Она махнула толстой, усыпанной старческой «гречкой» рукой и, кряхтя, подошла к двери, за которой затихал drobный топоток сбежавшей Жизели. — И не стой столбом, занимайся. Барышников херов.

Лидочка нашла в женском туалете на первом этаже — в этом

излюбленном оазисе слез, горестей и сплетен многих поколений балетных учениц. Увидев Большую Нинель, она вскинула голову, торопливо вытерла глаза и осветила облупленный, пропахший сортир такой невероятной, сияющей, робкой улыбкой, что Нинель от неожиданности улыбнулась в ответ.

— Экая ты психованная все-таки, — прогудела она, доставая из кармана мятую пачку дешевеньких сигарет. — Давай-ка, покури и успокойся.

Лидочка, втягивая нежные щеки, наклонилась над бледным спичечным огоньком и благодарно закашлялась, осознавая оказанную ей огромную честь — курить с Нинель ее невозможную «Ватру», на равных, как взрослая со взрослой, как балерина с балериной.

— Ты чего убежала, боишься? — спросила Нинель, выпуская из ноздрей громадные вонючие дымные бивни.

Лидочка снова улыбнулась — на этот раз виновато, даже не пытаясь ничего объяснить. 1 февраля был не просто день премьеры, это был день рождения Витковского. Его день. Лидочка давно решила 1 февраля объясниться Витковскому в любви, но теперь, теперь это объяснение приобретало особый смысл. Это не могло быть совпадением. Это была судьба. Судьба, впервые повернувшаяся к Лидочке своей солнечной, парадной, радостной стороной.

— Я готова, Нинель Даниловна, — сказала она твердо и, еще раз крепко затянувшись, бросила зашипевший окурок в унитаз.

— И молодец, — пробурчала Нинель, — тогда иди в класс, я догоню. — Она проводила глазами Лидочку, кинула в тот же унитаз свою сигарету и, поразмыслив, задрала обширные, уже совершенно старушечьи юбки. Струя мочи ударила в старый советский фаянс, взбивая крепкую желтую пену. — Я не я буду, если не отправлю девчонку в Москву, — пробормотала она. — Хотя так в энциклопедию пролезу.

Нинель распрямилась, одернула подол и решительно рванула за унитазную цепочку, смывая за собой все неисчислимые горести и грехи, накопленные за долгую, неласковую, в сущности, совершенно несчастную жизнь.

Торопливо одевшись в совершенно пустой, гулкой раздевалке (училище распустили на каникулы, настрого наказав помнить про ежедневные экзерсисы, как будто кто-то мог про них забыть), Лидочка выбежала на крыльцо, отыскивая глазами знакомую высокую фигуру, перехваченную в узкой талии поясом плаща, но тут же сникла — Витковский уехал на каникулы в Москву (не попрощавшись! не

попрощавшись!). Значит, свидания не будет. Ну, ничего, до первого февраля совсем недолго. Лидочка покрепче запахнула шубку и, с удовольствием чувствуя громкий крахмальный хруст наста под ногами, поспешила в общежитие. Завернусь в одеяло, — пообещала она себе, — и буду спать, спать, спать, а проснусь — и Алеша уже приехал! Она приветливо дернула за заснеженную лапу знакомую толстую елку и засмеялась, подставляя варежки под маленькую, нежную, ею же самой созданную вьюгу.

— Лидия Борисовна, — окликнул ее кто-то сзади. — Лида! Подождите минуточку!

Лидочка обернулась, все еще улыбаясь и сияя круглой ямкой на смугловато-бледной щеке и мокрыми, перепутавшимися ресницами, — как тогда, Господи, точно, как тогда, подумал Лужбин, по удивленному оттенку Лидочкиной улыбки, понявший, что она его не узнала, и вдруг, потеряв равновесие, постыдно шлепнулся на гладкий лед взметнувшегося тротуара.

Новый год Лидочка встречала с Царевыми, предварительно вежливо поставив в известность ничуть не огорчившуюся Галину Петровну. «У них пожрать-то хоть найдется?» — только и спросила она у Лидочки. И Лидочка, запланировавшая воплотить не один десяток страниц любимой Елены Молоховец, честно ответила — найдется. «Ну, тогда с наступающим», — равнодушно пожелала Галина Петровна, и Лидочка уже в короткие гудки сказала — и вас тоже.

Это был первый счастливый Новый год в ее жизни — первый с того последнего, что она встречала с родителями. Перепробовав все деликатесы и перепев все каэспэшные песни, Царевы и Лидочка проспали несколько коротких и таких же суматошных и веселых, как новогодняя ночь, часов и, проснувшись, обнаружили, что за окном совершенно пушкинское утро — солнечное, ослепительное, чуть тронутое легким, веселым морозцем.

— А знаете, что мы сейчас сделаем? — спросил Царев, за ночь заросший невероятной, почти разбойничьей, веселой, синеватой щетиной. — Мы сейчас поедem на дачу!

Надо сказать, что дача — это было просто такое слово. На деле Царевы обладали небольшим и нелепым ломтем бывшей колхозной пашни, безнадежно истощенной социалистическими методами ведения хозяйства еще за пятилетку до Лидочкиного рождения. С одной стороны разбег царевских шести соток ограничивал сосновый лесок, степенно карабкающийся на невысокую сопку, а с другой — впрочем, других сторон просто не было, поскольку пашня вся была нарезана в пользу бестолковой НИИшной голытьбы, у которой сроду не было ни денег на заборы, ни

наглого пролетарского духа на скандалы. А потому Царевы, например, свою землю узнавали по сарайчику, который Сергей Владимирович собственноручно сколотил из снарядных ящиков и домовито запирали на гигантский, почти антикварный лабазный замок.

Сарайчик предназначался для сельхозинвентаря, но при желании мог вместить себя и раскладушку, радушно готовую принять усталого путника на продавленное пружинное лоно. Впрочем, ночевать на даче Царевы не оставались, поэтому чаще всего на раскладушке перебирали набранные тут же, в лесочке, грибы — сперва подсопливленные маслята, потом рыжики, причем старшие Царевы, по унаследованной от деревенских родичей привычке, норовили брать исключительно грибную детву — со шляпкой не крупнее полуногтя, а Ромка с Вероничкой, охваченные первобытным азартом, выкорчевывали даже гигантские рыхлые сыроежки, насквозь проеденные проворными прозрачными червями и облепленные мертвой хвоей. Из-за сыроежки в семье вспыхивали кратковременные ссоры, но побеждал, разумеется, опыт и авторитет — и в грибную икру и на засолку отправлялись только очевидно пригодные в пищу экземпляры.

Зимой — за отсутствием грибов — на даче делать было совершенно нечего — разве что наряжать елку да играть в снежки. И Царевы, поняв, что до ближайшей елки надо топать по целине почти полкилометра, стали играть в снежки. Сперва разбились на команды, но, войдя во вкус, стали воевать каждый за себя, причем Лидочка, наряженная по дачному поводу в старую Ромкину кацавейку с разноплеменными пуговицами и напроочь оторванным карманом, кричала и прыгала громче всех. Тренированное легкое тело впервые в жизни доставляло ей не боль, а радость, и, влепив в неприятеля очередной сверкающий меткий снежок, она успевала не только увернуться от встречного снаряда, но и издать ликующий индейский вопль, которому ее обучила Вероничка. Перед лицом такой опасности Царевы сперва дрогнули, а потом коварно объединились и громкой семейной когортой загнали визжащую и отбивающуюся Лидочку в громадный сугроб. Ах так, возмутилась она, задыхаясь от смеха и пытаясь выбраться, ах так — все на одного! Ну я вам сейчас покажу! И, быстро слепив здоровенный снежный ком, она со всего размаху запустила его в исполняющего победный танец старшего Царева.

Такой Лужбин и увидел ее в первый раз — стоящую на коленях в сугробе тоненькую, почти не существующую девочку в мальчишеском куцом пальтишке, растрепанную, хохочущую, с мокрым от снега сияющим лицом. Она набрала полные варежки снега и вдруг вскинула глаза — невероятные, темно-темно золотые, насквозь солнечные, с живыми

кофейными искрами на самом дне радостного, полудетского взгляда, и Лужбин вдруг почувствовал, как со всего размаху налетел лицом на невидимую, но несокрушимую стену, и в обступившем его неом, неподвижном кадре девочка размахнулась, и снежок, все еще хранивший форму ее маленьких ладоней, полетел вперед, и пока он летел, бесконечно долго летел к земле, сияющий, круглый, Лужбин разом понял, как будет счастлив с этой девочкой, непоправимо, неслыханно, небывало, и ощутил вкус ее губ, и тяжесть ее беременного живота, он прожил с ней целую жизнь, долгую, радостную, как первые в жизни летние каникулы, и умер ровно через неделю после ее смерти, потому что она не должна была огорчаться, не должна была оставаться одна, и когда снежок наконец вцепился в плечо помирающего со смеху старшего Царева, все было кончено и решено.

И Ромка радостно заорал — здрасьте-здрасьте, дядя Ваня!

Иван Лужбин был местный, энский, шестьдесят первого года рождения. Он уродился в простой советской семье, славной своей порядочностью и борщами, на твердые четверки закончил ничем не примечательную окраинную школу, спокойно сходил в армию и без малейших видимых усилий поступил в энский политех, который и закончил — без показного блеска, но зато с пятью патентами на весьма полезные для родины штуковины, так что после защиты дипломного проекта за него чуть не передрались две кафедры и половина энских КБ.

Впрочем, такой ажиотаж можно было понять — шел 1986 год, и само понятие «инженер» давным-давно превратилось в синоним идиота-неудачника, просиживающего дешевые измятые брюки в захудалом НИИ, которое бог знает какую по счету пятилетку пытается изобрести новую цепочку для сливного бачка вечно подтекающего и легендарного советского унитаза. Вузы всей страны стаями выпускали безмозглых девушек, мечтающих про замуж невтерпех, да вялых молодых людей, заранее смилившихся с участью нищего персонажа популярного анекдота (этакое промежуточное звено между незадачливым Василием Ивановичем и совсем уже дебиловатым чукчей). А Лужбин, спокойный, медлительный и как будто даже чуточку сонный, одним фактом своего существования вернул слову «инженер» забытую и заслуженную славу.

У Лужбина была ясная циничная голова, упрямый характер, кошачье любопытство и совершенно невероятные руки. Не было такого прибора, который он не мог бы, поразмыслив, оживить, но — и это было куда важнее — не было и физического закона, для демонстрации которого он бы не смог

придумать и собрать жужжащую, поскрипывающую или рассыпающуюся искрами шутовину. Это была уже не просто редкость, а очевидный, хоть и сам собой несколько не кичащийся талант. Лужбину прочили хорошее научное будущее, но он, поразмыслив, выбрал одно из КБ, не самое перспективное с точки зрения профессионального роста, но зато самое щедрое на текущий момент — своя квартира через полгода максимум и более чем приличный оклад прямо сейчас. Это было важно — очень важно. Правда, не для него, а для Ольги, но раз для нее — значит, и для него. Ольга была самым главным и лучшим в жизни Лужбина. Даже больше — она была единственная и лучшая на свете женщина. Других женщин не было вовсе. Во всяком случае — для него.

Лужбин влюбился в Ольгу на первом курсе и, ничем не проявляя своих чувств и с удивительным спокойствием наблюдая за ее бесконечными, хотя и непродолжительными капризами и романами, терпеливо ждал окончания политеха — не потому, что был не уверен в себе, а потому, что хотел предложить действительно самое лучшее. И как только трудовая книжка легла в заветный сейф нужного КБ, Лужбин спокойно отправился сначала в парикмахерскую, потом в цветочный магазин и наконец к Ольге в общежитие, где своим тихим невыразительным голосом сделал предложение, от которого, он был уверен, она не сможет отказаться. И она не отказалась.

Свадьбу сыграли шумную, дорогую — по Ольгиным меркам и запросам, и, приподнимая над взволнованным красивым лицом невесты фату, припорошенную крошечными колючими стразами, Лужбин ни на мгновение не пожалел о долгах, в которые влез, чтобы устроить ей этот праздник в центральном банкетном зале на полторы сотни пьяных, жрущих и по большей части ему не знакомых гостей. И это кружевное белоснежное платье со шлейфом, которое нес тоже не знакомый Лужбину пятилетний мальчик в специально сшитом по такому случаю бархатном костюмчике, больше озабоченный не своими пажескими обязанностями, а очень интересной зеленоватой густой соплей, которую он то выпускал из носа, то ловко втягивал обратно, и фальшивящий ВИА, запросивший за вечер двести рублей, и заливная осетрина — все это было пустячной ценой по сравнению со счастьем, которое ждало их с Ольгой впереди.

Через полгода они получили обещанную квартиру, а еще через три месяца Лужбин расплатился со всеми долгами до копейки. Ольга так никогда и не узнала, что для этого он взял полторы ставки плюс полставки уборщицы и вечерами ловко и споро, как и все, что он делал, мыл у себя в КБ полы, опрастывал мусорные корзины и протирал подоконники, не

переставая улыбаться самыми краями твердого, сильно изогнутого рта. Да и зачем ей было знать? Подумаешь — полы. Лужбин бы сделал ради жены что угодно, честное слово. Что угодно. Убил бы, предал Родину. Ради бога. Она была его Родина. Ольга. Только она. А ее он бы не предал ни при каких обстоятельствах.

В девяносто первом году Ольга бросила его, как бросают в урну липкую обертку от доеденного мороженого, и удрала с заезжим уланом — не то следуя ветреному велению своего литературного имени, не то действительно поддавшись обаянию нездешнего варяга, щедрого, щеголеватого красавца с пышными офицерскими усами, вечно присыпанными красным перцем кстати рассказанного и всегда похабного анекдотца.

Пока жена упаковывала чемоданы (улан деликатно ждал у подъезда в невнятно бурчащем такси), быстро переступая красивыми ловкими ногами пытающиеся спастись вещи, Лужбин молча сидел в углу на неизвестно откуда приблудившейся табуретке, изумленно разглядывая свои трясущиеся руки. Удар, который он пропустил, оказался такой анестезирующей силы, что Лужбин не испытывал даже боли — только тихое, граничащее с безумием недоумение. Как будто коридор, по которому он уверенно шел, чтобы получить заслуженную награду на алой подушке и всеобщий гул радостного одобрения, внезапно закончился безмолвной площадью, в центре которой торчала черная, словно обугленная, виселица да маялся со скуки не проспавшийся после вчерашнего палач в грязноватом, скучном, предрассветном балахоне.

Когда взвизгнула последняя молния на последней сумке, Лужбин все еще пытался понять, что сделал не так, в чем провинился, где совершил жуткую ошибку, которая заставила жену вот так, мимоходом, выдрать из жизни пять лет их счастливого — ну счастливого же! — абсолютно счастливого брака. Ольга попробовала сорвать с насиженного места собственное прошлое, с трудом вместившееся в три разновеликие спортивные сумки и один неприлично раздутый чемодан, не смогла и метнула в Лужбина сердитую пепельно-зеленую молнию — помощи же, растяпа! Он послушно встал, вынес из квартиры вещи, аккуратно устроил на лестничной площадке. Обернулся.

— Дальше я сама, — милостиво разрешила Ольга, запахиваясь, застегиваясь, заматывая вокруг шеи ярко-красный длинный шарф — в апреле в Энске холодно, у нее всегда было слабое горло, и весной и осенью она мучилась от бесконечных ангин, и сонный Лужбин по ночам приносил ей попить разлохмаченный клюквенный морс, она бормотала что-то

хриплым горячим шепотом и засыпала снова, прижавшись к нему всем телом, огненная от жара, влажная, невозможно желанная. Невозможно.

— Оля, — сказал он и сам испугался, услышав свой собственный голос. — Оля, почему?

Она на мгновение честно задумалась — дымчатые, зеленоватые глаза, безжалостно обесцвеченная челка, на щеках живые розовые блики от шарфа, от радости, от жизни, от радости жизни — и просто ответила:

— Потому что я люблю другого человека.

Лужбин кивнул, как будто что-то понял, словно это действительно был неопровержимый аргумент, с которым невозможно поспорить, — ну, конечно, другого человека, а он, Лужбин, выходит, даже не человек. И в этот момент анестезия перестала действовать, и на него обрушилась физическая боль такой грубой непреодолимой силы, что он вслепую закрыл за собой ахнувшую от отчаяния дверь, вслепую пробрел сквозь осиротевшую квартиру, со всего размаху споткнувшись о вякнущую кошку (которая все сборы пряталась неизвестно где и даже не соизволила выйти попрощаться), и, только наткнувшись на табуретку, с которой встал какие-то минуты тому назад, наконец заплакал. Не потому, что ему по одному, с аккуратным хрустом, выламывали ребра, неторопливо добираясь до сердца. А потому, что ушиб больную коленку, потянутую еще две недели тому назад, когда они с Ольгой поехали за город походить на лыжах по последнему тяжелому снегу и заблудились, а потом нашлись и до одури целовались в пролеске, за которым грохотали и вскрикивали полупустые электрички, и он, прижимая Ольгу спиной к сосне и яростно прорываясь сквозь куртку и свитер, губами собирал с ее нежных прохладных скул растаявшую снеговую крупку, уже совершенно весеннюю на вкус, уже совершенно живую, и так неуклюже, по-мальчишески, торопился, что подвернул ногу, и Ольга всю обратную дорогу вперемежку смеялась, и ахала, и жаловалась соседкам по вагону, болтливым, уютным старушкам, что муж у нее теперь инвалид, и как такого бросишь. Никак не бросишь. Люди не поймут.

Когда год спустя кошка бесшумной лапой выгнала из-под дивана маленькую звонкую заколку с синим фальшивым камешком, Лужбин уже оправился настолько, что почти спокойно повертел в пальцах смешную женскую вещицу, которая почему-то привязалась к дому (или к самому Лужбину) и так захотела остаться, что забралась в самый дальний и пыльный угол и целых двенадцать месяцев пролежала там, боясь не то что перевести дыхание — даже сверкнуть. Лужбин поймал заколкой случайный солнечный луч и пустил по стене шуструю игрушечную радугу. Двенадцать

месяцев он с такой свирепой яростью старался забыть жену, что заодно дотла, до невосстановимой пыли, до сытного праха разнес и свою собственную жизнь. Ему больше не было больно. Вообще ни от чего. Совсем. Будешь играть с этим, Матрена? — спросил он кошку, но та только брезгливо дернула сизой шубкой и царственно удалилась. И правильно, — пробормотал Лужбин, — и правильно, лапу только поранишь себе. И с размаху вышвырнул заколку в весеннюю, чирикающую, распахнутую форточку.

Собственно, именно кошка не позволила ему ни спиться, ни чокнуться, ни погрузиться в тупой безрадостный паралич, который так легко разбивает волю самых крепких российских мужиков, стоит в дело вмешаться женщине. Кошку надо было кормить предварительно добытой и отваренной рыбой, менять ей воду — в фарфоровой чашке с отломанной ручкой, и мелко порванные газеты — в старой сковороде, простодушно приспособленной под кошачий туалет. Еще с кошкой надо было разговаривать — приходилось, потому что с уходом Ольги она начала беспощадно драть обои, потрошить диваны — словом, проявлять лучшие стороны своего характера, и все эти мелкие, незначительные хлопоты, забота о бестолковом, невоспитанном и неразумном, по сути, существе, как елей, ложились на заскорузлое человеческое горе Лужбина, незаметно смазывая и напитывая болезненные корки. Когда пришло время, эти корки просто отвалились, и под ними обнаружилась побледневшая, слабая, но совершенно гладкая и живая кожа.

Но прошел еще один год, прежде чем Лужбин понял, что выжил. Выкарабкался. Самое страшное для них с кошкой было позади. Как только Лужбин это понял, он ушел из своего КБ, не слушая рев и мям директора, оплакивающего потерю лучшего сотрудника. Все вокруг занимались бизнесом, у некоторых даже получалось, и Лужбин решил попробовать тоже — в конце концов, все, чем он дорожил, он уже потерял, так что бояться было просто нечего. Поразмыслив, он решил заняться компьютерами — сперва покупкой (пришлось снова влезть в долги), а потом и сборкой. Потеря жены никак не сказалась на лужбинских профессиональных навыках, так что его сборка оказалось не просто дешевле желтой, но и лучше. Денег сперва стало много, потом очень много, а через пару лет Лужбин с удивлением обнаружил, что богат — причем по любым, даже самым капиталистическим меркам. Он подумал — не завязать ли с бизнесом, но червячок внутри, голодный, жалкий, злой, не унимался, и Лужбин решил, что бросать только вставшее на ноги дело — недалековидно. На самом деле он все еще хотел доказать Ольге,

безвозвратно растворившейся неизвестно в каком времени и пространстве, что он лучше. Потому что давным-давно понял, почему она его бросила. Понял, но так и не смог признаться себе самому. Дело было всего-навсего в деньгах. Которых не было у него, которые были у улана, впрочем, может, и у улана тоже не было, во всяком случае, в необходимом Ольге количестве, но деньги — это была сила. Сила, с которой считались и женщины, и мужчины. И теперь частью этой силы был и Лужбин.

Правда, легче от этого не стало. Когда умерла кошка, Лужбин остался совсем один. Ни стремительно развивающийся бизнес, ни уверенным потоком прибывающие деньги, ни увлекательные терки с бандитами, ни первые банковские кредиты — ничто не приносило облегчения и не могло заполнить ужасную пустоту внутри. Лужбин сменил офис и даже сделал ремонт в старенькой квартире — новомодный, в стиле хай-тек, после которого не только ночевать, но даже просто бывать в доме стало невыносимо. Лужбин помучился пару недель и, продав квартиру, перебрался в офис, в пятиметровую комнатку отдыха, притаившуюся позади его директорского кабинета. Диван, кресло, видеодвойка, микроскопический сортирчик, совмещенный с душем, и дюжина сорочек на вешалке — больше у него ничего не было. Как выяснилось, больше было и не нужно. Сорочки отдавала в прачечную секретарша, нерасторопная, но зато некрасивая и немолодая, а заказывать пиццу Лужбин научился сам.

Он очень страдал от одиночества — совершенно физически, как другие мучаются от многолетней мозжащей боли в суставах, и, конечно, спастись от этой боли можно было только теплом — женским или хотя бы кошачьим, но Лужбин, внутренне махнувший на себя рукой, больше не верил ни женщинам, ни кошкам. Раз две — единственные, самые любимые — бросили его одного, стоило ли ждать сочувствия от всех прочих?

Друзья, отчаявшись познакомить Лужбина с сестрами, сестрами сестер и подругами жен (ну что тебе стоит, Вань, просто приходи, она отличная девушка), попробовали пристрастить его хотя бы к порнографии (а то ты рехнешься, парень, видит бог, просто рехнешься!) — благо в Энске появилась целая пропасть ларьков, а то и просто лотков с видеокассетами, и по первому игривому подмигиванию продавец добывал нужную коробочку из россыпи боевиков (говоривших в ту пору с отчетливым китайским акцентом) и мелодрам, в которых хромота нескладного сюжета с лихвой искупалась грандиозностью замысла и количеством оборок на платье главной героини. Порнография стоила вдвое дороже обычного кинокорма, но тоже была родом из девяностых — нелепая, простодушная, с

рыбыми коврами в качестве задника и вечной тенью невозмутимого оператора, которая в самый неподходящий момент ложилась на потную от полового усердия компанию, на мгновение отвлекая взволнованного и тоже взмокшего зрителя от недалекого и такого предсказуемого финала.

Лужбин — чего не сделаешь ради друзей — честно пересмотрел десяток веселых кассет с аляповатыми голыми туловищами на обложках, но не получил даже вполне ожидаемого физиологического облегчения. Увы! Оказалось, что он обладает врожденным и редким даром видеть человеческое даже в самых нечеловеческих вещах. Вместо того чтобы следить за возвратно-поступательным развитием нехитрого сюжета, Лужбин замечал то трогательный, совершенно машинальный и очень женский жест, которым поправляла волосы порноактриса, едва различимая за частоколом вздыбленных членов, а то вдруг какой-нибудь сексуальный красавец со взмокшей от усердия спиной по привычке, которую, видимо, не выбивала даже такая сволочная работа, тянулся губами к губам своей партнерши — доверчиво, почти нежно, но она резко отклонялась, и целую секунду они смотрели в глаза друг другу испуганными, совершенно человеческими глазами, не прекращая при этом своих скотских, нелепых, почти механических телодвижений.

Пару раз, крепко напившись, Лужбин, не приходя в сознание, переспал с какими-то приبلудными деваками, может, даже и неплохими, одна так даже названивала ему пару недель подряд, соблазняя самодельной выпечкой, дармовым сексом и домашним уютом. Но Лужбин представил себе все, что произойдет, когда секс и пирожки закончатся, — надо будет вставать, о чем-то говорить, что-то делать, развлекать малознакомую, в сущности, особу, считаться с ее неинтересным никому (даже ей самой) мнением.

Нет, избавьте.

И на всякий случай он перестал пить вообще.

В 1997 году, спустя шесть лет после ухода Ольги, он все еще был один, но уже совершенно примирился с этим. Правда, комнату отдыха, под нажимом друзей и партнеров, пришлось сменить, но сделка оказалась выгодной — по чистому случаю Лужбин купил большой дом на окраине Энска, заброшенный, старый, так явно, будто человек, нуждавшийся в заботе, что Лужбин не смог устоять и занялся перестройкой, переделкой, ремонтом — словно птица, принявшаяся вить гнездо задолго до того, как нашла себе пару. Дом оказался на удивление отзывчивым, и, возясь с ним, Лужбин, сам того не замечая, начал потихоньку, едва-едва, по миллиметру, возвращать назад свое собственное сердце.

Новый, девяносто восьмой год он встретил уже не один — вдвоем с домом, и это было славное, теплое, давно забытое чувство. В полночь он обошел все комнаты, чокаясь с мебелью, притолоками и подоконниками бокалом, в котором шумно выходила из себя минералка, и лег спать, впервые за долгое время чувствуя себя сильным, здоровым и удивительно молодым.

А наутро впервые увидел Лидочку.

Это было начало новой эры. Он точно знал. Новой счастливой эры, которая будет длиться долго-долго, целую жизнь. И Лужбин был уверен, что на этот раз не ошибся.

Второе свое свидание с Лидочкой он готовил вдумчиво, как не готовил ни одну деловую встречу. Съездил с громадным тортом к Царевым, которых знал сто лет — еще со студенческих стройотрядов, и так долго расспрашивал про Лидочку, что они начали переглядываться.

— Девочке семнадцать лет, Вань, — с едва уловимой тенью в голосе сказала Царева. — Ты, часом, дверью не ошибся?

Лужбин помолчал, взвешивая что-то внутри себя, а потом твердо, будто разговаривал не с Царевыми, а с Лидочкиными родителями, сказал:

— Нет, не ошибся. Я хочу, чтобы она... Нет, не так. Она будет моей женой. И если для этого надо подождать год, десять, двадцать пять лет — не проблема.

Царевы переглянулись еще раз.

— Ну, раз женой, — раздумчиво протянул Царев. — Раз женой, я думаю, надо выпить! Ты как, Вань?

Лужбин улыбнулся — светло, смущенно, радостно, как не улыбался уже много-много лет.

— Выпить — это вы здорово придумали, — сказал он. — Отличная идея. Я обеими руками — за!

Лидочка и правда не узнала Лужбина, который несколько часов караулил ее возле общежития. Она, если честно, и на первой-то встрече едва его запомнила — ну, пришел какой-то знакомый к Царевым, помешал им играть в снежки, скучный, серый дядька с невыразительным лицом. Словно вареная картофелина. Он показался семнадцатилетней Лидочке совсем немолодым, впрочем, ей все люди старше двадцати пяти лет казались жалостными и пожилыми. Лужбин о чем-то тихо переговаривал с Царевыми, то и дело поглядывая на Лидочку с таким странным выражением глаз и губ, что она смутилась, как всегда смущалась при виде

чужих. Когда он ушел, поскрипывая снегом и сунув кулаки в карманы дорогой палевой дубленки, Лидочка обрадовалась и немедленно выкинула Лужбина из головы, да так основательно, что теперь не могла вспомнить не то что отчества — даже имени.

— Э-э-э, — промычала она, помогая Лужбину подняться с тротуара. — Вы не ушиблись?

— Иван Васильевич, можно просто Иван, — отрекомендовался Лужбин, тотчас понявший Лидочкино состояние. Он вдруг осознал, что чувствует ее всю на расстоянии — но не как мужчина, нет, а так, как, должно быть, мать чувствует свое новорожденное дитя.

— Я помню, как же, — соврала Лидочка, извиняясь за этот обман глазами. — Так вы точно не ушиблись?

— Нет, — сказал Лужбин. — Нисколько. Очень приятная встреча, правда? Вы тут живете?

Лидочка кивнула. На бровях и ресницах у нее сияли крошечные живые бисерины растаявшего снега. Лужбин почувствовал, что у него перехватило дыхание.

— Серега, гхм, то есть Сергей Владимирович сказал, вы балерина? Да?

Лидочка засмеялась.

— Нет, что вы! Балериной стать очень сложно, не у всех получается. Это вроде титула. Танцовщиц много, балерин — единицы. Я просто в хореографическом учусь.

— Любите танцевать? — спросил Лужбин, и по лицу Лидочки пробежала длинная темная тень, мгновенно слизнувшая и блеск в глазах, и улыбку.

— Да, очень, — снова соврала она — но на этот раз не из вежливости, а чтобы отвязаться.

Сейчас уйдет, понял Лужбин, лихорадочно хватая то один, то другой обломок стремительно разваливающегося разговора.

— У вас скоро премьера, правда? Я не очень разбираюсь, честно говоря, но хотел бы, если можно...

Он жалко развел руками, не зная, что сказать. Глаза у Лидочки чуть потеплели.

— Конечно, можно, — сказала она. — Спектакль первого февраля, думаю, билеты есть еще. Но если хотите, я могу достать контрамарку.

— Я куплю! — заверил Лужбин. — Непременно куплю.

Но Лидочка так и не улыбнулась.

— До свидания, — сказала она и пошла к дверям общаги, стараясь не

замечать, как Лужбин смотрит ей вслед. Спать, спать. Завернуться в одеяло — и спать. А проснусь — и Алешенька уже приехал!

Ночь накануне премьеры Лидочка не спала и весь день, до самого вечера, не могла утомонить мелко прыгающую под левым веком злую жилку — первый предвестник будущего серьезного тика, это ничего, ничего, Лидка, главное, не сбейся, причитала Большая Нинель, собственноручно укладывая Лидочке волосы в гримерке. Лидочка, осунувшаяся, желтая, будто только что выписавшийся тяжелый больной, кивала, не понимая ни единого слова. Из зеркала на нее смотрела страшная восковая кукла, с трудом поднимающая громадные, как бабочки, наклеенные ресницы. Премьера не волновала ее совершенно — больше всего Лидочка боялась, что не увидит Витковского. Я тебя люблю, я тебя люблю, люблюлюблюлюблюлюблю, бормотала она внутри себя, репетируя.

Мигнула лампочка «На сцену», и Нинель оправила на Лидочке корсаж. Все, пошли, девка. С Богом. Лидочка встала. Только не сбейся, ладно? — еще раз умоляюще простонала Большая Нинель, нашаривая в просторной сумке тубу с валидолом. Не собьюсь, — пообещала Лидочка и, громко, отчетливо стуча пуантами, пошла в левую кулису.

Первый акт она станцевала превосходно, так что приглашенные Большой Нинель московские гости, сидевшие на лучших для обзора местах лучшего ряда, только блаженно складывали губы, будто растирая по небу нежные лопающиеся бусинки зернистой икры. Зал был полон — чего в Энском театре не случилось до обидного давно, а Лидочка — необыкновенно выразительна и так же необыкновенно технична, правда, после сцены безумия, вылетев за кулисы, она простонала: «Тазик!» Но Большая Нинель оказалась на высоте и, что куда важнее, — на подхвате, так что Лидочку дважды вырвало желчной пеной в вовремя подставленную емкость, и публика получила свою нежную тающую танцовщицу назад, благо, ароматы пота и рвоты никогда не достигают даже партера.

Перед вторым актом надо было переодеваться — белоснежная шопенка, гладкая прическа, деревенской дурочке предстояло переродиться в ведьму, но Лидочка думала совсем о другом. Витковского так нигде и не было! «Вы не видели, Нинель Даниловна...» — начала она, и Большая Нинель заходила ходуном, как взбесившаяся опара. Видела, видела, Лидка, все из Большого тут, все кто нужно, чтоб решение принять. «Ты не кобенясь, но и не продешеви. Тебе цены нет, они это уж поняли, а надо, чтоб и ты поняла. — Нинель судорожно вздохнула. — А как уедешь, меня, старую, вспоминай! Обещаешь?» Большая Нинель неожиданно прижала круглую и глянцевою Лидочкину головку к своей обмякшей груди и

заплакала слабыми, даже не детскими, а щенячьими слезами. Лидочка вывернувшись из громадных душных объятий и выскочила из гримерки.

Она даже не бежала, ее несло, как несет ветром лист папиросной бумаги, — трепетали полупрозрачные слои пачки, плыли навстречу сумеречные лампы, неслись вдогонку тени балетных призраков, и если бы не страшный стук сердца и пуантов, Лидочка и впрямь поверила бы, что на самом деле умерла и обернулась вилиссой. Судя по гулу зрительного зала, до начала второго акта оставалось совсем немного времени, Лидочка свернула, еще раз свернула и наконец под пыльной лестницей увидела огонек контрабандной сигареты и услышала тихие голоса, один из которых узнала бы даже во сне, даже мертвая. Она остановилась, успокаивая дыхание и вглядываясь в неверный полумрак. «Давай беги, старик, твой выход скоро», — сказал голос Витковского, сигаретный уголек погас. Лидочка сделала еще шаг вперед, надеясь, что не видимый ей танцовщик заметит ее и уйдет, — и тотчас зажмурилась от ужаса, невозможного, невыносимого, такого, что не может выдержать живой человек. Ялюблютебяялюблютебя — колотилось у нее в голове, ялюблютебя, ялюблютебя, я...

Это неправда, успокойся. Это неправда.

Лидочка открыла глаза. Принц Альберт и Витковский целовались. Она видела их совершенно отчетливо, особенно закрытые глаза Витковского, его темные, чуть загнутые, как у отличницы, ресницы, и красивую мальчишескую руку с косточкой на широком запястье, которой он поглаживал выпуклую задницу Лидочкиного партнера.

— Я люблю тебя! — вдруг закричала Лидочка так громко, что сама испугалась. Витковский вздрогнул и открыл затуманенные, будто парным молоком налитые глаза.

— Ты что здесь делаешь, старуха? — спросил он смущенно, отталкивая от себя принца. Принц обернулся и смерил Лидочку негодующим взглядом.

— Что за манеры, — процедил он недовольно. — Почему не на сцене? Наберут соплячек из училища, а мне с ними ковыряться.

Он потрепал Витковского по шее и прошел мимо Лидочки, напрягая разом ноздри и длинные брыла, будто рассерженная лошадь.

Лидочка так и осталась стоять под лестницей, уронив тонкие руки, потонувшие в воздушной пачке. Рот у нее безвольно приоткрылся, будто у слабоумной.

— Ну ты что, старуха, ты чо! Маленькая, что ли? — бормотал Витковский, потирая ладонями локти и морщась, будто у него нестерпимо

болели суставы.

Лидочка помолчала и повторила единственную фразу, которая все еще звенела у нее в голове:

— Я люблю тебя.

На красивом лице Витковского на мгновение мелькнула жалость, за которую, должно быть, Бог прощает людям многие преступления. Многие, но не все.

— Лид, — сказал он, впервые называя Лидочку по имени. — Лид, ты что, правда не знала? Я гей, понимаешь. Мне вообще никогда бабы не нравились, ни разу в жизни, веришь?

— А как же... А зачем же ты... со мной?..

— Ты прикольная, танцуешь хорошо, — Витковский виновато улыбнулся своей почти детской, честной улыбкой. — И потом ты ко мне единственная из девок не лезла! Меня же тошнит от девок, как ты не понимаешь!

Лидочка, как механическая, повернулась и пошла в сторону сцены.

— Ты не говори только никому, ага? — крикнул Витковский ей вслед и, вздохнув, достал из пачки еще одну сигарету. Все равно всем разболтает. От этих баб — одни беды.

Не зря говорят, что профессиональные навыки угасают последними — второй акт Лидочка станцевала так же безупречно, как и первый, а ее застывшее мертвое лицо — лицо умершей и превратившейся в ведьму вилиссы — отметили в своих рецензиях все критики — как большую творческую находку, неожиданную в арсенале столь юной и столь многообещающей балерины. Жаль, что никто не обратил внимание, что с тем же мертвым лицом Лидочка вышла и на поклонь, так что принц Альберт, сжимавший ее ледяную влажную ладонь, незаметно, но ощутимо ткнул Лидочку локтем под ребра. Улыбайся, дура! — прошипел он, растягивая в благодарном оскале накрашенный рот. У-лы-бай-ся! Лидочка его даже не услышала — как не услышала ни оваций, ни криков «браво!». Ее поразила странная слепоглухонемота, не позволившая ей увидеть в рукоплещущем зале ни ликующих Царевых (Вероничка даже попыталась влезть ногами на кресло, но ее зашикали), ни Галины Петровны, ни Лужбина, протиснувшегося к сцене с громадной корзиной белых роз, от которой балетоманы чуть не захлебнулись ядом — какое жлобство, вы только подумайте! Какое жлобство! Лужбин поставил корзину прямо Лидочке под ноги, попытался поймать ее взгляд, но не сумел и тотчас стал проталкиваться сквозь гомонящую публику назад.

Все хотели поговорить с Лидочкой, взять у нее интервью, поцеловать

ей руку, выразить свое восхищение, но едва закрылся занавес, как она исчезла, словно ее и не было, так что желающим пришлось довольствоваться Большой Нинель, которая от пережитого волнения и тайно выпитого коньяка в конце концов сама поверила в то, что это она, в свои семнадцать лет, так волшебю, так неистово, так упоительно станцевала первую в жизни «Жизель».

Лужбин подогнал машину к черному ходу и, поставив двигатель на прогрев, вышел из салона. Было так пронзительно, звеняще холодно, что казалось, что сам этот звонкий звук мороза издают звезды, огромные, колючие, низко-низко нависшие над ночным Энском. Лужбин знал и ждал, что Лидочка выйдет, словно ему заранее сказали об этом, но все равно пропустил момент ее появления, как будто она не вышла из двери, а возникла из седых клубов его собственного дыхания — тоненькая, голорукая и голоногая, в белом невесомом платье, которое, как ему показалось, на этом страшном морозе мгновенно застыло и тоже тоненько, жалобно зазвенело — как звезды, как воздух, как его собственное сердце.

Несколько секунд Лужбин смотрел на Лидочку, словно не веря, что она настоящая, а потом, на ходу срывая с себя дубленку, бросился к черному ходу.

Они долго ездили по ночному Энску на машине, просто катались, и Лужбин впервые в жизни осознанно радовался тому, что заработал кучу денег, потому что в новенькой «вольво» было тепло и хорошо пахло, уютные мягкие сиденья ласкали спину и уютная мягкая музыка удачно заполняла молчание. Лидочка так и не сказала, что случилось, она вообще ничего не сказала, но и не плакала, а потом перестала и мелко дрожать, и когда стало светать, даже слегка шевельнулась, устраиваясь поудобнее, и Лужбин понял, что кризис — каким бы он ни был — миновал, и можно сказать что-нибудь, главное — придумать, что именно. И с прозорливостью влюбленного и взрослого человека Лужбин сказал именно то, что нужно. «Хотите за город, Лидия Борисовна? У меня чудесный дом, старый. Сосны, воздух свежий. Отоспитесь, успокойтесь, а потом я вас отвезу, куда скажете».

Лидочка вскинула на него благодарные глаза и несколько раз кивнула головой, все еще украшенной белоснежным, страшным венчиком вилиссы.

Сосны были такие, что она видела их, даже не открывая глаз, — великолепные, наглые, воткнувшие тугие розовые тела прямо в низенькое, косматое энское небо. Пахло смолой, близким крупным снегом и

подступающими сумерками, неясными, тихими, полными торжественного, почти колокольного собачьего перезвона.

Лидочка, по самое горло закутанная в клетчатый плед, сидела на террасе. Она проспала почти весь день, а проснувшись, обнаружила, что ее шопенка висит на плечиках, а в изножье кровати лежат аккуратно сложенные мужские джинсы и свитер. Конечно, рукава придется подвернуть, — пробормотал Лужбин, вскакивая, когда она вышла в гостиную, придерживая двумя руками спадающие джинсы, — а портки — это мы мигом... Он достал откуда-то ремень, шило, огромные портняжные ножницы и быстро провертел в ремешке нужные дырочки. А потом встал перед Лидочкой на колени и с аккуратным, осторожным хрустом обрезал джинсы так, чтобы они не волочились по полу. Руки у него мелко, но заметно дрожали.

Он напоил Лидочку бульоном, крепким, огненным, и долго извинялся, что из кубиков, зато горячий, Лидия Борисовна, готовить я не силен, уж простите, зато все остальное умею, не сомневайтесь. Давайте я вам дом покажу, а? Тут многое, конечно, не доделано, но в общем и целом... Лидочка поставила на огромный стол чашку и оглядела просторную кухню. Покажите, пожалуйста.

Дом оказался почти такой, как она мечтала, может быть, даже лучше, а главное, здесь было спокойно, так спокойно, что Лидочка вдруг поверила, что все события прошлого вечера, да вообще — вся ее прошлая жизнь — просто кошмарный сон, дурной морок, от которого она начинает медленно оправляться. Лужбин водил ее из комнаты в комнату, размахивая руками и горячась, а потом вытащил на террасу кресло-качалку, выдал Лидочке маленькие, почти детские валенки (тут в кладовой были, я не стал выбрасывать, жалко) и сам закутал Лидочку пледом. Вы посидите немножко, подышите, а я вам чаю принесу. Я чай хорошо завариваю, не волнуйтесь.

Лидочка уперлась валенком в доски террасы и легонько качнула кресло. Последний раз ее любили в пять лет — родители, — и она совсем забыла, как это бывает. Царевы были не в счет: по уши напичканные правильной советской моралью, полупереваренным самиздатом и природным добродушием, они любили всех подряд — родину, синиц, Энск, Солженицына, друг друга. Лидочка терялась в этом засахаренном вихре всеобщего неразборчивого обожания — это было все равно что греться в куче полужнакомых шевелящихся человеческих тел. Очень тепло, немного противно и совершенно безадресно. А вот Лужбину нравилась именно она, это было ясно даже по тому, как он нес ей чашку с чаем, как смотрел, как

она пила, непроизвольно вытягивая губы, точно стараясь помочь или боясь, что она обожжется. Он заботился о ней. И это оказалось невероятное чувство — когда о тебе заботятся. Теплое.

Лужбин, словно притянутый этими мыслями, заглянул на террасу.

— Ничего не нужно? — спросил он. — Вы, наверно, проголодались? Можем съездить куда-нибудь поужинать.

И он даже слегка втянул голову в плечи, боясь отказа.

— Иван Васильевич, отнесите меня, пожалуйста, в дом, — попросила Лидочка.

Лужбин посмотрел на нее почти с животным ужасом — словно дворняга (тощая, вся в обручах голодных ребер), со щенячества привыкшая получать только окрики да тяжелые пинки и теперь не узнающая ласковую человеческую руку.

— В дом? — переспросил он хрипло.

— Да, пожалуйста, — повторила Лидочка и протянула ему выпростанные из-под пледа руки.

Лужбин неловко подхватил ее, и Лидочка машинально, как на поддержке, напрягла мышцы, чтобы облегчить партнеру нелегкую лирическую участь. Она была «удобная» балерина и никогда не висла на руках танцовщика безучастным грузом, безвольным суповым набором из жил, костей и колючего наэлектризованного капрона, который следовало вознести на вытянутых руках в ликующую высь — поближе к пыльному театральному потолку, искусственным звездам и сонным мордам осветителей, навеки охреневших от нескончаемых потоков прекрасного. Но Лужбин не заметил Лидочкиных мускульных стараний, пораженный ее эльфийской невесомостью — даже в валенках, даже по-кукольному закутанная в плотный плед, она едва весила сорок пять килограммов.

— Какая легонькая... Как цветок, — пробормотал Лужбин, прижимая Лидочку к себе, как прижимают больного ребенка, ослабевшего, горячечного, полуобморочного от ночной несусветной температуры. Как будто отправляешь в больницу десятилетнюю дочку.

Три шага до входной двери. Четыре невидимых, тряских лестничных пролета — впереди угрюмая спина уставшего врача, не уронить, не уронить, не... чшшш, потерпи, солнышко, сейчас все пройдет. Бессильный пинок подъездной двери — придержать плечом, чтоб не стукнула, не задела. Распахнутая задница старенькой скорой, ледяное, дрожащее нутро. Не плачь, зайчика, папа рядом. Он никогда тебя не бросит. Я никогда тебя не брошу. Слышишь? Никогда.

Лидочка, словно услышав этот страх, вдруг обняла Лужбина за шею,

ткнулась носом куда-то между ключицей и плечом так, что он почувствовал совсем близко, почти на своей коже, ее нежные, прохладные губы.

— Лидия Бо... Лидушка, — сказал он сдавленно, прижимая ее к себе.

Один маленький валенок упал еще на террасе, второй — в гостиной, но оба они этого не заметили, пораженные тем, что оказались так близко друг другу, — еще несколько часов назад совершенно чужие друг другу, едва знакомые люди.

А потом у Лужбина вдруг оказалось сто рук, и все сто были одновременно всюду, путаясь в пуговицах, рукавах, каких-то неожиданных лямках. И еще он все время бормотал — девочка моя, девочка, девочка, девочка моя — мягкими, горячими, мокрыми губами, и губы тоже были всюду, так что зажмурившейся Лидочке на секунду показалось, что Лужбин сейчас просто проглотит ее — всосет с тихим чмокающим звуком, будто макаронину, пропитанную жирным сырным соусом. Она попыталась было помочь, но честно не знала, что нужно делать, и потому просто, как ребенок, поднимала руки и сгибала колени, чтобы было удобнее стягивать никак не прекращающуюся одежду, а Лужбин все бормотал — девочка, девочка, — и тут одежда на них двоих наконец закончилась, и Лидочка вдруг всей кожей ощутила чужое голое тело — горячее, тяжелое, местами неприятно колючее, словно шерстяное.

От страха и неожиданности она открыла глаза и в миллиметре от себя увидела лицо Лужбина, почти сумасшедшее от непонятного ей напряжения, с распухшими, будто размытыми, расплывшимися губами. Лидочка поймала взглядом громадную морщину на мокром лбу, рыжеватую щетину, невидящие зрачки, щетку коротких бесцветных ресниц, слюну, кипящую в уголке шевелящегося рта — и тут же зажмурилась снова, вся покрывшись мгновенной сизой пупырчатой гусиной кожей.

— Холодно? — испуганно прошептал Лужбин, ощутив под ладонями быстрые твердые Лидочкины мурашки, и на миг перестал тискать и вымешивать ее, словно вынутое из ледника тесто.

Лидочка, не открывая глаз, отрицательно закрутила головой — балетная шишка, растеряв последние шпильки, рассыпалась, и губы Лужбина зарылись в теплые, живые, гладкие волосы, слабо пахнущие сосновым воздухом, свежими огурцами и смешной, щекотной табачной крошкой. Лужбин тихо ахнул, словно захлебнулся этим ароматом, и завозился еще сильнее, но на этот раз Лидочка наконец уловила вектор его торопливых устремлений, и сразу стало легче, как будто в беспорядочном наборе нескладных движений появился осмысленный рисунок — уродливый, хаотичный, но все-таки — понятный. Почти танцевальный.

«Зато у меня будет дом», — некстати подумала Лидочка и послушно, как в классе, развела на плие тренированные колени.

Лужбин приподнялся над ней на вытянутых судорожных руках, перекошенный, зажатый, страшный, и Лидочка — испытывая отвратительное, дикое, тесное ощущение чего-то инородного внутри себя — вдруг ясно-ясно увидела лицо Витковского — веселое, родное, прекрасное, с маленькой родинкой на твердой горячей скуле — и не выдержала, все-таки заплакала. Тут Лужбин весь как-то перекособочился, напрягся, так что Лидочке стало страшно, что он умрет и ей придется бог весь как добираться до города — вечером, зимой, по заснеженным, сказочным, горам и долам, синим, лиловым, совершенно безмолвным. Она попыталась высвободиться, но Лужбин детским, почти плачущим голосом простонал — господи, я больше не могу-у! — а потом дернулся, и еще раз, и еще. И Лидочка поняла, что все кончилось.

В темнеющей спальне пахло потом и еще чем-то застывающим, незнакомым, странным. Лужбин сидел на краю постели, свесив ноги, рыжеватые, будто в шерстяных колючих чулках, и даже по его голой ссутуленной спине было ясно, что случилось что-то ужасное. Лидочка, которая опять не знала, что нужно делать, на всякий случай так и осталась лежать на спине, не шевелясь, и только вытерла слезы и свела вместе распахнутые колени — как будто бабочка сложила тонкие смуглые крылья.

— Тебе больно? — спросил Лужбин, не оборачиваясь и впервые обращаясь к Лидочке на «ты», как будто пот и все их смешавшиеся жидкости дали ему право на особую близость. Голос у него был скомканный, словно несвежий носовой платок.

Лидочка честно прислушалась к себе — немножко ноет травмированный мениск (верно, снег уже пошел или начнется с минуты на минуту) да странное круглое ощущение между ног, будто туда со всего размаху ударили кулаком или пришлось долго, целую вечность, скакать верхом. Вот танцевать на концерте на окровавленных, до мяса стесанных пальцах, когда подруги подсыпали ей стекло в пуанты, — это была боль. Лидочка вспомнила волну электрического, живого кипятка, в которую по щиколотку опускалась при каждом кружевном прыжке, и тихо сказала: нет, не больно.

— Прости меня, пожалуйста, — попросил Лужбин, как будто действительно сделал что-то ужасное. — Все должно было быть не так. Понимаешь, не так!

Лидочка промолчала.

Лужбин вдруг обернулся к ней всем телом, так что она увидела у него

между ног то, что не успела да и не хотела ни рассмотреть, ни понять, и тут же испуганно отвернулась. Он тотчас понял и, сильно покраснев, потянул на себя край скомканного одеяла.

— Выходи за меня замуж, — сказал он тихо. — Умоляю. Выходи, пожалуйста.

Свадьбу сыграли в июне, как только Лидочке исполнилось восемнадцать (условие Галины Петровны) и сразу после выпускных экзаменов в училище (условие Лужбина, упросившего Лидочку не бросать учебу, довести дело до конца, а потом «что хочешь, что хочешь, милая, честное слово»). У Лидочки условий не было — по крайней мере, выполнимых. Конечно, она бы предпочла тихую регистрацию в загсе, но бизнес Галины Петровны и Лужбина требовал соблюдения всех купеческих политесов, так что Лидочке пришлось выдержать и выписанное из Парижа платье, и лимузины с пупсами, и Вечный огонь, и банкет. Лужбину тоже было тошно от воспоминаний о прежней свадьбе, пусть и не такой богатой, но такой же нелепой. Но больше всего его мучило то, что Лидочка его не любила. Не любила, он чувствовал. Он понимал, что поторопился, и еще лучше понимал, что не торопиться было нельзя. Стерпится-слюбится, — сказала какая-то бойкая бабенка в загсе, глядя, как Лидочка, едва шевеля бледными губами, произносит «да». Вранье, — отрезала Галина Петровна с такой злобой, что бабенка отшатнулась, испуганно распустив неровно накрашенный аляповатый рот. Галина Петровна, едва дождавшись конца церемонии, подошла к Лидочке, дернула за руку, словно хотела оторвать, и зашептала ей прямо в лицо, яростно, словно шипела.

— Вот что, девочка, я перед тобой виновата, не спорь, виновата, и ты даже не знаешь как. — Галина Петровна на мгновение перевела дух и вспомнила красавицу-бабку, к которой ходила, едва родив Борику, дура, ой, дура, и ведь некому было сказать, что дура! Бабка ведь по-честному сказала — а что ж ты не спросишь, кто платить будет, милая? И главное — чем? Все ведь на детей ляжет, на внуков. Галина Петровна закрыла глаза и услышала свой голос — ну и пусть платят, мне-то что? Бабка снова засмеялась внутри ее головы страшными ровными зубами и сказала — вот молодец, люблю!

Лидочка смотрела непонимающе, бледная, бледнее своего платья, только бриллианты на шее и в ушах горят живым, хищным, баснословным огнем. Галина Петровна не пожалела, не пожадничала — подарила внучке на свадьбу свои лучшие камни. Но не полегчало.

— Если невеста не сможет или молодого захочешь — не терпи,

слышишь? Не доводи себя до греха. Бросай мужа, живи, как считаешь нужным.

— Я не понимаю, — честно призналась Лидочка.

— Ничего, скоро поймешь, — пообещала Галина Петровна и неожиданно засмеялась странным, коротким, почти рыдающим смехом. Как будто поперхнулась Лидочкиной свадьбой и теперь никак не могла откашляться.

— А от меня еще один подарок будет — жди, — наконец сказала она и, быстро повернувшись, вышла из загса.

Когда нескончаемая свадьба все-таки закончилась, Лужбины уехали домой, за город, и обоим сразу стало легче. Лето выдалось неожиданно удачным, теплым, и Лидочка с Лужбиным, неустанно занимаясь хозяйством и домом, осторожно, едва прикасаясь, сближались друг с другом, так что к августу Лужбин, услышав, как жена негромко поет на кухне, сочиняя ужин, даже поверил: Лидочка полюбит его не просто когда-нибудь, а очень и очень скоро.

Когда Галина Петровна звонком вызвала его к себе в банк, он даже растерялся. Общих финансовых дел с вдовой Линдта Лужбин не имел и иметь не собирался принципиально, а о самочувствии можно было справиться и по телефону. Но ссориться с единственной родственницей жены было неблагоразумно, и Лужбин, бросив все дела, приехал, когда и куда было велено. Галина Петровна ждала его в огромном кабинете, и Лужбин в очередной раз поразился тому, какая она красивая, ненормально красивая и моложавая для своих лет. Неприятно. Рядом с ней лебезил какой-то пронирыливый типчик, похожий на истасканный и обсусленный собакой тампон.

— Вот, — сказала Галина Петровна, не здороваясь. — Покупатель на ваш дом. Деньги дает хорошие, въехать хочет к осени, то есть — быстро.

— Что, — не поверил своим ушам Лужбин. — Какой покупатель? Какой дом?

— Ваш дом, — повторила Галина Петровна. — Что тут непонятного?

— А мы? — Лужбин все еще ничего не понимал.

— А вы поедете в Москву.

— Но почему в Москву? — Лужбин даже разозлиться не мог, настолько все происходящее было нелепым.

— В Москве — Большой театр, идиот. — Галина Петровна взяла со стола кипу каких-то бумаг и встряхнула. — Вот, видишь, лауреаты, делегаты, еще какие-то ебанаты и прочие деятели искусств. Все пишут петиции — Лида должна танцевать, в Большом яйца на себе грызут, что она

к ним не приехала. У нее талант, говорят, что огромный — вторая Павлова, бла-бла-бла. — Галина Петровна еще раз встряхнула бумаги и брезгливо передернулась. — Ненавижу балет. Гадость. Но ничего не поделаешь.

Она помолчала, они все помолчали, только человек-тампон нервно похрустел пальцами.

— На квартиру вам вроде хватит, мало будет — добавлю. С бизнесом — тоже помогу. Это мой Лиде последний подарок, — сказала наконец Галина Петровна. — Надеюсь, теперь я с ней рассчиталась. Все, свободен, пиздуй.

Лужбин развернулся и вышел вон. Балет он тоже не любил. Но заживать талант жены был не намерен. Он хотел было вернуться в офис, но передумал и поехал сразу за город. Лидочка, как всегда, была на кухне, из которой ползли, смешиваясь, длинные волны волнующих ароматов.

— Лидуша! — закричал Лужбин с порога. — Это я!

Лидочка выглянула — в коротком сарафане, с розовыми от плиты щеками, она казалась совсем девчонкой — какие там восемнадцать лет. От силы четырнадцать.

— Ты что так рано? — спросила она испуганно. — Случилось что-то?

— Нет, — сказал Лужбин. — Вернее, случилось, но хорошее. Галина Петровна, как и обещала, делает тебе подарок.

Лицо Лидочки изменилось еще больше, и Лужбин неожиданно почувствовал, что делает что-то ужасное, непоправимое, может быть, самую большую ошибку в своей жизни.

— А чем пахнет так вкусно, — спросил он. — Голова просто кругом — такой аромат.

— Королевский суп и венские колбаски, — неохотно ответила Лидочка. — Так что Галина Петровна? Что за подарок?

Лужбин набрал полную грудь воздуха и признался:

— Мы переезжаем в Москву. Ты будешь танцевать в Большом, там ждут уж, даже репертуар готовят.

Лидочка молчала, и лицо у нее медленно мертвело, застывало, как восковая отливка, превращаясь в гримасу мертвой вилиссы, в личико девочки в пачке, окаменевшей на морозном крыльце ночного театра. Лужбину даже показалось, что от нее потянуло холодом — тем самым, ужасным, звенящим изнутри.

— А дом? — спросила Лидочка.

— А дом продадим, собственно, считай, уже продали. Завтра подпишем бумажки, и можно паковаться.

Лидочка помолчала еще минуту и ровным голосом сказала:

— Хорошо. Раздевайся, мой руки и будем обедать.

Среди ночи Лидочка проснулась, словно от толчка, и долго не могла осознать, что за человек лежит рядом — короткостриженный белесый затылок, глубокая морщина на шее, мерно вдыхающее и выдыхающее одеяло. А вот дом она узнала сразу, даже не успев открыть глаза. Он был в точности такой, как она мечтала, только лучше — совсем родной. И он хотел попрощаться.

Лидочка осторожно села, нашарила ногами пушистые тапочки — слишком новые, непривычные, как пижамка со смешной аппликацией, как обручальное кольцо, как вся ее теперешняя жизнь, на которую возлагалось столько надежд, что, конечно, ни одна и не могла сбыться. Лидочка тихо прошла по темным комнатам, не ошибаясь, не путаясь — этот дом она заранее знала наизусть без всякого света, вот этот смоляной наплыв под ласкающей ладонью, эту приветливо пискнувшую половицу, этот запах — сонное и чистое дыхание ее будущего, и лестницу на второй этаж, поющую негромко, но чисто, словно старенькая учительница пения, износившая за жизнь слабенькие голосовые связки, но все еще влюбленная в музыку — неразделенно, робко, только для себя самой.

Лужбин, конечно, многое переделал — но удивительно ловко и хорошо, не потревожив ни сущности, ни сути самого дома, и Лидочка, обойдя три совершенно новые, недавно пристроенные комнаты, тихо порадовалась, какой муж молодец и как правильно он все устроил, особенно вторую, заднюю террасу, выходящую прямо в лес, так что можно было, сбежав утром по ступеням, нарезать к завтраку живых, не садовых цветов, а со временем, может, и грибов на свежую жареху — они ведь собирались приживить поближе к крыльцу рыжики и лисички, а что — очень даже запросто, главное, набраться терпения и не связываться с белыми, они капризные и даже в такой условной неволе умирают. Еще планировалось приручить белок, Лужбин говорил, что в лесу их полным полно, и Лидочка заранее беспокоилась, что у белок выйдет конфликт с кошками — очень может быть, что и вооруженный, но зато детям от белок будет большая радость. Лужбин только смеялся, потому что ни детей, ни кошек и в помине пока не было, да и белки, Лидушка, что-то не очень-то к нам пока рвутся, сама видишь. Но ты не расстраивайся, как закончим перестраиваться, тогда и набегут. Все скопом. То-то напущат твоим будущим кошкам шубки! Лидочка смеялась в ответ, неумело, все еще стесняясь, и Лужбин, неудобно прижимая ее к себе, бормотал, словно заклинание — ялюблютебягосподибожемойкакжеятебялюблю. Он смешно

звал ее — Лидушка, и выходило почти так же ласково и весело, как родительская Барбариска. Она бы, конечно, привыкла. Совершенно точно — привыкла бы, Лужбин был хороший парень, а Лидочка умела отличать хорошее от плохого. Но выходила замуж она все-таки не за Лужбина, а за этот дом.

Лидочка погладила свежеструганную, гладкую балясину террасы — теплую, совершенно человеческую на ощупь, и дом вздохнул, принимая ласку, примеряясь к разлуке и одновременно примиряясь с ней. Было не темно, а словно сумеречно, и Лидочка, стоя в теплом, полупрозрачном киселе неяркой северной ночи, вдруг заплакала — осознанно, как не плакала уже давным-давно. В страшном балетном мире, где она выросла, слезы были самой простой, ежедневной, обыденной вещью и потому не стоили почти ничего. В училище плакали все — от боли, к которой никак не удавалось привыкнуть, от унижения, потому что без унижения нет балета, от страха, что отчислят, от обиды, от ярости и снова от боли, и каждодневность этих слез лишала их всякого значения и смысла, превращая в обычный физиологический акт, что автоматически исключало и страдание, и сострадание. Нынешние слезы были совсем не такие — тяжелые, медленные, они были такими настоящими, что Лидочке казалось, будто они даже слегка дымятся.

Она плакала долго, пока не поняла, что и это совершенно безнадежно — все решено, поэтому надо умыться, высморкаться, вернуться в постель, дотерпеть до рассвета и собственноручно укладывать вещи, готовиться к отъезду в Москву, о которой все мечтали и которая была для Лидочки просто плоской картинкой из детской книжки, ничего не значащей, бездушной, аляповатой. Надо было продолжать жить и танцевать. Господи — снова танцевать!

Лидочка вернулась в дом, вошла, не потревожив ни одной половицы, в ванную комнату, тоже пристроенную и устроенную Лужбиным, — просторную, с деревенскими половичками, плетеной корзиной для белья и ультрасовременной сантехникой, которая ловко притворялась старомодной — одна только круглобокая ванна на гнутых ножках стояла целое состояние. И еще тут было окно — самое настоящее большое окно, которое Лидочка немедленно распахнула, впустив к себе несколько старых, совершенно одичавших яблонь и призрак бывшего будущего сада, который она собиралась разбить уже следующей весной, — яблони, груши, непременно парочка слив и даже вишня — песчаная и войлочная, они очень хорошо зимуют, и варенье вкусное, и на пироги, а когда пойдут внуки... Лидочка осеклась и обвела ванную комнату потерянными глазами.

Какие внуки.

Уже через неделю здесь будут жить совершенно чужие люди.

Она зачем-то открыла шкафчик, пересчитала глазами баночки и флаконы — по большей части лужбинские, и зацепилась взглядом за бритвенный станок, старый, еще советских времен, с тяжеленькой костяной ручкой и сменными лезвиями. Папа когда-то таким брился. Лидочка улыбнулась слабости Лужбина к старым вещам, которые он жалел, будто они были живыми, — это была еще одна точка соприкосновения, спящая почка, из которой со временем могла вырасти хорошая крепкая ветка. Может быть, даже любовь. Но для этого нужен был дом. Этот дом. Ее дом.

Лидочка захлопнула шкафчик и открыла горячую воду, туго и хрипло ударившую о дно ванны. Надо выкупаться. Надо ехать. Надо танцевать. Надо. Надо. Надо. Ей даже не пришло в голову, что она может отказаться. Просто сказать: нет, мы никуда не поедem. Я не буду. Просто не хочу. Но Лидочка с детства попала в балет, где «нет» употребляли только в паре с повелительным залогом. Нет, ты это сделаешь! Нет, ты прыгнешь. Нет, сможешь. Это было совсем не такое «нет», но других Лидочка просто не знала.

Она скинула пижаму и взглянула на свое отражение в огромном, почти до потолка, зеркале холодными оценивающими глазами, будто рассматривала чужого, неприятного человека — вывернутые ступни, костлявые руки, грубые, обглоданные голодом и упражнениями мослы бедер, сухие крепкие мышцы легкоатлета под некрасивой желтоватой кожей. Агрегат для производства нелепых телодвижений. Уродина. Дура. Жалкая, уродливая дура.

Она и в самом деле не видела ничего, что сводило с ума Лужбина и заставляло других мужчин провожать ее почти испуганными от восхищения глазами, — ни едва заметной, но такой прелестной груди, ни родинки на хрупкой высокой шее, ни вьющихся, высоко подобранных волос, ни линии плеч — чистой и выразительной, как поздние стихи Георгия Иванова, уже безнадежного, умирающего, горького. Пришли соленых огурцов и, если найдешь, русскую селедку. Жорж очень просит. Ему стало хуже.

Лидочка машинально оперлась на край раковины, точно на балетный станок, и тело ее, вымуштрованное, совершенно чужое и ненавистное, тотчас приняло знакомую позицию, так что Лидочка и сама не поняла, как распрямилась еще сильнее и с механической ловкостью одержимой бесами вдруг необыкновенно изящно и быстро сделала батман тандю с первой и пятой позиции по всем направлениям, а потом бросила вбок великолепный

гранд батман и снова застыла перед зеркалом с восковым приветливым лицом, точно ожидая аплодисментов. Она проделала это так быстро, что сама испугалась, словно и впрямь — впервые в жизни — ощутила над собой ужасную, внешнюю, демоническую власть, способную в любой момент согнуть ее в бараний рог в самом прямом, физическом смысле. Даже тело, воспитанное в ненависти и рабстве, было против нее самой. Это было ужасно. По-настоящему ужасно.

Лидочка снова распахнула шкафчик, трясущимися руками развинтила станок Лужбина и вытряхнула на ладонь бритвенное лезвие, лиловатое, с надписью «Ленинград» и крошечным ржавым пятнышком на самой острой, почти невидимой, опасной кромке. Подушечки пальцев сразу стали мокрыми и холодными. «И правильно, — сказала Лидочка быстро, боясь передумать. — И давно надо было уже. Не поедем мы ни в какую Москву. Поедем лучше в Ленинград. Ленинград, Ленинград, покупай себе наряд! Красный! Синий! Голубой! Выбирай себе любой!» Она зажмурилась и даже тихонько зашипела, но было совсем не больно. Вот и все, успокоила она себя, потому что больше успокаивать ее было некому. Вот и все. И, не открывая глаз, торопливо легла в почти наполнившуюся ванну.

Теплая вода тихо плескалась вокруг шеи — как будто подглаживала кожу голыми гладкими деснами. Запястьям и лодыжкам было щекотно, почти приятно, из открытого окна слабыми волнами приходил ветерок, едва ощутимый, ласковый, совсем летний, и вместе с ветерком порывами налетала мягкая усталость, будто после длинной — на целый день — счастливой прогулки по лесу, когда волосы полны солнечного света и сухой хвои, а руку оттягивает тяжелая, чуть поскрипывающая корзина с грибами, которые надо успеть перемыть и почистить дотемна, чтобы завтра натухить полную кастрюлю — с мускатным орехом, петрушкой и сметаной, а глаза слипаются, ресницы такие тяжелые, такой тяжелый аромат кружится в голове — влажного подлеска, папоротников, нагретой солнцем коры, нет, не спи, не спи, не спи, разве хорошая хозяйка уйдет в спальню, не закончив все дела на кухне?

Ножик, выскользнув из дрогнувших пальцев, звякнул о дно раковины, и Лидочка, испуганно вздрогнув, проснулась.

Было совсем светло и отчего-то холодно. Она торопливо натянула прямо на мокрое, непослушное тело пижамку, на ощупь нащарила дверь и оказалась не в ожидаемом коридоре, обшитом тонко пахнущей золотистой вагонкой, а на пороге совершенно незнакомой комнаты — пустой, белой и какой-то нежилой, точно сразу после ремонта. Впереди была еще одна дверь, и Лидочка, скорее удивленная, чем испуганная, поспешила к ней,

оставляя на чуть припудренном пылью полу гладкие, голые, мокрые следы. Точно — после ремонта. Вот ведь эти рабочие! И даже не подмели!

Дверь подалась легко — как и первая, и Лидочка, сделав шаг, поняла, что следующая комната ничем не отличается от предыдущей: все те же заляпанные известкой строительные козлы в углу, такие же гладкие, без единого окна, стены и даже дверь впереди — такая же. Новая, хорошая, импортная дверь. Дубовый шпон. Золотистая фурнитура. А за этой дверью — следующая и следующая. Анфилада.

Лидочка прибавила шаг, но комнаты не менялись, плыли, открываясь, одна за одной — светлые, пустые, одинаковые. Не страшные, нет. Просто странные — и оттого неприятные. Лидочка попробовала их считать, но быстро сбилась и потому просто шла и шла, раздвигая плечами воздух — такой же гладкий, светлый и нежилой, как все остальное.

Открывая очередную дверь, она вдруг почувствовала, что начала уставать, и тут же — словно эта усталость могла воплотиться, заметила, что пыли в комнате стало больше, а козлы потемнели и как будто покосились. Лидочка остановилась и оглянулась, словно хотела выяснить у кого-нибудь, можно ли отклониться от маршрута. Но позади было пусто и — сколько хватало глаз — зияли, все уменьшаясь и удаляясь, распахнутые двери. Лидочка осторожно подошла к козлам, потрогала скрипнувшие, разошедшиеся доски и только теперь, вблизи, увидела, что стены, прежде выбеленные, гладкие, покрылись едва заметной паутиной тончайших трещин.

Лидочка оглянулась еще раз и ощутила, как шевельнула ей волосы тихая лапа наплывающего ужаса. Она хотела крикнуть, позвать кого-нибудь, но представила себе, как ее голос, затихая, прокатится по бесконечным гулким комнатам, и промолчала, изо всех сил уговаривая себя успокоиться. Это просто комнаты. Много комнат. Я просто сплю. Совершенно точно — сплю. Но она, конечно, не спала.

Лидочка тронула строительные козлы еще раз — и из них выпал, мягко звякнув, жалобно изогнутый, с подржавленной рыжей шляпкой гвоздь. Она наклонилась, чтобы подобрать его и даже поперхнулась, увидев протянутую к гвоздю руку — худую, обтянутую сухой, сморщенной на костяшках кожей, пожилую женскую руку.

Свою собственную.

Несколько комнат она пробежала, зажмурившись, на ощупь, не слыша ничего, кроме свиста в собственных бронхах. Гулко и страшно хлопали двери, гулко и страшно колотило в виски и в горло сердце, и Лидочке казалось, что с каждым шагом оно становится все больше и больше, а тело,

наоборот, усыхает, стягивается, превращается в мумию, в плотную жесткую куколку, в тлен.

Наконец дышать стало совсем нечем, и Лидочка остановилась и открыла глаза. Комната была все та же, только еще больше обветшала. Пыль крупными беззвучными клубками стояла в углах, у козел с неслышным хрустом подломила ножка, и они с тихим, совершенно человеческим вздохом опустились на колени. Лидочка лихорадочно ощупала лицо, волосы, но ничего не поняла и снова поднесла к глазам руки — да. Ей не показалось. Она старела. С каждой комнатой. С каждым шагом. Становилась старше. Нет, даже не старела. Умирала.

Лидочка вдруг осознала это совершенно ясно, и страх, преследовавший ее так долго и настойчиво, страх состариться, тотчас исчез, как будто единственное, что могло поглотить этот кошмар, была сама старость, и когда она пришла, бояться стало просто нечего. Лидочка постояла, не зная, что делать дальше, а потом вдруг собралась с духом и пошла дальше, вперед, медленно переставляя тяжелые, уродливые ступни — ступни профессиональной балерины, которые с каждым шагом все оплывали, превращаясь просто в босые некрасивые ноги старой женщины. Она больше не оборачивалась, потому что позади что-то *было*, Лидочка точно это чувствовала, и это что-то, невидимое, но осязаемое, тяжело и лениво напирало, подгоняя ее вперед. Идти было тяжело — она все хуже видела, все больше старческой спелой «гречки» появлялось на руках, совсем сморщенных, жалких, дрожащих, все меньше становилось света, все больше пыли, и когда козлы в углу окончательно стали грудой почти истлевшего мусора, Лидочка поняла, что дверь перед ней — последняя.

Сейчас я умру, — совершенно спокойно подумала она и из последних сил повернула потемневшую от старости ветхую ручку.

Улица блестела — мокрая и черная, как облизанный лакричный леденец.

В толстом столбе фонарного света дрожала сияющая водяная морось, пахло недавним дождем, горячими пончиками и крепким кофе из раскаленной медной джезвы. Из-за угла медленно вывернулась машина, прошелестела по жидкой, блестящей брусчатке, отражая выпуклыми боками короткие неоновые вспышки, плывущие окна и подмигивающее гнутыми розовыми трубками слово «Кофейня». По тротуару пробежала стайка подростков в коротких шумных плащах, крайняя девчушка задела Лидочку влажным плечом и, вместо того чтобы извиниться, широко улыбнулась. Блеснули зубы — тоже влажные, круглые и гладкие, как

пляжные камешки-голыши из детства. С Черного моря.

Лидочка машинально улыбнулась в ответ, но девочки, путаясь в залитых колготками коленках, уже заворачивали за угол, унося с собой облако полудетского торопливого гомона и почти физически ощутимого счастья. Лидочка проводила их взглядом и тут только осознала, что она стоит на совершенно незнакомой улице — живая, восемнадцатилетняя, в желтой пижаме с пузатым котом, пришитым чуть повыше сердца, и вечер осторожно прикладывает к ее спине то одну, то другую зазябшую, мокрую ладонь. Осень — подумала Лидочка, ничему не удивляясь. Ранняя осень. Или поздняя весна. А у нас — лето.

Ее обошел еще один прохожий, крупный сидящий мужчина с огромной немецкой овчаркой на поводке. Собака мимоходом ткнула Лидочку кожаным приветливым носом. Как тебе не совестно? — тихо упрекнул овчарку мужчина и успокоил Лидочку — не бойтесь. Он не кусается. Я не боюсь, ответила Лидочка и потянулась погладить собаку по крупной, как у ребенка, теплой голове, но овчарка с достоинством посторонилась, и Лидочкина рука осталась висеть в воздухе — молодая, тонкая, полная крепкой, живой, горячей крови.

— Барбариска!

Голос, звонкий, чуть надтреснутый от волнения, почти забытый, но все-таки невероятно, физически родной, заметался по мокрой улице, отталкиваясь, будто мячик, от мостовой, фонарных столбов, влажных, как будто покрытых мурашками стен.

— Барбариска!

Лидочка лихорадочно закрутила головой — и да, по тротуару бежала к ней, радостным крестом распахнув объятия, невысокая, кудрявая, в тоненьком серо-голубом скрипучем, почти целлофановом плаще, точно таком же, как... Лидочка шагнула навстречу, прижав к груди стиснутые, неверящие руки, словно пыталась закрыть глаза аппликационному коту.

— Ма, — откликнулась она беззвучным осиплым голосом. — Ма.

Домашние тапочки, набравшие черной ночной влаги, тихо, но отчетливо чавкнули.

— Мамочка!

— Барбариска!

Они обнялись так, что обе чуть не упали, Лидочка крепко ушибла себе плечо и даже не заметила, тыкаясь, как слепая, как маленькая, в знакомое, нежное, единственное тепло, мамины щеки, мамина мочка, полыхающая, полупрозрачная, с простенькой золотой сережкой, которая вечно норовила потеряться, мамин смех, запах — мамочкин, необыкновенный, родной,

никак не желавший умирать, ушедший даже из памяти, но еще долго-долго живший в шкафу, давно уже оккупированном Царевыми, Лидочка иногда тайком приоткрывала дверцы и, зажмурившись, вдыхала все сразу — боль, тоску, тающие следы, последние молекулы собственного детства, но это редко, очень-очень редко. Она боялась выдышать весь мамин запах и остаться совсем уже, окончательно одной. Мамочка, мамочка, господи, мамочка, да как же я без тебя, как же я все это время!..

Мамочка то целовала ее куда попало горячими веселыми губами, то вдруг принималась тормошить и ощупывать, будто Лидочка свалилась с какой-то ужасной высоты и теперь надо было удостовериться, что все цело — и кости, и мышцы, и связки, и колготки даже не порвались. Вот молодец, только, чур, на чердак больше не лазить! Обещаешь? Худющая какая стала, прошептала мамочка куда-то Лидочке в ключицу лохматым от близких слез голосом. Тощая совсем. Одни косточки и остались. Лидочка хотела что-то сказать, но не смогла — и обе они вдруг заплакали и засмеялись одновременно, как умеют только женщины, и снова принялись обнимать друг друга и тискать, совершенно забыв, что они стоят посередине улицы, и только повторяя все время: ну как ты? Как ты? Господи! Мамочка! Барбариска! Как ты без меня? А ты? А ты? Как?

Они успокоились так же разом — будто вдруг отключились друг от друга, и Лидочка сразу почувствовала, что замерзла. Она передернула плечами, и мамочка тотчас снова обняла ее, потянула к себе — под крыло, под полу плаща, подбитую изнутри тоже не забытым, оказывается, родным, нежным, душноватым теплом. «Пани Валевска». Флакон упоительно синего стекла, на боку — белая кудрявая головка легкомысленной польской красавицы. Лидочка вдохнула простенький — всего на два такта — аромат, блаженно зажмурилась, прижалась всем телом — так крепко, что не разбирать было, где стучит ее, а где мамочкино сердце. Доченька моя, радостно сказала мамочка и потерлась щекой о Лидочкины волосы. Пойдем скорей. Папа тоже ужасно соскучился.

— Папа? — Лидочка вывернулась из-под плаща, отстранилась, посмотрела недоверчиво — как будто маленькая, как будто снизу, хотя они с мамочкой теперь были вровень. Лидочка, пожалуй, даже и выше. — Как — папа? Разве он тоже... — Лидочка хотела сказать «тоже умер», но не смогла. В это невозможно было поверить. Даже сейчас. Даже здесь.

— Ну да, папа. — Мамочка изумленно подняла брови, а потом вдруг поняла и огорченно ахнула, зажав руками рот, блеснуло знакомое обручальное кольцо, толстенное, бочонком, с желтоватым бриллиантом, втиснутым в золотое тесто. — Бабушка что же — так ничего тебе и не

сказала?

Лидочка замотала головой — нет, ничего. То есть сказала, конечно, — что папа уехал. На заработки. Разве нет? Он же открытки мне ко всем праздникам присылал. Лидочка вспомнила коробку, в которую аккуратно складывала картонки, разрисованные цветами, мишками и воздушными шарами. Яркие марки. Торопливый размашистый почерк. «Дорогая моя доченька! Поздравляю тебя! Учись хорошо, слушайся бабушку. Твой папа». Чернила то синие, то черные. Неразборчивый штампель. Никакого обратного адреса. Никогда.

Мамочка снова заахала.

— Да нет же, какие открытки! Он действительно уехал, только... Ну да, почти сразу после моих похорон. Представляешь, вернулся в Адлер, ну, там, где мы на море были, помнишь? Правда, наша комната была уже занята, но он как-то... В общем, ему позволили переночевать в соседней, и он, дурак такой... Ох, я так ругалась, ты не представляешь! Бросить тебя совсем одну! Но что уже было поделать? Его только утром нашли. Сама понимаешь. Было поздно.

— А как же деньги? — спросила Лидочка, все еще не веря. — Деньги. Папа ведь мне деньги переводил каждый месяц. Галина Петровна показывала. На сберкнижку. Она все это потом в свой банк перевела, так что ничего не сгорело, ни копеечки, даже в дефолт.

— Потому и не сгорело, что это ее деньги были, — объяснила мамочка. — Она сама тебе и переводила. Вообще странно, конечно, что она ничего тебе не сказала, хотя... — Мамочка на мгновение задумалась, а потом весело тряхнула кудрявой головой. — Может, так и правильней. Кто же знает. Ну, пойдем, господи, а то ты промокнешь совсем. Расскажешь нам с папой все-все-все.

— Как в детстве? — спросила Лидочка — В мелких подробностях?

— В мелких подробностях, — засмеялась мамочка. — Мы же ничего про тебя не знаем! Тут ведь все, как у вас. Газеты врут, по телевизору сплошные сериалы. Новости только от знакомых. А их дождись еще, знакомых этих! И потом не все правду говорят, сама понимаешь, некоторые так просто сплетничают! Вот, например, когда... А, да что там говорить. Пойдем лучше домой.

— Домой, — повторила Лидочка, не веря.

Домой. Наконец-то домой.

Мамочка снова обняла ее за плечи, притянула, и ночная улица тотчас, задрожав, поплыла куда-то в сторону, а потом и вовсе расплылась, набухла, вот-вот готовая перелиться и торжественно, как улитка, поползти по щеке.

Мамочкино лицо на мгновение тоже исказилось, поехало по невидимым швам, стало уродливым, чужим — на мгновение даже нечеловеческим.

Лидочка, вздрогнув, отстранилась.

— Ты что, Барбариска? — спросила мамочка ласково, и Лидочка, быстро смаргивая влагу, попыталась улыбнуться. Ее вдруг затрясло изнутри мелкой, безостановочной дрожью. В одной пижаме. Вечером. В незнакомом месте. Под дождем. Что это, собственно? Где? Что? Как я сюда попала?

На мать она больше не смотрела. Боялась.

— Барбариска.

Лидочка молчала, глядя прямо перед собой. В кофейне напротив хлопнула дверь. По мостовой плавно проплыл светящийся изнутри автобус, полный беззвучно, как в немом кино, жестикулирующих людей.

— Барбариска!

В мамочкином голосе, возле самого дна, зазвенело тонкое, синеватое, как сталь, недовольство — как всегда, когда Лидочка не слушалась.

— И не думай даже никуда идти, — спокойно сказал Лазарь Линдт, встряхивая и закрывая зонт, заросший живыми ртутными каплями. Он был настолько похож на собственную фотографию, что Лидочка даже не удивилась. Мамочка. Папа. Теперь вот еще и он. Она посомневалась, можно ли называть Линдта дедушкой, или, как и с Галиной Петровной, придется соблюдать какие-то церемонии.

Линдт засмеялся, словно прочитал эти мысли, и, привстав на цыпочки, поцеловал Лидочку в щеку. От него вкусно пахло кофе — настоящим, крепким, с пенкой и коричной палочкой.

— Какие уж тут церемонии, — сказал он. — Зря ты вообще все это затеяла. Давай, дуй скорей домой.

— Домой, — эхом откликнулась мамочка, и Лидочка машинально шагнула к ней, все еще боясь взглянуть, но все-таки — к мамочке. Линдт нахмурился и неожиданно молодым, быстрым движением преградил ей дорогу.

— Я сказал — возвращайся. Брысь. И чтоб я тебя здесь больше не видел.

За спиной у него мелькнуло, шурша, голубое, и Линдт, поморщившись, развел руки, мешая мамочке пройти.

— Быстрее давай, — поторопил он Лидочку. — Ты что, не знаешь, где у тебя дом?

— Нет, — честно ответила Лидочка. — Не знаю.

— Назад обернись, — велел Линдт.

И Лидочка обернулась.

За спиной было окно. Обычное окно в первом этаже немолодого дома — хотя, конечно, должна была быть дверь — та самая, последняя, к которой она шла, старея, анфиладами своего сна. За стеклом, на подоконнике — с той стороны, с которой, Лидочка точно помнила, не было ничего, кроме череды пустых ветшающих комнат, — сидели, освещенные празднично, точно в театре, дети. Мальчик и девочка. Погодки. Девочке было лет семь, и у нее был курносый нос и хорошенькие кудряшки, на которых, как стрекоза на цветке, примостился, большой, в горошек, бант — очень легкомысленный и повязанный явно взрослой, женской, любящей и балующей рукой. Девочка что-то сердито выговаривала мальчику, крупному, сумрачному увальню в тесноватой разноцветной рубашке, и по тому, как мальчик невнимательно и обиженно слушал, было ясно, что он, несмотря на крепкие щеки и преимущество в росте, все-таки безнадежно младше, может быть, даже на целый год, но мириться с этим не намерен, нет, не намерен! Девочка недовольно ткнула его кулачком в круглое плечо и, словно почувствовав Лидочкин взгляд, вгляделась в законную темноту — напряженно, серьезно, точно взрослая.

— Кто это? — испуганно спросила Лидочка.

Линдт за ее спиной сухо хмыкнул.

— Ну же, — сказал он. — Думай. Соображай.

Лидочка присмотрелась — и, точно кто-то повернул картонную трубу калейдоскопа, лица детей вдруг распались на отдельные знакомые черты: смоляные завитки Линдта, улыбка мамочки, квадратный лоб Лужбина, ее собственная ямочка на щеке мальчика, тоже принадлежавшая прежде Галине Петровне, а до этого — кому-то еще, кому-то неизвестному по имени, давно забытому, но все равно родному. Кровь, смешиваясь, толчками застучала у Лидочки в висках, в запястьях, отдаваясь в груди мальчика, розовым ярким светом наполняя девочкины губы и веки, пульсируя сразу в миллионе вен — прошедших, будущих, настоящих.

Это мои внуки, вдруг поняла Лидочка. Все не закончилось. Совсем нет. Все продолжается. Но как же тогда? Но почему же? Она шагнула к окну, словно собираясь постучать, и тотчас у нее за спиной страшно закричала мамочка.

— Не пуцу! Нет, не пуцу! Барабариска!

Лидочка обернулась.

— Быстрее, — сказал Линдт, — ну же, быстрее.

Что-то билось у него в руках изо всех сил, вырываясь, что-то страшное, не мамочка, нет, но оскалившийся Линдт держал крепко, очень

крепко, так что Лидочка почувствовала, как напрягаются под сухой кожей мышцы, как сжимают ее сильные мужские руки и все вокруг наливается светом, смыслом и торжественным плеском. Вода, тяжелая, теплая, текла уже не сквозь — а с нее, давай, давай, быстрее, закричал Линдт, я держу ее, возвращайся, давай, возвращайся, и Лидочка с размаху, двумя руками, ударила по оконному стеклу, так что все вокруг на секунду словно застыло, а потом взорвалось и осыпалось миллионом хрустящих сияющих осколков, и она побежала вслед за смеющимися детьми назад, по комнатам — теперь совершенно живым, полным прекрасных людей, дружелюбных собак и старой добродушной мебели. Все сильнее пахло мастикой, яблочным пирогом и можжевельновыми ветками, и все стремительнее приближался свет — ослепительный, плотный, молочный, полный такой радости, что Лидочка засмеялась тоже, а свет все приближался, пока не ударил ее по лицу сильной горячей ладонью, и еще раз. И еще раз. И еще.

— Ну же! — совсем близко, прямо над ухом, закричал Лужбин.

— Ну же, девочка, давай!

И Лидочка очнулась.

Лужбин стоял над ней на коленях, и лицо у него — даже не бледное, синеватое — прыгало, ходило ходуном: дрожали перекошенные губы, подбородок, дергалась изуродованная тиком щека.

— Ты, — сказал он, словно не узнавая, не веря, что Лидочка вернулась, что она вообще могла попытаться уйти. Ты...

Лидочка хотела ответить, но губы не слушались, шелестели, шелестела, уносясь в сток, полная ее крови вода, и отчего-то было очень больно спине, а еще несильно, но длинно ныли щиколотки и запястья, крепко стянутые распущенной на бинты простыней, какой все-таки молодец, умница. Ваня. Догадался. Спас... Спас... Спасибо.

Лужбин наклонился, пытаясь расслышать, и Лидочка, изо всех сил напрягая голос, прошептала — я... Я... Хочу...

— Что ты хочешь, Лидушка? — Лужбин приподнял ее за плечи. — Попить? Водички, может? Сейчас скорая приедет, потерпи, родная. Сейчас уже. Прямо сейчас.

Лидочка упрямо мотнула головой и наконец закончила.

— Я хочу остаться, — твердо выговорила она и сама удивилась, потому что никогда в жизни не говорила так, и никогда в жизни ничего для себя не хотела, не смела, а оказалось, что это так просто, надо всего-навсего набрать полную грудь воздуха и сказать. Просто сказать.

— Я хочу остаться, — повторила Лидочка, и Лужбин сразу понял, о чем она — о доме, о нем самом, обо всей жизни, которая с этой секунды

наконец-то и навсегда стала у них общей, одной на двоих, как он и хотел, а теперь захотела и она, Лидочка. Она сделала свой выбор, впервые кто-то выбрал его, вот так — осознанно, по-настоящему, и Лужбин, задыхаясь от благодарности, заплакал, уткнувшись лицом в Лидочкин живот, впалый, почти детский, но уже таивший в своих золотистых потемках никем пока не прочитанную и не узнанную следующую главу.

За воротами резко вскрикнула недовольная ранним вызовом скорая, и серый от предрассветной усталости врач попытался затушить в переполненной пепельнице докуренный до картонного фильтра слюнявый бычок, но промахнулся. Господи, ты глянь, какой дворец, Вася, и что им, буржуйам, не живется, ненавижу этих суицидальников, четвертый случай за неделю, и одни сплошные истерики, всех бы в психушку упек, честное слово, без права переписки, и хоть бы одна сволочь вены резала, как надо, — не поперек, а вдоль, вдоль, вдоль, так нет же — спасай их за эту зарплату, сволочей, ну, ладно, тормози давай, вот так, задом, задом сдавай, а то носилки не вопрем.

Врач выскочил из скорой, придавившей колесом посаженные еще Марусей золотые шары, и пошел навстречу дому — той же тропинкой, что шла когда-то к своей ведьме молоденькая Галина Петровна, и все было по-настоящему, все наконец-то распуталось, разрешилось и вновь соединилось — на этот раз навсегда: и любовь, так долго блуждавшая по этой истории, так долго не умевшая попасть в такт, и этот дом, и холодный вкусный воздух, и медленно выплывающее из-за розовых сосен круглое и тоже розовое солнце, такое громадное, что где-то далеко-далеко засмеялся от радости Лазарь Линдт.

Засмеялся и поцеловал маленькую, теплую, бессмертную Марусину руку.



Марина Степнова – прозаик, переводчик с румынского (в том числе популярнейшей в нашей стране пьесы «Безымянная звезда» М. Себастиана).

Ее рассказы охотно печатают журналы «Новый мир» и «Звезда», роман «Хирург» (лонг-лист премии «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР») сравнивали с «Парфюмером» П. Зюскинда.

Новый роман «Женщины Лазаря» – необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕ-ЛЮБВИ.

Лазарь Линдт, гениальный ученый и большой ребенок, «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», – центр inferнальных личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша, возникший на пороге ее дома в 1918 году, полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной. Уже после войны в закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и буквально украдет в «другую жизнь», но... заслужит только нешуточную ненависть. Третья «женщина Лазаря» внучка-сирота Лидочка унаследует его гениальную натуру, но мечтает только об одном – обрести свой, невообразимый дом, полный тепла и скрипа настоящих половиц, Марусин дом.



www.ast.ru
www.elkniga.ru

notes

Примечания

Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней.

Гёте, Фауст. Перевод: Б. Пастернак

Он рвется в бой, и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли,
И век ему с душой не будет сладу,
К чему бы поиски ни привели.

Гёте, Фауст. Перевод: Б. Пастернак

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Судья истинный
(иврит).